Ольга Скопиченко

# *РАССКАЗЫ И СТИХИ*

Сан-Франциско, С.Ш.А.
1994

Ольга Скопиченко

# РАССКАЗЫ И СТИХИ

Сан-Франциско, С.Ш.А.
1993

Сан-Франциско. С.Ш.А.
1993

*ДРУГУ - МУЖУ,*

*БОРИСУ МИХАЙЛОВИЧУ КОНОВАЛОВУ,*

*В ПАМЯТЬ МНОГОЛЕТНЕЙ ДРУЖБЫ*

*СО ВРЕМЕН ЮНОСТИ.*

О. Скопиченко

*Дорогие читатели!*

*Я давно собиралась выпустить книгу своих рассказов и стихов, но три года назад после несчастного случая потеряла зрение и с тех пор совершенно не могу читать. Для меня это очень большая трагедия и в работе, и в моем творчестве.*

*В своем предисловии я хочу поблагодарить всех, кто помог мне в деле издания.*

*Моя глубокая благодарность милому другу поэтессе Ольге Капустиной, поддержавшей меня материально и морально, подобравшей мои стихи для этой книги.*

*Моему неизменному помощнику Герману Викторовичу Гаврилову за подбор моих рассказов. Все это было большой помощью в издании этой книги.*

*Я приношу самую большую благодарность издателю сборника Николаю Николаевичу Петлину за его исключительно внимательную работу, за корректуру (мне это было невозможно при моей слепоте). Мне выпало счастье много лет работать в нашей «Русской Жизни», когда Николай Николаевич вел газету, был ее редактором. Тогда наша газета была настоящей «Русской Жизнью», отмечавшей всю нашу церковную и общественную жизнь зарубежья, наши чаяния и надежды на возрождение Родины нашей. «Русская Жизнь» была газетой освещающей всю политическую жизнь мира. Мы все помним превосходные передовицы, которые вел Николай Николаевич. Как дружно и хорошо работалось в те годы!*

*Я приношу свою благодарность дорогой Лидочке Шатковской. Она первая пришла мне на помощь, когда я ослепла, и разбирала мои рукописи, письма и заметки.*

*Я низко кланяюсь и благодарю друга моего Веру Каттель за ее духовную поддержку все*

*эти годы моей слепоты, за ее помощь и по сей день во всех начинаниях и делах.*

*В своем творчестве я никогда не фантазировала. Все мною написанное или эпизоды, рассказанные мне, как я их называю «из подслушанных былей», или же пережитые мною в детстве, в юности, во все годы моей долгой жизни.*

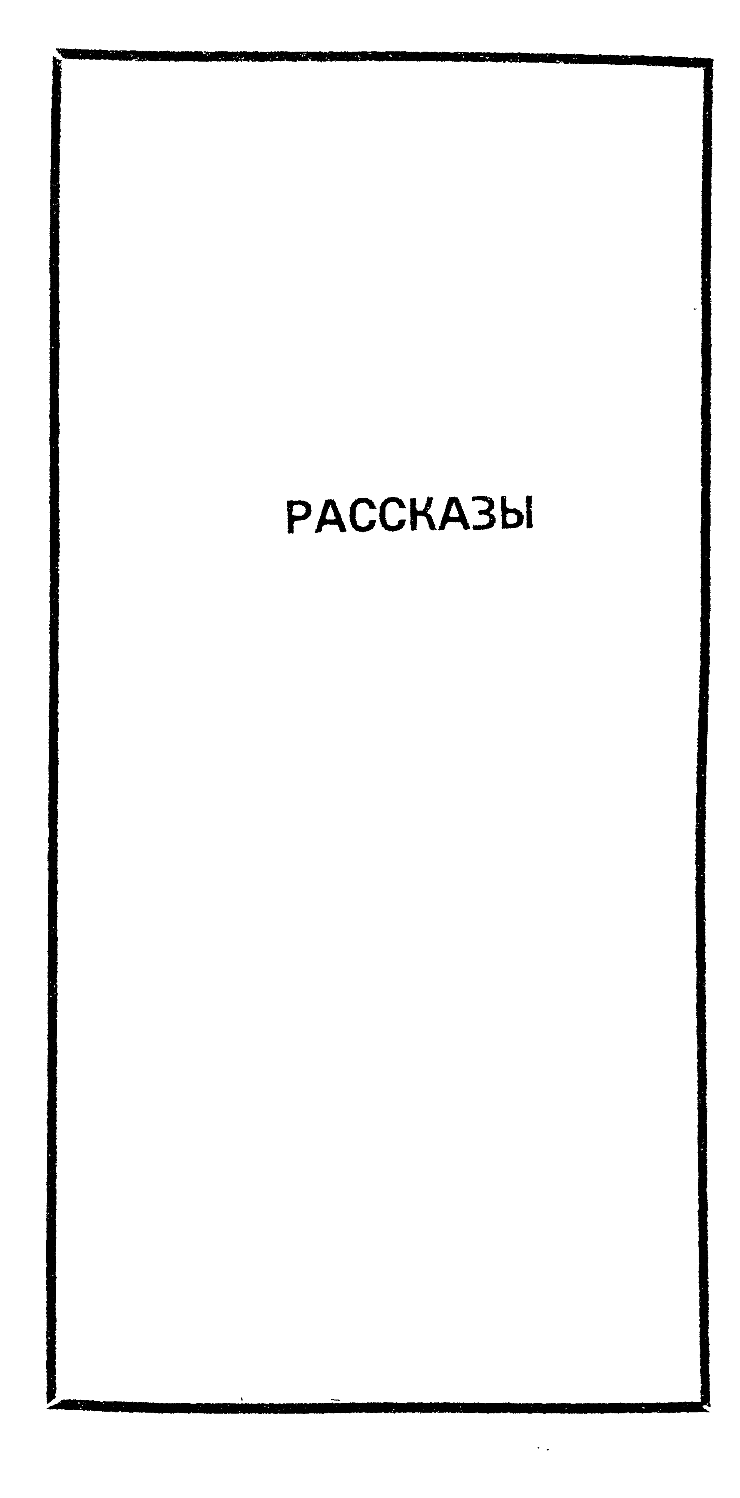
*В книге нет моих пьес зарубежного быта, ни моих детских сказок, которые шли на сцене. Все вместить невозможно. Но эта книга — мой путь путь любви к Родине и надежда на возрождение России. Несколько вещей посвящено и Америке, стране, давшей нам свободную жизнь.*

*Дай Бог, чтобы вам, мои читатели, пришлись по душе мои рассказы и стихи. Всю мою жизнь я писала о Родине, твердо веря в Возрождение России.*

Тебе, Россия!

Что мне в том, что я не доживу —
Коль от веры в близость Возрожденья
Легче сердцу, радостней уму.
И от счастья быть Твоим поэтом
И стихи писать Тебе одной,
Было так легко бродить по свету
Не расставшись ни на миг с мечтой.

О. Скопиченко



# РАССКАЗЫ

# Сваха

Свахи отошли в область предания. Фигурируют они теперь, пожалуй, только на сцене и, притом являются самым комическим персонажем. А ведь были времена, когда сваха имела полное право гражданства в России, сватовство было только что не профессией и без участия свахи не справлялась почти ни одна свадьба. И женщины посредницы при заключении браков жили и исключительно на доходы от своего довольно таки забавного ремесла. Да и если сказать правду, ремесло это было достаточно трудное: от свахи требовалась и изворотливость и чутье и дипломатия. В купеческой среде сваха пользовалась почетом и уважением, на нее с упованием смотрели сотни девических глаз, купеческих перестарков, засидевшихся в девках из-за папенькова «моему ндраву не препятствуй». Сваха в этой среде каталась, как сыр в масле. Удачная свадьба приносила ей изрядный денежный куш, не говоря уже о подарках, порою богатых и щедрых. Даже, если молодая пара и умудрилась сговориться где-нибудь украдкой, все равно обычай требовал «заслать сваху» и на сцену немедленно появлялась какая-нибудь Перепетуя Петровна или Агафья Ивановна, знающая всю этику тонкого ремесла свахи. Даже мужчины прибегали к услугам свах, особенно, если было необходимо выгодной женитьбой поправить расстроенные дела.

Так вот. ..когда-то...давным давно... примерно в девяностых годах прошлого столетия, представитель одной знатной, но обедневшей фамилии, надумал жениться и женитьбой поправить дела своего дома.

Конечно, жениться надо было на купчихе. А каким образом без участия свахи в те годы мог дворянин, да еще весьма аристократической семьи, сделать предложение руки и сердца ку-

печеской дочери? Да и купеческих дочерей среди его знакомых не было. Одним словом, была приглашена сваха, солидная толстая баба с елейным голоском и хитрыми, шмыгающими глазками. За дело она взялась горячо, целый час поветствовала нашему герою о качестве невест, которые не прочь были бы переменить свое купеческое звание на дворянское. Наконец, была выбрана одна из них и сваха полетела устраивать знакомство. Фамилия героя была громкая, кажется даже и не без титула, так что вполне понятно, что богатый купец был весьма польщен возможностью породниться с таким родом.

Были назначены смотрины и купец к приему желанного гостя закатил шикарный обед, стоивший и по тем временам несколько тысяч рублей. Самые разнообразные деликатессы, начиная со страсбургских паштетов и кончая какими-то диковинными фруктами, выписанными из заграницы— украшали стол, сверкающий серебром и хрусталем. Была отдана дань и отечественному производству: черная икра, стерлядь, балыки и какие-то исключительные сельди, красовались на серебре и фарфоре. Одним словом, купец решил этим обедом «поразить» претендента на руку его Матрены Ивановны, девицы, кстати сказать, миловидной и очень скромной.

Обед прошел вполне чинно, девица в меру жеманилась и, видимо, понравилась жениху. Жених...А впрочем, что говорить о том, как он вел себя во время обеда. Обычно...Очевидно, ему и в голову не пришло, что он должен как-то особенно держаться во время смотрин. Тем более, что «брак по рассчету» начинал казаться ему и не такой уж большой неприятностью, если принять во внимание миловидность и скромность будущей графини.

Дома, размышляя о прошедших смотринах, взвешивая все «за» и «против» предполагаемого брака, он даже развеселился подсчитывая, как легко будет уплатить долги и выкупить имение на приданое будущей супруги. Как вдруг, в комнату без всякого доклада бомбой ворвалась буквально разъяренная сваха.

— Зарезал...без ножа зарезал... Да ты что? Хорошего что ли в жизни не видал? А? Да ты, видно и в обчестве то приличном никогда не был. Да ты меня осрамил! Да меня теперь ни в один дом не пустят, скажут, что хотела вместо дворянина шантрапу какую-то навязать людям...

Предполагаемый жених вначале растерялся от такой решительной атаки, а потом задал свахе вопрос: чем и когда он так осрамил ее?

— Да помилуй! Пригласил и тебя в дом. Обед на славу сготовили. Чать видал чего только на столе не было. Тут тебе и паштеты и икра черная и энти, как они, анчоусы что ли,—в вине поданы. А он... одно крутое яйцо съел, потом за вторым тянется. Ну, второе слопал. Ну и довольно ! Ну и довольно, чать чего только душа не пожелает все подано, так он за третьим потянулся!. Ну я вижу, что сам-то Иван-то Потапыч и рот от изумления раскрыл, пихнула тебя, батюшка под столом, а ты ноль внимания. Да так вместо закусок-то четыре яйца и съел! Да сегодня Иван Потапыч и говорит— жених то не ко двору, врешь ты все, никакой он не граф, да поди и не дворянин вовсе. Он и в жизни то своей хороших вещей не видывал, ишь! на крутые яйца набросился! Ну и отказ в чистую. Прямо без ножа зарезал, зарезал! И уж как ты там хочешь, поищи себе других свах, батюшка, а чтобы еще сраму из-за тебя на голову принимать, покорно благодарим...

Так и не сладилось это сватовство и—смешно сказать— из за чего?из за крутых яиц!

Как выкрутился из своей материальной запутанности герой этой истории—неизвестно, но кажется происшествие это отбило у него охоту свататься к купеческим дочкам.

Недаром говорится: сватовство, это вещь тонкая, политичная!

# Вспышка памяти

Самым ярким, самым страшным воспоминанием детства были пожары. Самым радостным, тихим, уютным—елочные огни. И как-то случилось так, что в один из особенно памятных дней прошлого слились эти события в одно. Пожар и елка. Ужас и радость, страх и веселье.

Зима была снежная, морозная, сугробы намело перед домом высокие. Целые коридоры прорывали в снегу, чтобы добираться до курятника, до сеновала.

Зима в деревне для нас, городских оебят, была чем-то особенно сказочным и волшебным. И хотелось прибавить к волшебству этих снегом занесенных полей что-нибудь жуткое, страшное. Вечерами бывало, наслушавшись сказок няни о домовых, о леших, о бабе-яге , крадешься в детской к окошку посмотреть, не промелькнет ли тень озябшего от мороза ночи лешего, не пробежит ли среди снежных сугробов волк.

Приближалось Рождество. Забросили лыжи, коньки, меньше стали кататься на санях с высокой горы волжского обрыва. Сидели дома и мастерили украшения на будущую елку. Каждую бонбоньерку, хлопушку, деда мороза,—все делали сами. Покупались только серебряные и золотые нити да звезда на верхушку.

Иногда заезжали соседи—тоненькая Ирочка и крепыш Слава, дети соседнего помещика. Жили они верстах в трех от нас в большом доме на опушке большого соснового бора. Какие грузди, какие масленки находили мы в этом бору летом, когда ездили в грибные пикниковые поездки к соседям. Дом у них был огромный, настоящий барский дом, куда лучше наших маленьких дач, приспособленных под квартиры военного городка. Сосновый бор стоял такой торжественный, темный и...немножко страшный. Нам с братом больше нравилась наша веселая, звонкая березовая роща, среди кудрявых деревьев которой,

скрывалась наша уютная дачка.

Очень торопились клеить украшения—до Рождества оставалась всего неделя, а елку хотели до потолка, шутка ли сказать сколько надо было намастерить всяких бумажных коробочек и безделушек.

Слава с Ирочкой усиленно помогали нам в наших хлопотах. Оба были значительно старше нас с братом, но интерес у них к елке был такой же, как и у нас—малышей, тем более что дома у них на елку все покупалось в магазине.

Особенно хорошо клеила Ирочка хлопушки, выходили они у нее такие же тоненькие, изящные и нарядные, как покупные, она как то особенно сплетала полоски бумаги и хлопушки получались всех цветов, словно из блестящей, нарядной соломки. Слава—то чаще лепил дедов -морозов и надо сказать правду, довольно уродливых.

За день до Сочельника большая бельевая корзина, куда складывали мы свои сокровища наполнилась до краев, и в этот же день поехали вместе с денщиком выбирать елку. Господи, сколько было споров—какую срубить.

Совсем было выбрали одну стройную и пушистую, но братишка вспомнил, что именно под этой елкой прошлым летом он нашел какой-то особенный гриб и запротестовал. Наконец, остановились на одной достаточно высокой и пушистой и не связанной никакими летними воспоминаниями.

Маленькую нашу столовую запорошили снегом, наследили на полу,но настояли на своем, чтобы елку сразу же внести в дом. Весь вечер украшали дерево, помогал даже папа, сам прикрепил яркую серебряную звезду на самую верхушку.

Слава с Ирочкой уехали домой, приглашая нас к себе на первый день праздника.

Какая красивая, какая нарядная, вся залитая огоньками свечей, пахнувшая хвоей, была наша елочка. Даже не хотелось играть и прыгать вокруг нее, только бы смотреть на этот блеск серебристых нитей, на снежные хлопья ваты, на разноцветные игрушки, кажущиеся особенно краси-

выми среди пушистых , зеленых ветвеи.

За ужином мама сказала:

— Жаль, не позвали Славу и Ирочку сегодня. Они дома одни. Ксения Петровна не попала на паром и заночевала в городе. Ну, ничего, завтра повезу к ним ребят. Я думаю, в больших санях. В маленьких не уместимся, я хочу няню с собой взять.

— Как хочешь. Вели запречь серого, «Воронок» что то захромал.

В голове радостно звучало: завтра к Ирочке на елку.

Хотела рассказать братишке о тех играх, которые выдумала на завтра, но он уже полудремал, усталый от впечатлений дня.

Посидела у потухшей елочки, следя как от света в окно поблескивают серебряные нити.

Уже сладко потягиваясь в кровати мечтала о морозном ярком, завтрашнем дне.

Проснулась внезапно, словно от толчка оборвались елочные сновидения. Села на кровати и прямо перед собой в окне увидела отблеск какого-то огня. Вскочила, босыми ногами прошлепала к окошку и отдернула кисейные занавески.

Там. на краю неба, где алым светом расплывалось и ширилось огненное пятно.

Сосновый бор горит—пронеслось в голове и в сердце закопошился нарастающий, леденящий ужас.

За стеной, в столовой, слышался голос отца, торопливо отдающий какие-то приказания. Вошла няня:

— Ты что, полунощница?

— Там горит, няня.

— Далеко гдето. Ступай-ка в кровать. Еще простудишься. Да ты, никак, босиком, бесстыдница.

— Няня, это сосновый бор, где Ирочка?

— Чего выдумала. Дальше где-то. За селом горит. Барин солдат на подмогу послал. Ложись, ложись! Утром узнаешь.

Но я спать не могла. Закрою глаза, вижу нарядную елку. Очнусь—в окне расплывается далеко огненное пятно и сердце сжимается предчувствием чего то придвинувшегося страшного

На рассвете, снова шепот голосов за стеной,

взволнованный мамин голос...будто даже плач.

Какао утреннее пили в детской, потом играли с братом в домино

Няня на мои вопросы о пожаре, говорила как -то неопределенно и как-то смутно было на душе даже тянуло сбегать посмотреть на елку.

Мама куда-то рано утром уехала, кофе не пила, торопилась.

А когда все собрались к завтраку, я не выдержала, прокралась к двери в столовую и притаилась за портьерой.

—Ужас какой! Бедная Ксения Петровна. Как же так, не спасли?

Папин голос потерял свое обычное спокойствие:

— Некому спасать было. Когда солдаты приехали, дом уже догорал. Далеко, ведь, пожар мы заметили поздно, а к ним версты три, если не больше.

— И за что? Дети-то за что?

— Вот твои любимые мужики, папа,—сердито сказала старшая сестра. Мало за них ты хлопотал в уезде. Вот сожгли Славу и Ирочку

У меня перехватило дыхание, соленый ком подступил к горлу и я, уже не прячась, сама не свою распахнула дверь и с громким криком:

— Ирочка сгорела, Ирочка..—бросилась в столовую.

Сколько лет прошло а вот, как сейчас, помню. Блестящая, нарядная елка в углу, заплаканное мамино лицо и эта жуткая холодная весть в сердце.

Сгорели оба, и Слава и Ирочка. Приехавшая из города мать нашла только два обгорелых трупа.

Как я плакала над каждой игрушкой, слепленной тоненькими Ирочкиными пальчиками для нашей елки. Почему-то Славу мне было меньше жаль.

И до сих пор, когда вижу холодные аппетитные костяшки домино, вспоминаю ту ночь, то утро. Может быть потому, что мы играли в домино в тот час, когда там из обгорелых балок дома вытаскивали трупы сгоревших детей.

Дом помещика подожгли мужики из мести, не-

довольные каким-то его распоряжением.

Будто бы не знали, что дети оставались дома одни.

И надолго осталось это мамино:

— За что?

Как-то вечером, после няниной сказки, где вознаграждалось добро и карались злые люди, я глубокомысленно заметила:

— Это только в сказках так бывает. Во т, мужики сожгли Славу и Ирочку,а их даже не поймали.

— А ты погоди, голубушка, наказание-то оно от Бога, а не от людей,—ответила старушка.

И как напророчила.

Ранней весной в ясный, тихий день, от шалости деревенских ребят загорелся стог сена.

И сразу откуда-то среди ясного дня поднялся ветер. Село вспыхнуло, как свеча такого пожара, я не видела больше ни разу, если не считать пожаров военных дней.

До тла сгорело большое, богатое село и только на небольшом пригорке посредине села осталась нетронутая огнем деревянная белая церковка, точно нарочно сберегла ее рука Провидения.

Ездили мы на пожарище, помогали разоренным крестьянам. Видела я обуглившиеся, черные развалины домов, видела ободранных людей, потерявших последнее имущество.

И все-таки более жутким, более страшным в памяти осталась та зимняя ночь, темная в контраст с только что потушенной елкой и расплывающееся алое пятно на краю снежного, серебряного поля.

# Серый гость

Облезлые обои свисали клочьями. Зеркало было покрыто слоем вопиющей в пространство пыли. В углу валялась пара изношенных, грязных штиблет. А окурки папирос скомканными пятнами белели на полу.

— Что и говорить!..Обстановочка!..—пробурчал себе под нос высокий брюнет, хозяин беспорядочной комнаты.

— Нда-с! Окрестности живописные,— уже вслух проговорил он и грузно опустился на поломанную кушетку, брезгливо стряхнув с нее кипу старых газет.

В окно заглядывали плутоватые звезды, высыпавшие на небо встречать Рождественскую ночь.

Пойти куда-нибудь, что ли?—лениво зашевелилось в голове. Куда только? Денег кот наплакал, а знакомые вряд ли обрадуются незваному гостю. Закурил, машинально наблюдая, как синеватый дымок поплыл по комнате, расплываясь к потолку. Встал и, выгрузив из кармана пальто бутылку водки и незатейливую снедь, снова опустился на прежнее место.

Вспоминался сегодняшний день со всеми его неприятностями и неудачами. Лицо редактора еженедельной газетенки, где он сотрудничал, визгливый голос и недовольная фраза:

— Вы что, батенька, сам без копейки сижу! И где это видано, чтобы у нас авансы выдавали!

Кривилось перед глазами хорошенькое личико вертлявой Мусеньки—кельнерши из ресторана «Якорь» и ее прощальные слова звенели в ушах

— Надоел ты мне порядком, дорогой что в самом деле за любовь шелковые чулки и то купить не можешь...Осточертело мне с ободранцами путаться.

Расплывалась в синем дыму и толстая рожа китайца, влдельца ломбарда, рассматривающего

заплатанные орюки...лица подмигивали, ухмылялись и растягивались в хитрый смешок, уплывая куда-то к печке, где горкой серел потухший пепел. И вот, что-то совершенно ясно зашевелилось у печной дверцы и оттуда вылезла тощая дымчатая фигурка. Замаячила по комнате... и странный субъект в длиннополом сюртучке подошел вплотную к кушетке и отвесил низкий поклон.

— С наступающим праздником!—шепотом донеслись слова. Журналист приподнялся и протер глаза от изумления. Но фигурка не исчезла, а как-то бочком присела на кушетку и шепот сделался громче.

— Скучать изволите?

— Тьфу,черт, откуда ты взялся?

— Напрасно чертом ругать изволите. Мы с этим племенем издавна во вражде состоим-с

— Да кто ты?— уже сердито спросил изумленный журналист.

— Я-то? Я ваш домовой. Давненько в вашей комнате живу. И не раз порывался познакомиться. Да всю несправедливость вашу вам порассказать, но редко вы дома бываете, хозяин.

Журналист ругнулся:

— Ну,ты,брат мне очки не втирай. Вот проснусь и не будет тебя. И с чего это всякая дрянь снится? Водку будто не пил еще...

Домовой с достоинством выпрямился:

— Не обижайте понапрасну. А я честный русский домовой и наяву существую. Так что снится мне вам ни к чему. Много дней познакомиться с вами собираюсь. Теперь вот, на праздники, выбрался, удосужился.

Журналисту вдруг сразу стало скучно и надоедливо:

— Ух, ни разу не доводилось праздники с домовым встречать. Тут и без тебя неприятностей хоть отбавляй.

Серая фигурка зашевелилась возмущенно и даже полы сюртучка обдернула.

— Вот, вы и говорите, тошно вам, а мне думаете весело? Не один месяц я у вас в комнате живу, а разве это жизнь? Ни тебе хлеба кусочек, ни водочки, одни бутылки пустые по ночам подби-

раешь, так ведь сколько ни дави, из пустой ничего не выдавишь. А уж обращением хорошим, и не говорите. Печку по неделям не топите. Вам и заботы нет, что я может какую сотню лет на свете существую, кости-то старые, тепла требуют. А в каких хоромах я раньше жил! Кухня большая, печи такие, что другие домовые с зависти лопались. Даже конюшни в иных домах в заводе были. Опять же развлечение. Там, смотришь, гриву лошадиную расплетешь, в хвост щепок навяжешь, так конюхи не только что не ругались, умилялись еще: ишь, мол, домовой-то забавляется. А тут...сам к хозяину пришел праздничек Христа встретить, так кроме обиды ничего и не слышишь от вас.

Журналист внимательно выслушал горячую речь нежданного гостя и злость его стала отходить, уступая место любопытству и даже жалости.

— Экий ты незадачливый. Так чего же тебя нелегкая занесла ко мне? Эмигрировал что ли?— сам даже усмехнулся своему вопросу.

— Зачем эмигрировал? Я из России давно уехал. Харбинский я. Там эти, как их...конфликты начались. Ну, я и приехал, чтобы какую ни на есть службишку отыскать.

— Службишку? Ну, это ты брат, врешь! Где это видано, чтобы домовые служили?

Домовой опять обиделся, засуетился и сразу же перешел на «ты».

— И ничего ты, хозяин, не понимаешь, как я погляжу. Даром что писатель. А золу у тебя в печке продувать, это тебе не служба? А окурки с пола поднимать тоже не служба? А рассказы твои глупые по ночам перечитывать, тоже не служба? Я, может, иной раз ночи не сплю, рукописи твои перечитываю. На глаза ослаб, а ты... вместо благодарности. Нет, как я посмотрю, перевелся нонче хороший писатель. Этот, как его, нигилист пошел. Не только что в нечистую силу.. в домовых не верит. Вот, видишь, насупился, а думаешь со мной хуже праздник встретишь, чем с этой вертихвосткой Мусенькой. Тоже птицу подцепил. Ни кожи, ни рожи, только губы накрашены.

И, вдруг, сразу переменил тон:

— Да ты не горюй, хозяин, хочешь я тебе другую отыщу. Потолще, да порумянее...и без шелковых чулок любить будет. Горемычный ты мой! Да, вот посиди тут, а я на стол накрою, ужин приготовлю.

Домовой засуетился, пыль со стола смахнул, окурки с пола подобрал, откуда-то тарелку достал и разложил закуску ломтиками.

— Пожалуйте к столу. По рюмашечке пропустить не вредно-с. Уж и звезда появилась давно.

Журналист сел за стол и, невольно заряжаясь суетливостью гостя, стал разливать водку. Пропустили и по первой, и по второй. Налили рюмки до краев живительной влагой и хозяин, прищурившись, спросил:

— Положим, ты действительно, домовой. На кой же ты, леший, к холостяку поселился, ежели ты такой хозяйственный и домовитый?

Домовой не спеша выпил рюмку и чихнул в кулачек:

— Вот, что я скажу тебе, хозяин. Смешные вы люди, ссоритесь, хлопочите, союзы разные собираете, а того понять не хотите, что самое главное в повиновении заключается. Вот, к примеру, взять нас, домовых. Много нас! А каждому свое место указано. В каждой, вот такой комнатушке, хоть паршивенький, да домовой есть. У нас строго, ежели пошлет Сам, главный наш, то ты ему перечь не моги. Вот, я в Харбине в богатых домах жил,а как началась там неразбериха людская, так и вышел мне приказ сюда ехать, да к тебе в домовые записаться... Чтобы про все знать, что в газетах написано Читаю вот...газеты эти. Да что толку? Все вы люди на одном месте топчетесь, а того понять не можете, что в ссорах, да сварах никогда вам Родины не вернуть.

Журналист деловито спросил:

— А почему, собственно, вы за нами в эмиграцию потащились?

— Экий ты! Да куда вы без нас денетесь? Перепьешь ли ты, кто тебя до дому доведет? Все я Заболеешь ли, кто ночи возле тебя просидит Все я же. А в эмиграцию мы за вами потянулись

потому что очень любопытно нам, когда это вы между собой сговоритесь. Вот, я с тобой поговорил, ты рассказик напишешь, глянь кто-нибудь и задумается. Раньше-то, в России, мы часто людям являлись, а как выдумали вы эту революцию вашу, так и домовым приказ вышел, один только раз видимым быть, в ночь Рождественскую.

Журналист закурил и задумчиво, серьезно посмотрел в подслеповатые звериные глазки:

— Ну, а если мы и сговоримся, вам-то выгода какая? Вы-то чего хлопочите?

Серая мордочка домового сморщилась в плаксивую гримасу.

— Хуже нам после разрухи российской стало, вот что. Раньше-то приволье было. Спит ли, кто плохо, домовой, значит, душит. Надо ли, чтоб дело какое вышло, домовому к печке еду ставили. Думали о нас. А теперь худо. Верить в нас перестали.

Пьяный домовой заплакал тоненьким бабьим голоском.

Глубоко задумались оба. Один человек облокотился на стол и рассматривал что-то невидимое в углу. Другой—нечисть, всхлипывая, крутил рюмку. Где-то пробили часы. Ночь была на исходе.

Косматая лапа с рюмкой протянулась через стол:

— С праздником, хозяин!

Журналист улыбнулся:

— А ведь ты прав, серый! И нам без вас плохо стало. Ушли вместе с вами родные предания. Будничной стала жизнь. Выпьем, серый! За возвращение! За сказки русские

* * *

Утром с похмелья проснулся поздно. Оглядел комнату. Выметенный пол, бутылка на столе и две рюмки. Усмехнулся... посмотрел на серую горку пепла на полу. Вспомнил, что надо идти по делу. На тарелку налил остатки водки и положил ломтик хлеба. Покосился опасливо, как школьник, на окно, не видит ли кто . И поставил

тарелку ближе к печке, где серела зола.

1992

# НЕОЖИДАННЫЙ ЗАВТРАК

Всякие эпизоды бывают в нашей жизни, особенно при эмигрантском существовании.

...Вспоминается юность, годы университета, заработки, полуголодная жизнь, ибо, денег никогда не хватало.

Одно время жили мы в очень небольшой бедной каморке, даже не каморке, а в сторожке. Это жилье для сторожа располагалось во дворе одного дома. В сторожке у нас была печь, стояли две кровати и два письменных стола.

Была еще одна пишущая машинка, на которой мы перепечатывали свои стихи и затем относили их в редакцию. Работали мы обе в журнале «Рубеж». Жила я в сторожке с поэтессой Марианной Колосовой.

В то время я уже начала печататься. Писала стихи, коротенькие рассказы, в общем начинала свою литературную жизнь. Жизнь была трудная. Часто, часто нам не хватало денег даже на хлеб, мы голодали...Из тех далеких дней мне вспомнился один очень забавный эпизод, некий «Случайный завтрак». Было это так.

В то время я служила на табачной фабрике. Марианна давала уроки и конечно же день получки на фабрике—раз в неделю—был для нас огромным событием, ибо мы могли пообедать, купить себе что-то на завтрак и вообще у нас появлялась возможность вести «роскошную жизнь»

В это утро я, как обычно, вышла на службу, оставив Марианну спящей дома. В этот день, кроме всго прочего, у нас заночевала одна наша большая приятельница. Обе эти девушки, мои подруги с нетерпением ждали моего возвращения с деньгами.

Шла я на службу очень торопливо, часов у нас никаких не (было,вставали «по солнцу». Дошла я до Китайскои улицы. Все харбинцы хорошо знают эту улицу. На этой улице я могла сесть в автобус, или...идти до фабрики пешком, это минут тридцать. На фабрике обычаи были очень строгие, в семь утра закрывались ворота и опоздавшие рабочие теряли рабочий день.

Я вышла на Китайскую и подошла к аптеке, где висели огромные часы, посмотрела и невольно вздохнула—было без десяти семь. Я никак не могла успеть на службу. Значит день будет потерян, получки не будет. От всего этого я просто пришла в отчаяние. Постояла около часов, повздыхала и пошла по Китайской. Я не пошла домой, ибо знала, какое разочарование я принесу своим подругам.

Стали открываться продуктовые магазины, из булочной доносился аромат свежевыпеченного хлеба. Рядом была вкусно благоухающая колбасная, я смогла уловить даже очаровательный запах сосисок, которые я в то время так любила. Мой голодный желудок заныл протяжно. Я старалась не смотреть на витрины. Медленно я пошла к дому. И вдруг я услышала за собой быстрые и твердые шаги. Я оглянулась. Меня догонял какой-то господин. Он был прекрасно одет, в руке его покачивался огромный деловой портфель. Господин явно догонял меня. Поравнявшись со мной, он сказал мне

— Доброе утро!так словно мы были старыми знакомыми. Я, немного замявшись, вежливо поклонилась ему и тоже ответила:

— Доброе утро.— Тогда он воскликнул:

— Куда вы так торопитесь?

Но и глупо же это прозвучало, ведь я шла еле -еле, то что называется «нога за ногу», Я ответила:

— Я никуда не тороплюсь. Я опоздала на службу, фабрика уже закрыла ворота. Я иду домой.

Тогда он улыбнулся и радостно сказал:

— Ну,тогда пойдемьте пить кофе.Кофейни уже открыты.

Я замялась.

— Слушайте, ну кто же ходит пить кофе в семь часов утра? Уж больно рано. Спасибо.

Я пошла дальше. Не долго думая, он произнес:

— Ну, тогда пойдемьте пить кофе к вам домой. Мы прекрасно проведем время. Подождите меня здесь, я сейчас вернусь.

Господин стал удаляться. Я решила, что он просто «отвязался» от меня. Я понимала, что незнакомый мужчина на улице просто «приставал» ко мне. Я продолжала свой путь. Но шла медленно, останавливалась перед витринами, не спешила домой с пустыми руками. Минут через пятнадцать я вновь услышала торопливые шаги за своей спиной. Все тот же господин догнал меня и радостно воскликнул:

— Ну вот, все в порядке. Видите, я сделал необходимые покупки и мы сейчас великолепно выпьем у вас дома кофе.

Я растерялась. Я уже и не знала, каким образом мне отделаться от этого назойливого господина. Но сверток в его руках излучал такие аппетитные запахи...Как бы мне избавиться от этого человека, но...сверток...сверток полностью захватил мое внимание. И я...разговорилась с господином. Я говорила о прекрасном утре, о том, как замечательно греет солнышко, как оживают в его лучах улицы...Он поддерживал разговор, о чем -то спрашивал меня. Я все думала, куда бы мне удрать от него, в какой спрятаться подъезд.

— Да, кстати,—наивно пролепетала я,—давайте я понесу этот сверток, а то у вас в руках сверток и тяжелый портфель...Давайте я вам помогу.

Господин охотно протянул свою заманчивую покупку. Я предложила повернуть на Аптекарскую улицу. Мы идем, а я все думаю о том,как бы мне избавиться от попутчика. И вдруг меня осенило. Я остановилась у одного подъезда, немного помедлила и очень смущенно сказала::

— Знаете, вам придется немножко подождать, потому что мы живем вместе с мамой, а сейчас такой ранний час, мне надо ее разбудить.

Мой спутник растерянно посмотрел на меня. Стало совершенно ясно, что мама его совершенно не устраивает. Наконец, он заговорил:

— Знаете, я забыл...—он посмотрел на свои ручные часы и начал быстро-быстро говорить:

— Я совсем забыл. что у меня очень крупное дело, как раз перед работой. Давайте я встречу вас сегодня вечером. Мы пойдем в кино, потом где-нибудь поужинаем...Я буду ждать вас около этого подъезда. Я радостно согласилась с этим предложением:

— Хорошо. Я вас буду ждать здесь примерно в в семь часов вечера.

Он поклонился мне и быстрыми шагами пошел от меня. Я осталась у ворот. Даже шагнула в подъезд, чтобы скрыться с его глаз. Сверток-то был у меня в руках. Когда этот господин скрылся за поворотом улицы я выскочила из своего прикрытия и побежала в дoвгом направлении, домой, к своей улице. Я прижимала сверток к себе и бежала. Я даже и не понимала—то-ли я радовалась тому, что избавилась от навязчивого человека, то ли радовалась этому свертку и его манящим ароматам.

Наконец, я подбежала к дому, забарабанила в дверь. Одновременно два сонных голоса спросили:

— Кто там?

— Открывайте скорее. Это—я.

— Ты? Ты!..что, опоздала на службу—В голосах спрашивающих звучало отчаяние. Еще бы. Понятно.

Открыли дверь. Я влетела в комнату, бросила сверток на стол и сказала:

— Сейчас будем пить кофе. Сейчас будем пить кофе и есть очень вкусные вещи.

Меня даже не спросили-откуда у меня сверток. Девочки стали быстро разворачивать сверток и вынимать из него содержимое.Там было все: кофе, сгущенное молоко, пакетик сахара... Он предусмотрительно купил все, понимал, что у такой девченки в доме нет ничего. В свертке была колбаса, какие-то аппетитные булочки, вкусный калач и сыр.

Какой мы в этот день имели завтрак! Мы были очень голодны. А кофе мы не пили давным-давно. Сыр для нас был невероятным угощением. Булочки, колбаса...Все это было так вкусно, так ис-

ключительно хорошо.

Выпив кофе, я стала рассказы[illegible] подругам историю этого свертка. Тут п[illegible]лись шутки, смех. Мои приятельницы похвалили меня за сообразительность. И они совсем не хотели думать об этом господине, о том встречусь я с ним или нет. Это, мол, пустяки. Главное—этот замечатеьный завтрак и...моя находчивость.

Я никогда больше не встретила этого человека. Он исчез из моей жизн так же неожиданно, как и появился на Китайской улице. Но мои приятельницы, особенно Марианна очень хорошо запомнили этот эпизод. И когда у нас наступал очередной «кризис», когда у нас в доме не было ни копейки, ни куска хлеба в доме, тогда Марианна говорила:

— Ольга, иди на улицу на заработки.

Так эта шутка и жила среди нас, воспоминание о столь нужном нам тогда «Неожиданном завтраке».

1 ноября 1991

# Обед в шторм

У нас так много печальных и трагических воспоминаний, что в предпраздничные дни хочется припомнить что-нибудь забавное, веселое, радостное.

Предрождественские дни в нашем городе всегда отличаются елочным блеском, яркими огоньками нарядных витрин, суматохой в магазинах. И начинается это все задолго до праздников.

Всегда вспоминаю забавную карикатуру в одной из местных газет или журналов.

Едет на санях, заваленных подарками Санта Клаус, летят, почти не касаясь земли, на звездном фоне, олени...а за ними бежит запыхавшаяся индюшка и кричит: «Постой, постой, куда вы...я еще не пришла!»

И невольно вспомнился День благодарения в этом году.

Мы, прожившие здесь в Америке несколько десятков лет, сжились с обычаями страны в День Благодарения празднуется у нас обычно в семейном дружеском кругу. Да и как не праздновать, как не отметить этот день—ведь и нам всем так же, как пионерам страны— есть о чем вознести благодарность Богу, ведь и мы также, как и далекие переселенцы нашли здесь в благословенной Америке мирную жизнь на много лет .

В этом году погода не очень радовала нас. То и дело, со всех сторон летели вести об ураганах, наводнениях и землетрясениях. Даже на наш Сан Франциско налетали ветры, правда не такие сильные, как в других штатах, но тоже приносящие с собой дожди снег и наводнения.

И вот, в нашем северном городе Сеаттле, где дожди не в диковинку, и случилась эта «индюшкина» история, о которой написала мне в очень интересном письме одна из главных участниц этого эпизода.

В уютном, красивом и комфортабельном доме на окраине города, с утра шли оживленные приготовления к праздничному ужину. В кухне готовились всякие вкусные соусы и гарниры, маринованные фрукты уже были выложены в вазы, стол в уютной столовой парадно накрыт. В духовке жарилась огромная индюшка и хозяйка дома озабоченно поглядывала на часы, чтобы не пережарить вкусное жаркое.

На улице темнело...день был хмурый, дождливый.

В передней раздавался звонок за звонком и скоро в гостиной зазвучали веселые голоса, смех шутки, радостные приветствия.

Яркий свет люстр отражался на хрустале стола, из кухни уже доносился приятный аромат. В гостиной разговор был все оживленнее и веселее.

И вдруг за окнами загудели провода, сильный порыв ветра застучал ветками деревье в окна дома. На улице от сильных порывов колыхались уличные фонари, мигая сквозь потоки дождя.

Порывы ветра все усиливались, шел настоящий ураган.

Внезапно большой платан, украшавший лужайку возле дома, жалобно застонал и с грохотом и треском подломился. Слышались какие-то крики в соседних домах. Где-то жалобно прозвучала сирена. Дерево склонилось к окнам дома и с грохотом упало на землю, по счастью не коснувшись больших окон гостиной. Все взволнованно заговорили, столпились у окон, наблюдая разбушевавшуюся природу. Еще порыв...еще то, вдруг, погасло электричество

Немедленно зажгли свечи, эту обычную принадлежность праздничных ужинов. Кто-то подбросил дров в большой камин. Стало светлее в комнате. Бросились к телефону. Но со станции ответили, что свет погас во всем районе и раньше утра вряд ли будет возможность починить сорванные ураганом провода.

Хозяйка дома всплеснула руками и бросилась в кухню. В электрической духовке было темно— недожаренная индюшка, распостраняла аппетитный аромат, но была наполовину сырая.

Заговорили наперебой, утешая взволнованную хозяйку. Говорили, что можно обойтись без традиционной индюшки, закуски и салаты прекрасно заменят жаркое. Говорили, что кто же ожидал? Многие ругнули прогноз погоды, предсказзавший дождь и ветер, но не ураган. А за стеной гудел шквал, и ветки деревьев жалобно бились в окна.

И, вдруг, один из самых молодых гостей радостно воскликнул:

— Можно помочь делу. Мы остановились в отеле и там у меня хороший знакомый заведующий, да и с поваром я как-то раз разговаривал. Это всего пять-шесть миль отсюда—в центре города. Я сейчас,— и он побежал к телефону.

Конечно, бывают в жизни трагедии серьезнее недожаренной индюшки, но перспектива угощать салатами, вместо традиционного ужина, да еще в полумраке столовой, освещенной только дрожащим огнем свечей— на кого не доведись, расстроит каждую хозяйку и поэтому гости прислушивались к голосу молодого человека и были

полны надежд.

Он повесил трубку и весело заявил:

— Я сейчас поеду в отель, они обещали помочь. Не беспокойтесь, я сам пойду на кухню, у них там газовые печки, и с освещением тоже все в порядке. Давайте индюшку.

— Но как же в такой ураган! Да дороги, наверное не видно, посмотрите какой дождь!

— Глупости! Прекрасно доеду и вернусь часа через полтора.

— Как хочешь, Джим, а я еду с тобой,— взволнованно заговорила молоденькая жена героя,— не к чему тебе, в такую погоду.

— Ничего со мной не случится. Известно , что женщина всегда берет верх.

Джим развел руками.

— Хорошо, сдаюсь. Поедем вместе. В крайнем случае погибнем все трое: я, ты и индюшка! —и молодая пара скрылась за входной дверью, унося огромный противень с жарким.

А непогода становилась все хуже и хуже. Включили радио на батарейках.

Все сели вокруг камина и слушали передачу.

— На мосту столкнулись два три автомобиля. Двое ранено...В западной части города вспыхнул большой пожар...Ветром сорвало провода около отеля и разбило стекла...Без большой необходимости жителей просят не ездить по автострадам и главным магистралям...

— Господи, Господи! И зачем я согласилась. Зачем отпустила их, автомобиль у Джима маленький. Не дай, Бог!

— А в какой отель они поехали? Не там где пожар?

— Нет, кажется другой. Джим не сказал, в какой именно.

Господа, уже скоро три часа, как они уехали!

Хозяин предложил выпить еще, но на него зашикали со всех сторон. Не до выпивки.

— Как-то там наши индюшные спасители,—попробовал кто-то пошутить. Но шутка смеха не вызвала.

Было уже около одиннадцати.

— А знаете, господа, как будто бы ветер стал

тише.

И вдруг, сквозь гул дождя и гуденье ветра послышался тяжелый шум мотора. Все бросились к окну. К дому подъехал большой грузовик.

— Они! Но почему в грузовике. Кажется это грузовик отеля!

Звонок. И в дверях показались Джим и Мэри. А за ними кто-то высокий тащил завернутый и покрытый брезентом большой сверток.

— Они! И наша индюшка!— раздались крики. Хозяева и гости столпились у дверей передней,радостно приветствуя вернувшихся героев.

Джим, сбрасывая мокрый дождевик , весело рассказывал:

— Доехали благополучно. Только раз застряли у моста, а вот,когда индюшка дожарилась и надо было двигаться в обратный путь, у нас заглох мотор. И администрация отеля была так любезна, что дала свой грузовик, чтобы доставить нас сюда.

Улыбающегося шофера потащили к столу, предлагали остаться на ужин. Он отказывался, надо спешить в отель.

Наполнили стаканы и выпили за здоровье Джима и Мэри. За здоровье шофера. За отель. За индюшку! А индюшка стояла ароматная и румяная посреди стола. Потрескивал камин. Было весело и шумно.

# Смертное воспоминание

**( ИЗ ПОДСЛУШАННЫХ БЫЛЕЙ)**

Пронзительный, резкий ветер покрывал землю лохмотьями желтой листвы. Зима предстояла морозная, снежная, ветренная.

Маленькое, облезлое здание вокзала, как-бы жалось неприютно к группе обглоданных осенью деревьев. На перроне, зябко кутаясь в служебные шинели, стояло несколько человек. Тоненько брякнул звонок и из темноты и взлохмаченного мрака вынырнуло одноглазое чудовище. С бряцанием и пыхтением пассажирский поезд застыл для пятиминутного отдыха. Сквозь огромные окна приветливо виднелся вагон-ресторан, купе первого класса выглядывало бархатной обивкой диванов. Высокая женщина в черном прильнула к окну,и, улыбаясь, вглядывалась в темноту. Может быть эта маленькая станция напомнила ей что-то светлое, промелькнувшее в жизни, а может быть улыбка, озарившая ее лицо, только показалась Сергею Александровичу Тополеву, который сам, не зная почему, вышел встречать поздний поезд. Ветер крепчал. Три коротких, промерзших звонка оторвали нарядный состав. И вагоны поплыли к зеленому блеску семафора, унося с собой и комфорт вагонов,и силуэт незнакомки в черном, и какую-то неопределенную тоску оставшихся.

Сергей Александрович хотел идти домой, но одинокость своей квартиры была невыносимой сегодня, и он медленно направился в буфет первого класса. Здесь все было надоедливо знакомо и запущено. Тот же ряд запыленных бутылок с вином, застывших в ожидании богатых пассажиров, те же мутные, немытые окна, и та же фигура безнадежно прогоравшего, но веселого и добродушного толстяка буфетчика.

На скамейке для ожидающих сидела старуха, одетая бедно, но чистенько, с потертым чемоданом в руках. Она не шевелилась и ее мутный, старческий взгляд был устремлен, неотрывно устремлен в одну точку. Сергей Александрович

невольно вгляделся в ее лицо.

Сморщенное, почерневшее, оно напоминало картину древних мастеров. Тонкие губы беззвучно шевелились, нарушая сходство с неподвижностью мумии. Буфетчик подошел к Сергею Александровичу и шепотом проговорил:

— Вы не знаете, к кому это? Да вот, старушенция эта. С пассажирским приехала, вошла, ни слова не сказала, так вот и сидит. Я ее спрашивал. Молчит. Надо буфет запират ь, а она не уходит.

— Скажите дежурному,—посоветовал Тополев и только собирался выйти, как странный надтрес нутый стон болезненно пронесся по комнате. Стонала старуха. Теперь ее глаза потеряли свое бессмысленное выражение, наоборот, в расширенных зрачках ее светилась страшная нечеловеческая боль. Тополев подошел ближе и ласково спросил ;

— К кому вы приехали, матушка, что с вами?

Вблизи ее лицо было жутко.Губы потрескались и почернели, не то тени, не то пятна выступали под морщинами, редкие седые волосы выбились из под платка и прилипли к влажному лбу. Пальцы, сжимающие чемодан, скрючились.

— Да она больна!—испуганно вскрикнул буфетчик,— Сергей Александрович, голубчик, сбегайте, позовите дежурного! Только через полчаса Тополев вместе с дежурным и станционным врачом снова вошел в буфет. Старуха уже не сидела на скамье, а как-то неловко скрючившись, лежала на полу: подмятое платье обнажало маленькую подвернутую ногу в стоптанном ботинке...Было что-то жуткое в ее неподвижности. Потертый чемодан раскрылся, очевидно от падения, и из его дряхлой пасти высыпались тряпки и свертки. Буфетчик, растерянно размахивая руками, подбежал к вошедшим:

— Сперва так вот сидела, а потом закричала в голос и на пол покатилась. Я бросился поднимать ее, думал обморок,а она не дышит. Господи, на глазах умерла.

Доктор, маленький, кругленький господин уверенно подошел к умершей, наклонился, чтобы выслушать сердце. На лице его вдруг разом от-

разилось недоумение и ужас и, не прикасаясь к трупу, он быстро поднялся и принизив голос до шепота, сдавленно сказал:

— Не подходите и не прикасайтесь, а лучше всего, вон отсюда. Эта женщина умерла от чумы.

Страшная болезнь пришла в образе незаметной, сгорбленной старухи, дряхлыми шагами прошлепала по перрону и прочно воцарилась на маленькой станции.

Прошла неделя. Неделя бесконечных снежных ураганов и вьюг. Поселок словно заснул в снежных сугробах. Самый крайний, пустовавший до сих пор дом, ожил. но оживление это было от дыхания смерти. Здесь поместился чумной барак. Сюда, на простых розвальнях, привозили подобранных больных, рослые, добровольные санитары. В просмоленных халатах, с длинными баграми в руках, они казались чертями, везущими грешников в ад.

Кто-то черной краской нарисовал на дверях дома крест. Общий крест на могиле попавших в лапы черной смерти.

Попрежнему приходили и уходили поезда. Дребезжали звонки. Только в буфете за стойкой стоял высокий и худой новый человек. Смешливого Василия Васильевича буфетчика свезли просмоленные халаты в промерзлую яму общей могилы.

Тополев помрачнел и осунулся. На вокзал приходил редко. Так и мерещилась скрюченная старушечья фигура, скользящая в здание вокзала. Мучительно не хватало Василия Васильевича. Раньше он почти не замечал буфетчика, изредка перекидывался с ним несколькими фразами. А тут ясно ощущалась какая-то пустота. И не тянуло в буфет, где из-за ряда пыльных бутылок уже не улыбалось знакомое, добродушное лицо.

Тополев весь ушел в работу, стараясь забыть впечатления жуткого вечера. Еще внимательнее следил за постройками , порученными ему. Работа затянулась и он торопил китайца Чин-Вана, или Ванюшу, как окрестили его русские. Впереди был желанный отпуск, рождественские праздники. Чин-Ван был особенный китаец. Рос-

лый, крупный северянин, жизнерадостный и веселый, он прекрасно говорил по-русски, очень умело жульничал, и со всеми был в приятельских отношениях. Рабочие его слушались, а Сергей Александрович частенько зазывал к себе, поил водкой и заводил бесконечные разговоры о России, где Чин-Ван побывал еще мальчонкой. Из Москвы он вывез знание русского языка и любовь к русским. Узенькие глаза его щурились в щелочки, когда он, прищелкивая языком, рассказывал о богатстве и красоте русского города.

Сегодня утром Чин-Ван повздорил с кем-то по службе и ходил мрачный и сердитый, потом попросил у Сергея Александровича разрешения придти к нему вечером, посоветоваться относительно новой сметы:

— Я сам немножка не понимай.

— Конечно, приходи после работы, потолкуем

С работы Тополев ушел раньше обычного, заглянул в бакалейную лавку, купил водки, закуски, и нагруженный покупками зашагал домой. По дороге попался кругленький доктор, спешивший куда-то.

— Ну, как у вас на работе, все здоровы? А мы сегодня противочумную вакцину получили. Тоже порядочки. Через неделю удосужились прислать. Вы бы, милейший, прививочку-то сделали бы.

Тополев равнодушно ответил:

— Э, Семен Иванович, от судьбы не уйдешь.

— Судьба то судьбой, а чума шутка пренеприятная. Гляди-ка как нашего целовальника скрутила, в два часа в могилевскую губернию укатил. Торопитесь? Ну, ну, не задерживаю. Рабочих ваших завтра подкалывать будем.

Хорошее настроение уплыло вместе с исчезнувшей фигурой доктора, стало совершенно безразлична и успешность постройки, и сама служба, которую Тополев так ценил. Дома достал пачку газет, присланных с пассажирским, и углубился в чтение. Но ни политика, ни события железнодорожного мира не трогали и не занимали. Лениво пробежал фельетон. Какую ерунду стали писать. Разве это важно? В памяти почему-то промелькнуло лицо Василия Васильевича, испуганное, растерянное, каким видел он его перед

смертью. Стрелка часов близилась к шести. В ожидании Чин-Вана, Тополев расставил тарелки, разложил закуску и откупорил четверть с водкой. Чертово настроение! Тяпнуть что-ли?

«Нет, подожду Ванюшку, прекомичный китаец, этот самый Чин-Ван. Да вот и он.»

Рослая фигура китайца сразу заполнила комнату. Разобрали счета, сделали нужную выкладку. Выпили, закусили. Чин-Ван как-то сразу опьянел и стал болтать всякий вздор, мешая русскую речь с китайской. «Чего это с ним, от третьей рюмки пьян»—подумал Тополев. Сам он не чувствовал ни малейшего опьянения и молча глотал рюмку за рюмкой, слушая болтовню Чин -Вана. На улице, по зимнему, быстро темнело.

— Время. Фанза, айда,—решительно заявил Чин-Ван и, застегивая пуговицы ватного халата, протянул руку Сергею Александровичу.— Твоя больно хороший. Чин-Ван тебе всегда первый друг,— заплетающимся языком пробормотал он и скрылся за дверью

Остался один. Выпил еще пару рюмок, мозги заволокло легким туманом опьянения, подошел к окну и, опираясь на подоконник, загляделся в снежную даль. Поселок словно вымер. На фоне белого снега кое-где мерцали огоньки домов. Заскрипели полозья и по дороге быстро проехали сани, покрытые брезентом.

«Чумные»,—неприятно отозвалось в голове.

Стало тошно не только думать, даже понимать чувствовать, видеть. Бесцельной и ненужной показалась вся жизнь, заброшенная в глушь чужой страны. Мысли, ленивой черепахой, переползали с предмета на предмет. На белом снегу отчетливо вырисовывалась чья-то фигура в длинном полушубке, человек подбежал к окну и что-то крича, застучал в стекло. Сергей Александрович слышал обрывки слов, но мозг воспринимал их туго, не понимая смысла. При свете луны он узнал рабочего Смирнова, открыл форточку и, с жадностью глотая морозный воздух, спросил:

— Что тебе, Смирнов?

— Ванюшка помер.

— Что? Какой Ванюшка?

— Чин-Ван, то ись подрядчик наш.

— Чего ты чушь порешь, я его только что видел.

Голос Тополева дрогнул.

— Вот вам крест, Сергей Ляксандрыч. Шел по дорожке и сковырнулся. Санитары приехали, а он мертвехонький

— Какие санитары, когда?

— Черные, чумные. От чумы, значит, подрядчик помер.

Весь хмель мигом соскочил с Тополева,кто-то холодом сжал сердце, сдавило дыхание.

А Смирнов, уже отходя, закричал:

— Я упредить вас прибежал. Потому завтрева без подрядчика работать станем.

Тяжело дыша, всматривался Тополев в снежную муть, потом захлопнул форточку и сел. Мысль заработала с беспощадной ясностью. Чин-Ван умер от чумы. Заразиться он мог днем. Здесь, со мной он сидел уже зараженный, уже чумной. Зараза чумой молниеносна. Значит, я тоже заражен. Сейчас вот сижу и рассуждаю, а через час, через два, мой труп стащут в общую яму, баграми стащут.

Мороз пробежал по спине. Жуткое, нечеловеческое отчаяние пригнуло его голову вниз, заставило сжать руки и завыть глухо, протяжно. Смертное ожидание охватило все его существо и только мысль работала точно и ясно. Конец. От него не уйдешь, не скр оешься. Провести несколько часов с чумным, дышать его дыханием и не заразиться—это невозможно, это абсурд.« И я так же, как та старуха, как Василий Васильевич буду почерневшим, окоченелым трупом, уйду в ничто.

Тополев бросился к окну и прижался к холоду стекол. Лицо перестало гореть и пересохшие губы повлажнели от морозящего окна. У старухи тогда губы потрескались и пятна черные пошли по лицу. «Может и я уже чернею?». Бросился к чемодану, лихорадочно разбрасывая вещи, нашел ручное зеркало и, пристально вглядывался в отражающее стекло. На него глянули воспаленные глаза и бледное, осунувшееся лицо. Пятен не было. Но они будут, будут, должны быть!

И вот, странное отупение заползло в голову и что-то шептало настойчиво и угрожающе: все равно не уйти, от смерти никто не убежал, никогда. А от этой, от черной...О, проклятье! Впереди смерть. Жуткая смерть чумного! Так пусть лучше умру, не сознавая, умру пьяным. И, повинуясь быстрому решению, он наливал стакан за стаканом и, залпом, обжигая губы и гортань, пил пьяную влагу. Опьянения не было. Как в калейдоскопе, в голове проходила вся жизнь, вспоминались мелочи давно забытые, ненужные. Злой усмешкой мелькнула мысль о женщине, может, о той незнакомке, в вагоне поезда, еще неведомой, но желанной, как никогда, в эту смертную ночь.

При заболевании чумой, пульс начинает работать неровно, кто-то чужой сказал эту фразу, не он, не Тополев, может быть доктор, кругленький доктор.

Сергей Александрович щупал свой пульс, стараясь уловить биение сердца.

Удары били в ушах, как молоты. И трудно было понять, стук или это сердца, или биение последней, обжигающей мысли. Еще водки. Дымкой заволокло голову. И, как в тумане, выплыли два лица, старухи и буфетчика. Одно сморщенное, черное, другое смеющееся, подмигивающее. И чернело лицо буфетчика, и подмигивали и растягивались в подлый смешок, старухины морщины.

Звоном станционного звонка стучало в ушах: ЖИТЬ. ЖИТЬ, ЖИТЬ...

Руки не повиновались. Тогда, навалившись всем телом на стол, он поймал губами горлышко четверти Что-то обожгло все тело, захлестнуло сознание. Лицо старухи, синее расплылось во всю комнату вплотную глянуло в его глаза. Четверть звонко грохнулась о пол и рассыпалась тонкими стеклянными брызгами. Человек поднялся во весь рост и тяжело рухнул на стол, давя и стаканы и тарелки. Где-то далеко прозвучало дребезгом посуды...жить...и замерло в страшной пустоте.

* * * * *

Утро было яркое, солнечное. Около постройки собрались рабочие, обсуждая смерть Чин-Вана. Тополева не было. Ждали час, два, Смирнов говорил ,что он видел старшего вчера ночью, когда Ванюшка помер.

— Не в себе, будто был он,—повторял Смирнов.

— Как сказал я ему, что подрядчик скочеврыжился, старшой закричал, а сам белый, ровно снег.

— А может, братцы, он и сам того, заболел. Чин-Ван у него вечером был, я сам видел.

Толпа напряженно притихла. Кто-то робко заметил:

— Дохтуру бы сказать.

— И то правда, вали к дохтуру, ребята!

Домик Тополева был на отлете от поселка. Толпа оживленно крича и споря, мяла занесший дорогу пушистый снег. Впереди шел, широко шагая, Смирнов и семенил, едва поспевая за ним, толстяк доктор.

— В окно поглядим, Семен Иванович, в окно чума не проскочит,— советовал Смирнов.

Окно заиндевело за ночь, покрылось прихотливым изломанным узором Был виден только тусклый свет зажженной лампы.

— Огонь-то не гасил. И впрямь не заболел -ли?— заметил молодой парень и остановился в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу.

Застучали в дверь, закричали. Ни звука не доносилось из домика. Толкнули дверь. Повизгивая на петлях, она широко распахнулась. Запах винного перегара хлынул в лица людей. Поперек стола, тяжело свесив руки, лежал Тополев. Осколки битой посуды покрывали пол.

— Помер,— произнес кто-то тихо и толпа схлынула назад, пугаясь страшного призрака черной болезни.

— Сергей Александрович!—громко позвал доктор.

Лежащий вздрогнул, поднял голову и бессмысленным, пьяным взглядом помотрел на дверь. Солнечный свет, струя морозного воздуха вско-

лыхнуло, разбудило опьянение, и резко вспомнилось все вчерашнее . Смерть Чин-Вана. Чума. Смертное ожидание ночи,

Всклокоченный, с изрезанным осколками лицом, с разорванной рубахой, человек бросился навстречу толпе и, расталкивая ее, отступившую, разбежавшуюся, диким криком «Жив!» огласил воздух. Бросился бегом, хохоча и плача по снежной дороге к вокзалу.

Доктор и рабочие, едва поспевая, бежали за ним. Ветер дул в лицо. Расплывалось, исчезало похмелье в этом сумасшедшем радостном беге к жизни. Спотыкаясь о шпалы, он бежал по железнодорожным путям, подставляя раскрытую грудь морозному воздуху. Опухшее пьяное лицо его было почти прекрасно странным, безумным выражением, навстречу, тяжело гремя, шел товарный поезд.

Тополев видел его, черный, шипящий паровоз, слышал отчаянные крики людей, но не замедлял бега. Черной старухой мерещился ему приближающийся поезд и ей в лицо, ей не осилившей, не победившей, кричал он громкое...«жить!»

Споткнулся о рельсы и упал с откоса в пушистый, податливый сугроб. Что-то загрохотало, зашумело над головой и товарный пролетел по рельсам, обдавая его искрами. Радость захлестнула, обессилила.

* * * * *

Только через месяц поправился Тополев от жесточайшей нервной горячки. Вечером, пассажирским, проводила его маленькая станция в город, на поправку, в такой желанный отпуск. Молодость и здоровье победили призрак страшной черной старухи, присевшей на край его постели. Болезнь прошла, но призрак болезни не исчез в прошлом.

И самым жутким воспоминанием в жизни осталось для него смертное ожидание той ночи.

1990 г.

# Пароходный заяц

Когда вам восемнадцать лет то мир кажется таким же необъятным, как безбрежные просторы моря, вояж по которому вам предстоит совершить...нет ничего страшного в том, что в кармане у вас за вычетом еще не купленного пароходного билета остается что то около доллара и что возможность покупки этого самого билета подлежит большому сомнению.

Одним словом, когда вам восемнадцать лет... все остальное пустяки. Некупленный билет, правда, изредка всплывает в памяти и слегка беспокоит.

Тем более, что в Харбине было ясно сказано о невозможности достать билет именно на этот пароход, а до следующего надо минимум три дня жить где-то между небом и землей...потому что, как было уже указано выше, в кармане очень не густо, а никаких знакомых в пароходном городе нет и в помине.

Но можно ли думать о таких пустяках, когда поезд мчится минуя станции и полустанки и мир кажется особенно заманчивым и прекрасным в этом мелькании сопок, степей и домов.

Будущее...будущее захватывающе интересно: сколько новых, новых встреч, новых знакомств готовит в будущем чародейка судьба.

Так много неизведанного в жизни. И жизнь такая длинная, полноценная, занимательная.

Практичность...о, да, конечно, последние самостоятельные годы университетской жизни несколько приучили к этой самой скучной практичности и она, эта практичность и заставляет справляться на узловых станциях «а нельзя ли приобрести билет на пароход...ну, да, который согласован с поездом?»

Совершенно определенный, отрицательный ответ заставляет как-то планировать свое будущее пребывание между небом и землей в ожидании следующего парохода.

Можно будет часами сидеть на железнодорожной станции будто ожидаю поезда, а днем... очень будет интересно посмотреть город, съездить в Порт Артур...ах да, ехать будет не на что..

Ну, что ж, можно в крайнем случае и не ездить... Если разделить доллар на три дня, можно будет понемногу питаться хлебом что-ли... да и не страшно, если придется немного поголодать...подумаешь важность, точно не приходилось голодать в свои студенческие дни...зато на пароходе полагается стол...там можно и отъесться, чтобы не очень уж голодающей прибыть к родным.

Иными словами, все складывается хорошо... недурно было бы, конечно, поговорить с кем-нибудь, расспросить о Дайрене...как там, например, разрешается или нет ночевать на вокзале... и вообще так сказать ориентироваться.

И словно в ответ на мысли, дверь купэ открывается и на пороге появляется фигура европейца. Некто высокий и в сером...проходит к дивану, бросает в сетку маленький дорожный саквояж и вежливо приподняв шляпу садится напротив.

Что он русский, в этом нет никакого сомнения. и бывший военный, конечно. Это общая подтянутость, выправка, выдержанность...

Дорожные разговоры вспыхивают всегда незаметно...упавшая книга, открытое окно, задвинутая дверь купэ...да разве мало предлогов для вагонной беседы.

К сожалению, спутник, посланный самим небом, едет только до промежуточной станции и надо торопиться распросить его обо всем, что касается этого «пароходного » города Дайрена.

Собеседник оживляется и начинает расписывать красоты Дайрена, суровость Порт Артура, обворожительную прелесть морского вида.

— Вы говорите у вас нет согласованного билета!? Право же это не лишено удачи! Три дня в Дайрене...Вы успеете как следует осмотреть город, побываете в Порт Артуре, покупаетесь в море. Сейчас самое благодатное время. Вы, ведь в первый раз совершаете это путешествие? Я с большим удовольствием укажу вам приличный и недорогой отель. И вы прекрасно используете

время в ожидании парохода.

«Не то, не то!..Ну как его спросишь?..Можно ли ночевать на вокзале или...разрешается ли ночью сидеть в каком-нибудь саду? Как спросишь!..»

Будь это свой брат, студент, можно было бы, ни мало не смущаясь, рассказать ему свои злоключения, а то солидный взрослый человек, разговаривает, как со взрослой совсем путешественницей...и вдруг признаться...что перспектива сидеть три дня до следующего парохода не так уж лучезарна.

А между тем это единственный шанс...Через пол часа будет его станция, а дальше Дайрен, куда поезд приходит ночью и прямо необходимо навести всякие деловые справки.

Конечно, и без этих справок не пропадешь. Все же...город то совсем не знакомый, будь то Харбин и думать бы не пришлось, пробродить бы хоть ночь по вокзальному перрону, или вздремнуть на скамье в первом классе и вся недолга. А там...Бог его знает, может там и вокзалы то совсем по другому устроены.

Собственно говоря, благоразумней всего было бы переждать в Харбине, купить там согласованный билет и спокойно ехать...но очень уж нетерпелось, очень уж хотелось скорее попасть на поезд. Как бы то не было, а надо было действовать решительно.

И как раз в тот момент, когда случайный спутник описывал в каком именно отеле приличнее всего остановиться, неожиданный вопрос прервал его объяснения:

— А скажите, если там на вокзале ночевать... не...ничего?..можно?

— На вокзале...но почему на вокзале? Что за странная фантазия?!..

Тут уж пришлось идти ва банк:

— Ах, какой вы! Ни в каком отеле остановиться я не могу по той простой причине, что у меня в кошельке что-то около доллара. Ну, вот и хочу узнать какие правила в Дайрене, чтобы...ну...«согласоваться» с ними что ли эти три дня

— Это, конечно, если на пароход не попаду, Только я обязательно попаду...Должна попасть!..

Во-первых, меня дома ждут, во-вторых...на море я и с парохода налюбуюсь...

— Слушайте, да как же вы. Неужели у вас никого нет знакомых в Дайрене?

— Никого.

— Да как же вас отпустили без денег?!..

— Собственно меня никто не пускал. Потому что я, вот уже два года совсем самостоятельно живу. Просто, нехватило денег на дорогу, из дома прислали, ну сами понимаете, не было же у меня расчета на то, что пароход забит до отказа.

Поезд замедляя ход и скрипя тормозами, подходил к станции.

— Слушайте. Вы не обидитесь...если я вам предложу занять у меня деньги. Пожалуйста не отказывайтесь, мне сейчас слезать...Поймите, я обязан помочь вам. Одна в портовом городе три дня без копейки...ведь это же невозможно...

И не дав опомниться, он быстро вынул из бумажника деньги и положил их на стол, вместе со своей визтной карточкой:

— Вы напишите мне, как добрались.

— Ну,что вы, не надо!..Я...

Но поезд уже подошел к полустанку и через минуту случайный спутник исчез.

Вот так история! Вместо сведений о городе получить деньги, и еще от совершенно незнакомого человека...Ну,ну! А главное и поблагодарить то как следует не пришлось. Да что там поблагодарить, надо было просто отказаться от этих денег. Тоже дипломатка, выспросила обиняками! Так сразу все и выложила...Получилось нечто в роде рождественской девочки, заблудившейся в улицах. Только дудки, эти тратить не нужно! Добраться до дому, вложить в конверт и с благодарностью отослать. А то, только, что мама на дорогу выслала, не успела приехать снова,ее просить, вынь да положи еще столько-то!.. Нет, так не годится. Но какой он все же, милый! Ведь даже не знает кто я!.

К Дайрену подошли ночью. Огромное помещение вокзала кипело и пестрело толпой приехавших, встречающих. носильщиков, отельных агентов и прочего люда. И сразу же, вмешав-

шись в толпу, в крытом помещении вокзала, стало ясно, что ночевать там негде, а ходить по перрону всю ночь, тоже вряд ли позволят.

Волей не волею, а приходилось подумать о пристанище на ночь.

— Истрачу один доллар...доложить доллар будет несложно,— и вспомнив название отеля, рекомендованного случайным спутником удалось найти знакомую надпись на шапочках вертящихся среди толпы агентов.

Маленький, скромный номер расценивался доллар за ночь, ужина не надо...ссылка на усталость помогла. Дорогой удалось выспросить отельного гида все относительно парохода.

Билетов не было. Пароход шел переполненный какой-то группой туристов и продажа билетов была уже закрыта.

— Погостите у нас до следующего. Если проехаться по городу пожелаете, я вам могу все показать.

Проехаться не хотелось, сидеть три дня тоже особого желания не было...и узнав когда и от какой пристани отходит пароход...осталось только лечь спать...строго приказав отельному бою разбудить ровно в семь.

Узкие, чистенькие улицы Дайрена, пестрота магазинов, яркое ласкающее солнце...все такое пьяняще молодое, в это раннее утро. Очень хотелось бросить пытаться попасть на недосягаемый пароход, остаться в этом солнечном городке, полюбоваться морем, покупаться в его соленых брызгах, пожить на манер курортной заезжей гостьи.

Очень хотелось.

Но ведь деньги чужие!.. И пришлось бы потом просить у мамы, а Бог знает какие у них дела сейчас. Нет, надо добиться своего, во что бы то ни стало!..

Багаж курсистки не очень сложный багаж. А, если эта курсистка не из белоподкладочных, а обыкновенная...стопроцентная курсистка, то багаж ее вряд ли очень внушителен.

Так что взять сверток, заменяющий и чемоданчик и нессесер и вообще все, подмышку и замешаться в толпе провожающих очень не сложно.

Пароход обычный, немного грязный, немного неуклюжий морской пароход, у входа билеты не проверяли, только спросили: едет, или провожает.

— Провожаю тётку,— ответ очень солидный и тычек пальцем в сторону толстой дамы, нагруженной свертками и узелками.

На море больше не любовалась, внимательно разглядывала пароходную палубу...и...

Знаете, на корме есть такой крытый навес для багажа, заваленный мешками и корзинами.

Среди плотно сдвинутых мешков как-то образовалась дыра, вроде ниши. Оглядеться по сторонам, нагнуться, словно уронила что-то...и нырнуть в эту нишу было делом нескольких минут.

Ох, как билось сердце!.. Не заметил ли кто -нибудь?..

Ведь уж если называть вещи своими именами, так ведь просто на-просто обыкновенный пароходный заяц. А если поймают... высадят.

Пароход переполнен этими американскими тощими и крикливыми туристками.

Они суетятся и снуют по палубе первого и второго классов внизу. Палубных пассажиров тоже набито битком...не может быть, чтобы никто не видел маневр с залезанием за мешки. Чудо будет, если никто не заметил!

Лежать неудобно и душновато.

Пароход отходит в десять, сейчас восемь с половиной. Это значит, полтора часа еще!

Вылезти можно только когда отойдут от пристани. В море не высадят, а остановок никаких. На худой конец сдадут полиции в Тьянцзине, но там то уж дома, позвонить отцу, он выручит как -нибудь.

Да и потом деньги же на билет имеются, заплатить есть чем.

А вдруг не пройдет номер, вдруг будут передвигать эти мешки и...откроют неожиданного зайца?

Над головой застучали шаги, послышались голоса, затем по палубе провезли что-то тяжелое.

Только бы не сдвинули мешки, а то придавят. И без того здесь тесно и очень неудобно. Да и задавить чего доброго могут!..

Воображаю, как ужаснется мама. Девушки в ее время не путешествовали подобным образом. Пароходный заяц, нечего сказать,—почетное звание!

А в общем, если подумать, так даже забавно. Целое приключение.

Лишь бы все обошлось благополучно, лишь бы не нашли до выхода в море.

Минуты тянутся томительно долго, затекли и ноги и руки, можно только лежать на боку, повернуться негде.

Да и опасно очень-то копошиться, чего доброго какой-нибудь матрос заметит, что мешки подозрительно двигаются.

Нет, уж лучше, потерпеть немножко.

Но как долго не отходит этот противный пароход. Наверное прошло уже не полтора часа, а часа четыре, пять!..

Ох, как больно ногу, кажется дольше не выдержать, пусть высаживают, пусть три дня в отеле, пусть! Наплевать на деньги!..просто сил нет, как ломит ноги!!!

И тут же устыдила себя:—а еще метишь в какие-то героини, о каких-то подвигах мечтаешь... тоже героиня, два часа среди багажа пролежать не можешь...Экое шляпство!

И когда ноги затекли до того, что хотелось кричать от боли, раздался такой милый, прощающийся гудок парохода.

Мерно закачались доски палубы, чуть заерзали мешки, послышались крики, последние приветствия на всех языках, где-то совсем над головой кто-то громо по-русски крикнул:

— Пишите, Марья Петровна!..

Повернула руку так, чтобы виден был циферблат ручных часов и следила еще: тридцать минут, нет, сорок, тогда уж наверное не вернут.

Глупости какие, не будет же пароход из-за нее возвращаться. Нет, все-таки лучше подождать немного.

Вероятно, все это было очень забавно!

Набитая самым разношерстным народом палуба, японцы контролеры, проверяющие билеты и вылезающая из-под мешков, растрепанная, запыленная женская фигурка со свертком в ру-

ках. Во всяком случае, добрую секунду все молчаливо созерцали этого неведомо откуда появившегося, перепачканного в муке (мешки оказались с мукой) и пыли пароходного зайца.

— Ваш билет,— был первый вопрос, заданный ей (выползшей из недр загруженной кормы).

— Но у меня нет билета. Я его не смогла достать...

Контролер заговорил что-то по японски, и снова обратился к встрепанному зайцу:

— Я сейчас узнаю, что мне с вами делать.

И ушел.

Русские пассажиры немедленно окружили, забросали вопросами, дамы ахали, мужчины весело высказывали свое одобрение.

Было очень не по себе и от общего внимания и от грызущего душу сомнения, а вдруг да отправят обратно на шлюпке, ведь на пароходах есть такие специальные лодки.

Ясно чувствовала, что в волосах запуталась солома и нос в саже. — Послушайте, барышня, вас наверное просто напросто оштрафуют. Так что волноваться нечего. А вот помыться вам следует, разрешите предложить вам свой несессер.

— Неужели же вы с самой посадки там сидели? Ведь, наверное там очень пыльно и грязно.

— А вы к кому едете?

— Хотите я угощу вас кофе с пирожками, чудесные пирожки, домашние.

— А ну как, покажите мне этого зайца. Ей-ей, в первый раз вижу девушку зайца.

Мальчишки другое дело, им на роду написано.

— Ай, да молодец!

Не успевала отвечать на все вопросы и восклицания...

Так и стояла, прижимая сверток, пытаясь стереть сажу с носа и еще больше размазывая ее по всему лицу.

В восемнадцать лет все пустяки...даже амплуа пароходного зайца проходит безболезненно и просто.

Никуда ее не высадили. Просто предложили купить билет и уплатить штраф, совсем в пустя-

ковом размере. Только стола не дали, расчета на лишнего пассажира не оказалось.

Да в столе не было никакой необходимости — весь этот день ее до отвала закармливали всякими вкусными вещами, начиная от домашних пирожков и кончая шоколадом.

Пароходный заяц явление вообще довольно редкое, а пароходный заяц в юбке и с кудрявой головой, явление просто необычное.

Немудрено, что всю дорогу она ехала героиней дня.

Прямо, вот так, разом перешла с амплуа пароходного зайца, на амплуа героини.

И уже под вечер, улучив свободную минуту, написала письмо случайному спутнику. Письмо вышло длинным, пришлось описать свою краткую, но достаточно динамичную карьеру в качестве безбилетного пассажира. Приеду, деньги вложу в конверт и сразу сброшу на почту.

Совершенно неизвестно еще что бы было без его денег, в отель-то даже и на ночь попасть бы не смогла.

Морем любовалась до сыта.

И, как апофеоз приключения, получила от одного из палубных пассажиров самое формальное предложение и руки и сердца, и кармана.

— Слушайте, рискните. Вы такая смелая. А характер у меня хороший, право же. Вы говорите журналистикой интересуетесь. Так вот гарантирую вам кабинет собственный и стол письменный, пишите сколько угодно...

День был яркий, радостный, солнечный. Море, никогда не виданное раньше переливалось тысячами искр, стелилось чудесным многоцветным живым шелком. Впереди была встреча с родными,какая-то новая интересная жизнь, новые встречи...много нового.

Позади были восемнадцать лет. Но, ведь, всем известно, что в восемнадцать лет все, начиная от пустого кармана и кончая возможностью проехаться зайцем, сущие пустяки Потому что в восемнадцать лет жизнь такая же яркая, большая и заманчивая, как морская даль, чуть позолоченная лучами распаленного, летнего солнца.

# Движение милости

Мир сошел с ума. Еще двадцать лет тому назад, когда страшная волна помешательства охватила огромную и необъятную страну, мир не обратил внимания, не пришел на помощь, не помог,—и вот медленно, но верно волна помешательства распостранилась по всему шару земному. Телеграммы...сообщения...информация... угрозы...предупреждения и война, бесконечная война везде, во всех уголках земли.

Ужас, смятение и страх в душе обычных, простых людей, которые живут сегодняшним днем планы, рассчеты, приказы у тех, кто правит миром.

Калейдоскопически быстрое наростание событий, событий такой огромной важности, что маленькая человеческая жизнь теряется, раздавленная тяжестью тяжелого колеса истории и смехотворными кажутся страницы о давно прошедших и вписанных в книги войнах. Таков сегодняшний день.

И, все таки, несмотря на нагроможденность событий, на растущий сумбур этих дней, надо быть обычными, надо жить обычной жизнью, заключенной в рамки повседневности. Рушатся страны, сходят с лица земли целые города, а жизнь идет своим путем, смешивая радость и горе, подвиг и преступление. Потом, через десятки лет зоркий человеческий взор отыщет среди сумбура исторических событий отдельные эпизоды и опишет их, как памятки величайшего простого героизма, как свидетельства душевного величия.

Рассказ мой относится не к нашим дням, это случилось много лет тому назад в дни, когда по всей необъятной России шла глухая страшная борьба не на жизнь, а на смерть. Когда переполненные эшелоны на-смерть перепуганных людей двигались в неизвестность, когда горсточки молодежи шли на верную смерть во имя Родины, когда расстреливали тысячами за одно слово по-

дозрения, за взгляд, даже за промелькнувшую мысль. Когда по городам и селам насиловали женщин и выкидывали никому не нужных детей, когда не было семьи, которая не оплакивала кого-нибудь из близких расстрелянного, про' го без вести, замученного.

По пустынным и еще не зазеленевшим одиноко маячила фигура человека. Был он нели, ноги обернуты какими-то лоскутьями, ш устало, видимо выбившись из сил в тяжелом, долгом пути. Лихорадочно блестевшие глаза на молодом, заострившемся лице зорко вглядывались в каждый куст, в каждый холмик, высматривая, может быть, притаившуюся там близко подстерегающую смерть.

Три недели этого бесконечного пути сначала в полубреду еще не отставшего тифа, а потом в затхлом углу какого-то сарая, где чья-то сердобольная душа хранила его от врагов, потом этот одинокий переход в поисках ушедшего вперед отряда. Стертые в кровь ноги едва повинуются страстному желанию идти вперед и вперед. Голова еще горит недавним бредовым жаром и кажется, что прошел не месяц, а года, века, под этим серым небом, среди этих бесконечных сопок.

Винтовка тяжело давит на плечо, кажется осталось только два патрона, их надо хранить, как зеницу ока,—попадешься в руки врагов—один для защиты, другой себе, если выхода не останется.

В воспоминаниях недавнего, кажущегося таким далеким, прошлого—гимназическая скамья, родной дом, стремления в университет, первая любовь, близкие лица, но все это отошло, попомеркло от этих сопок, от этой глухой ненависти в груди, от тифа, от походов, от этого года войны и революции.

Где-то далеко, далеко послышался крик петуха, деревня близко, может быть в ней части, чьи —свои или их? Шаг сделался еще осторожнее, глаза напряженно вглядывались в даль.

Спускались сумерки, край неба нехотя заалел бессолнечным закатом. В голове мелькнула мысль, что надо дождаться темноты, чтобы по,

прикрытием ночи подкрасться к деревне, постараться высмотреть, узнать, в чьих она руках.

Присел в небольшой ложбине, положил винтовку возле себя и вдруг все тело охватила такая усталость, что глаза сомкнулись, против желания, мысли спутались и стало безразличным все, кажется выстрелил бы кто-нибудь в упор, не шевельнулся бы.

Потемнело небо, чуть заметным узором зарябили звезды.

Где-то далеко протарахтела телега.

И снова все стихло. Только близко к полуночи откуда-то донесся четкий и дробный щелк пулемета.

На соседней сопке мелькнула человеческая фигура, вгляделась в темноту, приблизилась. Высокий парень в заплатанной куртке нагнулся над спящим, всмотрелся в лицо и быстрым движением руки выхватил винтовку из рук заснувшего. Тот раскрыл глаза, охнул, что-то крикнул и вскочил на ноги. Завязалась борьба в рукопашную, борьба, скорее напоминающая звериную схватку. Молчали, только шорох травы в песке отмечал движения двух человеческих тел.

Если бы не тиф, еслибы не этот бесконечный одинокий путь, не этот голод, он сладил бы, справился бы, но сил не было, а парень оказался крепким и сильным, мертвой хваткой давил на горло, в узел скручивал руки.

И скрутил. Сорвал с себя ремень, нагнулся к самому лицу и выругался грубо и грязно...

— Ишь, проклятый, утечь хотел. Да нет, братец, от Мишки ни один живым не уходил...

Молчал. Знал, что пощады не будет. Да и не на то шли они, чтобы просить пощады. Охватила отчаянная злоба, хотелось закричать от душившей горло ярости. Но он молчал.

Парень перекинул винтовку через плечо и грубым движением поднял пленника на ноги:

— Пошли что ча. Там наши с вашими дерутся, да только ваши то, чай, дали уже стрекача.

Явственно слышалась перестрелка, где-то совсем близко трещал пулемет. И вдруг что-то длинно пропело в воздухе и парень, нелепо взмахнув руками, упал вперед, потащив за собой

связанного пленника.

Ничего не понимая, он сполз с упавшего тела и, нагнувшись, заметил тонкую и горячую струйку крови, сочившуюся из спины лежащего.

«Шальная пуля...» промелькнуло в голове. «Надо попытаться развязать руки и бежать»

Парень глухо простонал и сильным рывком повернулся на бок.

— Ишь ты, подлая, и откуда это...слышь, а поди конец мне пришел. Жжет...

Глухой стон вырвался из его груди и он как то неестественно стал шарить вокруг себя руками.

— Слышь...помираю...водицы бы испить...

И уже не чувствуя никакой ненависти к этому, за пять минут до этого здоровому, сильному и крепкому человеку, чудом спасшийся тихо сказал:

— Постойте, у меня есть фляжка с водой, только вот руки то...

— А ты нагнись...слышь...я развяжу...

Слабеющими пальцами умирающий растянул узел ремня. Достал флягу и протянул к губам лежащего. Тот долго и медленно пил, потом тяжело вздохнул и, оторвавшись от фляги, заговорил:

— Твоя, видно, взяла...помираю я...день от сегодня какой...Пасха, чать, завтра...

И словно в ответ на его слова, а может быть почудилось это обоим, но донес ветер еле слышный, ночной церковный благовест.

Привычно потянулась рука. Привычно осенил себя крестом, и уже хотел скрыться в темноте, как умирающий протяжным стоном остановил его.

— Ваши то там, вон, за горкой, шибко бьют нас, ты туда ступай. Направо-то —не ходи...направо-то там мы...стало быть...ох...

Затих. Нагнулся над уже застывшим лицом и, повинуясь какому-то неизъяснимому чувству, широко перекрестил лежащего.

Зашагал за пригорок. А ветер издалека доносил, или это казалось ему, чуть слышный перезвон пасхальных колоколов.

# ШЕСТЬ КОЛОМБИН

## ИЗ ЖИЗНИ ХАРБИНА ПРОШЛЫХ ДНЕЙ

— Голубчик, Иван Петрович, по совести вам скажу: Лидочка моя—прелестная девушка, но не пара она вам...Ну, какая Лидочка жена? У нее ветер в голове, ей еще в куклы играть в пору. Прямо не верится порой, что ей двадцатый год пошел. Может, потом—через годик,другой остепенится, в разум войдет.

— Так значит, вы мне отказываете?

— Не отказываю я, а по стариковски советую, голубчик. Я бы душой рад видеть вас своим зятем. Вы—человек солидный, с положением, а Лидочка—стрекоза, ветерок...

— А я уверен, что замужество переделает Лидию Михайловну. И, несмотря на ваши слова, милейший Михаил Иванович, Я еще раз прошу у вас руки вашей дочери.

— Ну, что же, ну, что же...Я, видит Бог, рад. А Лидочка-то согласна?

— С Лидией Михайловной я еще не говорил, но имею смелость думать, что я ей не безразличен...— и Иван Петрович приподнялся с кресла.

— С вашего разрешения, я сию минуту пойду к Лидии Михайловне.

— Давай Бог, давай Бог! А я душой, душой рад.

Героиня этого разговора, Лидия Михайловна, хорошенькая худенькая брюнетка, сидела у себя в комнате и сосредоточенно рисовала что-то, не удававшееся ей, о чем свидетельствовали груды скомканной, испорченной бумаги на полу.

На решительный стук в дверь, она даже головы не повернула, а бросила звонко:

— Войдите!— И, не отвечая на приветствие вошедшего, сразу забросала его вопросами:

— Иван Петрович, что лучше мне пойдет—костюм цветочницы или пьеретты?.. Я думала—желтое с голубым будет оригинально, а на рисунке выходит грубо...Ну, что вы на меня уставились? Я еще ни на одном святочном маскараде не была, а завтра студенческий бал-маскарад.

Нужен костюм, и поскорее...

— Лидия Михайловна, я к вам по делу...и по очень важному—и для вас и для меня.

— По делу? Любопытно! А мне казалось, что у инженеров ни с кем важных дел не бывает, кроме, как с подрядчиками да с конторами...Ну, я вас слушаю.

Звягинцев внимательно посмотрел на девушку как бы изучая ее лицо, и начал решительным и спокойным тоном:

— Лидия Михайловна, я пришел просить вас оказать мне честь согласиться быть моей женой. Насколько я знаю, я вам не безразличен...

Батюшка ваш уже дал согласие на наш брак.. Мое материальное положение дает мне прав рассчитывать на хорошую, вполне обеспеченную, спокойную жизнь...От ваших слов зависи дальнейшее ваше и мое счастье,

В удивленных глазах Лидочки попеременно за ветились растерянность, гнев и задор, она откинулась на спинку стула и вдруг расхохоталась ве село и звонко и, не давая опомниться, заговорила быстро и горячо:

— Да, помилуй Бог, Иван Петрович,— кто ж так предложение делает,—точно протокол какой то! И откуда вы взяли что небезразличны мне? Постойте, постойте, не обижайтесь! Уж если кт должен обижаться, так это я: зачем вы с папо говорили? Что это, папа замуж выходит, что ли Как это у вас все просто и обдуманно: и мат риальное положение, и небезразличен.. А, впр чем...

Видимо, какая-то шаловливая мысль мел кнула в ее кудрявой головке, и она еще раз в село рассмеялась.

— А впрочем...Предложение ваше я прин маю...Подождите, подождите, рук не целуйте, рано еще... принимаю,но с одним условием ; в должны меня угадать...

— Как угадать?—опешил Иван Петрович.

— Очень просто...Завтра на маскараде нас б дет шесть коломбин...Угадаете меня—отве согласием, хоть на другой день свадьба. Нет, ни за что не выйду за вас замуж...

— Но помилуйте, Лидия Михайловна, мы же не в средние века живем, чтобы устраивать какие-то таинственности с переодеванием. Может быть, еще похитить вас прикажете?..

— Ну, на похищение у вас и фантазии не хватит, хотя это было бы оригинальнее вашего трактата о браке. А относительно средних веков вы совершенно правы, Иван Петрович: у нас не средние века, а я—не теремная боярышня, чтобы свататься и просить моей руки у папы...Я даже вам скажу, кто будут остальные коломбины: Танечка, конечно, раз; Зина—два, Леля Зверкова и Соня Медведева—четыре, а шестая...шестая... ну, шестую придумаю, еще интереснее будет. Угадаете,—ваше счастье; нет—ни папа, ни тетя не помогут...А теперь уходите,—мне надо сговориться с подругами; костюмы-то еще мастерить надо!-и Лидочка почти вытолкала из своей комнаты обескураженного жениха.

Иван Петрович шагал домой совершенно недоумевающий. Что угодно ожидал он получить в ответ, но угадывание на маскараде, никак не могло придти к нему в голову.

«Воображаю, каким дураком буду я слоняться завтра по залам, заглядывая под маски...Черт знает, какую ахинею придумала моя будущая жена! Характерец у нее, действительно, не из приятных...Ну, да ничего, под моим влиянием из нее выработается примерная жена и хозяйка». — и, успокоившись на этих мыслях, Иван Петрович бодро засвистал что-то очень веселое.

*

* *

Комната была завалена лентами, газом, шелками...Востроносенькая портниха Паша, придворная Лидочкина швея, ползала по полу, подкалывая, кроя, сшивая. Звякали ножницы, молодо и весело звучали голоса. Все Лидочкины подруги живо откликнулись на веселую идею «шести коломбин», тем более, что Лидочка заявила им, что от этого вечера зависит ее, Лидочкино счастье.

Заинтересованные приятельницы строили ряд самых любопытных предположений, и все сходи-

лись на одном: здесь не без Сережи Вильина.

Ленты. Иголки. Запах горячего утюга. Тонкий аромат духов. Взрывы хохота...Михаил Иванович несколько раз стучал в дверь комнаты, видимо, пытаясь что-то спросить у дочери, но Лидочка только махала руками и встряхивала курчавой головкой:

— Потом, потом, папка! _Ровно в 9 двери торжественно распахнулись, и перед взором изумленного Михаила Ивановича появились шесть черных коломбин—все, как одна, одинаковые черные маски, желтые жабо, низко надвинутые на брови черные колпачки..

— Ну, и затейницы! Да шесть-то вас откуда? Ну, Лида, Таня—две, Зина, Соня—четыре, Лелечка пять, а шестая-то кто?

— А это уж, папочка, наш секрет. И ужинать в масках будем, чтобы даже ты не узнал.

— Ты, Лидочек, голос перемени,—по голосу тебя кто угодно узнает.

— А я буду басом говорить, отлично выйдет!

Уже в коридоре, укутывая дочь в шубку, Михаил Иванович не утерпел и шепнул на ухо:

— Лидочка, так как ты с Иваном Петровичем, а?

— Завтра, папочка, завтра!- уже за дверью прозвенел веселый голосок.

Михаил Иванович вздохнул и прошаркал в кабинет почитать, да подремать у камина.

*
* *

Конечно, Иван Петрович не маскировался, Иван Петрович на маскарады не ездил,—это не входило в программу его хорошо продуманной жизни.

— В первый и в последний раз!..—ворчал он, прислонившись к колонне и ища глазами коломбин в этой разноцветной прыгающей, смеющейся толпе.

Молодежь встретила шесть одинаковых—черных с желтым—фигурок овациями и аплодисментами. Завертели в танце. Засыпали конфетти. Закружили в пестром хороводе.

В этом хороводе закружился и Иван Петрович. Коломбины мелькали одна за другой, буквально

не давая ему ни минуты, чтобы вглядеться, узнать знакомые черты лица под шелком маски.

«Вот эта?..» Но золотистая прядь, выбившаяся из-под колпачка, снова зачаровала Ивана Петровича.

Сколько раз ему казалось, что в разрезе маски блеснул лукавый огонь Лидиных глаз, но другие коломбины увлекали его в хоровод, и снова несчастный жених терялся и не мог решить,—которая?..

К 12 часам он отчаялся окончательно...И вдруг вспомнил Лидино любимое кольцо, камею, которую она, не снимая, носит на руке... Какая прекрасная примета!

Он снова стал поочередно приглашать на танец черных коломбин, стараясь незаметно дотронуться до руки в черных перчатках.

Одна...вторая...третья...Теперь он узнавал их. Это—Леля Зверкова. Это...это Софья Владимировна.

Маски закружились в бешеном хороводе игры, и нечаянно Иван Петрович очутился посредине круга с одной из коломбин. Две-три фразы—и ему показалось, что несмотря на измененный голос, он узнал Лидочку...Конечно, это она! Ее хрупкая фигурка. Знакомый наклон головы. Полудетские руки...

Сжал тоненькие пальчики и сразу почувствовал твердый камень кольца.

Губы сами собой сложились в самодовольную улыбку:

— Лидия Михайловна, я узнал вас!

— Вы думаете?

— Не меняйте голоса,— у вас он выходит таким неестественным...

Коломбина засмеялась.

Весь вечер она отвечала односложными фразами, не отвечая на нежные слова торжествующего Ивана Петровича. Потом вдруг заторопилась домой, жалуясь на головную боль.

— Умница: хочет снять маску в автомобиле... —решил Иван Петрович. Закутал в шубку, притушил свет в автомобиле и, крикнув шоферу:

— По шоссе, прямо!— обнял молчавшую де-

вушку.

— Лидия Михайловна...Лидочка, когда же свадьба?..Ведь, я узнал вас?

Девушка молчала.

— Лидочка, снимите эту маску!

Быстрым движением отдернул кружево маски, и...совершенно чужое некрасивое личико глянуло на него.

— Лид...Кто вы?—крикнул Звягинцев. Девушка вздрогнула и, глотая слезы, испуганно забормотала:

— Простите, барин, это барышня приказали мне костюм надеть и на бал ехать...И что говорить научили...

— Да кто ты?

— Я Паша, портниха ихняя. Барышня...

Он выскочил из автомобиля:

— Семен, отвезите эту девушку домой на извозчике. Править буду сам.

Автомобиль дернул и бешенно помчался назад, к клубу,

Бегом вбежал Звягинцев по лестнице уже пустеющего здания...За большим столом в буфете мелькали студенческие тужурки и желтые жабо.

Без маски, очаровательная, смеющаяся, с бокалом в руке, стояла Лидочка рядом с рослым, красивым студентом.

Звягинцев бросился к ней.

— Лидия Михайловна, что все это значит?..

Лидочка повернула растрепанную, всю в конфетти, головку.

— А, Иван Петрович! А где же ваша дама?.. Ведь вы весь вечер ухаживали за одной из коломбин.

И, протягивая ему бокал, прибавила:

— А вы, кстати, поздравьте меня: Сережа Вильин сегодня сделал мне предложение...мне, а не папе!— И я согласилась. Бокал вина за мое счастье!

(Шанхай)

# История с куличами

Когда собираешься написать рассказ или просто заметку из нашей жизни—мысли всегда уходят в прошлое. Вероятно потому, что настоящее не очень приглядно и не так уж много интересных эпизодов или смешных событий в наши очень реалистические дни. Но это присказка, сказка моя будет впереди.

Путешествие с острова Тубабао в Америку, прибытие прямо из джунглей в большой нарядный тогда, красивый город у Золотых Ворот, первые впечатления островного жителя попавшего почти в рай... Так оно и было, мы ходили по огромным базарам, любовались нарядными витринами, наслаждались мягким климатом, солнечной весной, даже подернутые дымкой тумана ранние часы казались нам прекрасными.

« Словно витязь,  
закутанный в дымку тумана,  
Весь в сияньи  
дрожащих мостов золотых,  
Город кажется  
сказкой у скал океана  
Словно старых преданий,  
загадочный миф.»

И что особенно поражало это обилие зелени, прекрасные парки и множество птиц белоснежных, крикливых чаек, сизых голубей и маленьких черных птичек, имени которых я до сих пор не знаю. Помню, как соседка по квартире, американка, говорила мне восторженно:

— Сан Франциско недаром назван во имя Франциска Ассизского, он так любил все живое, птицы слетались к нему и клевали из его рук. Так было.

Так вот приближалась Пасха. Невольно вспоминались праздники на острове, где наши изобретательные дамы умудрялись испечь очень вкусные куличи, имея в запасе немного муки,

скопленного из рациона масла и горсточки изюма. А тут...такое изобилие продуктов. Просто стыдно было бы не испечь куличи к празднику. И я поддалась общему настроению. Хозяйка я, конечно, никакая и с пером обращаюсь гораздо увереннее, чем с суповой поварешкой. Но это ничего не значит, если есть рецепт, если продуктов сколько угодно. Выбирай любую муку от канадской до американской, всех сортов, когда цукаты так заманчиво выставлены в продуктовых лавках Одним словом я решила печь куличи.

Всего положила вдоволь, опара (сумела поставить опару) поднялась, как пуховая, месили мы с мужем вдвоем в двух больших кастрюлях,и даже тесто поднялось вполне прилично. Выложили в формы и поочередно бегали смотреть, как идут наши куличи. А куличи почему-то раздумали подниматься. Вмешали еще дрожжей—тот же результат. Хозяйки, самые лучшие кулинарки поймут мое отчаяние. Я просидела над куличами всю ночь. И решила печь, что выйдет то выйдет. Из печки вытащила сморщенных уродцев и таких плотных, что даже острым ножем было трудно резать. Тут по телефону начали советовать приятельницы:

— Ты, наверное, переморозила тесто.

— Нет, ты очевидно перегрела горячим молоком.

Мы, конечно, погоревали и решили поехать и купить готовый кулич.

— А эти увезем в зоологический сад, можно будет разрубить на кусочки,— решила я.

Муж задумчиво посоветовал:

— Знаешь, не корми только слонов, они довольно деликатные и, конечно, не давай козочкам.

Долго спорили и решили накормить верблюдов. Я была с верблюдами хорошо знакома. Помню, во время степного похода, мой любимец двугорбый Васька сжевал как-то кусок кошмы и ничего с ним не было. Ему, видимо, такая закуска понравилась, потому что он пытался ухватить подстилку из кошмы у нашей палатки. В общем забрала я свои неудачные то-ли перегре-

тые, то-ли перемороженные куличи и мы отправились в зоологический парк, захватив по дороге сладкие булочки для козочек и пучки морковки для слонов.

Верблюды в то время жили в особом загоне, в конце парка. Я пришла в восторг, увидев двух двугорбых очень похожих на моего Ваську. Куличи они съели и усиленно просили повторения, так им понравились твердые, но полные изюма и цукатов куски. По дороге домой купили готовый кулич, а дома тщательно перемыли все кастрюли, чтобы уничтожить даже воспоминание о том, как месили тесто.

На первый день пришли гости. Кулич всем понравился.

— Как ты удачно спекла, какой вкусный!

Конечно, я могла выдать купленный кулич за свой, но совесть не позволила.

— Это не я. Это купленный.

— А как же ваши куличи:я вам дала такой великолепный рецепт.

Пришлось рассказать всю трагическую кулинарную историю.

— Несомненно переморозили тесто.

— Что вы говорите? Заварили тесто слишком горячим молоком.

Я молчала. Собственно, я и сама не знала, почему мои куличи не подошли даже на двойной порции дрожжей.

После этого, мы не раз ездили в зоологический парк и возили всякие лакомства верблюдам. И мне казалось, что самый большой, так похожий на моего степного Ваську, узнавал меня и приветливо кивал головой и бережно брал из рук булки своими мягкими, ласковыми губами.

Вот, что вспомнилось мне сейчас в эти предпасхальные дни.

А куличи печь я все-таки научилась.

# Мой Харбин

Все эти дни среди забот текущего дня, все время встает в памяти наш Харбин, Харбин прошлых лет, Харбин первых лет беженства, Харбин, где для многих из нас прошли наше детство и юность. И переворачивая страницы памяти, невольно возникает в душе благодарность к прошлому, к тому прошлому, которое навсегда осталось в душе светлым воспоминанием минувших дней.

По воле Божией, мы покинули свою страну и попали в уголок прежней России, так как Харбин был истинным русским городом. И долгие годы мы жили не на чужбине, а дома в городе, сохранившем русские обычаи, старую русскую жизнь.

Величественный наш православный Собор, собор, о котором так хорошо написал книгу «Никита Иконник» Юрий Михайлович Николаев. Если вы не читали эту книгу, постарайтесь найти ее в наших библиотеках и прочтите. Харбин русских университетов, русских театров, русской жизни.

Вспоминается снежный Харбин, сады и бульвары в снежном уборе, скрип саночек по улицам города, разрумяненные морозом лица прохожих, игру в снежки на больших гимназических площадках.

Строй елок перед Рождеством, магазины в блеске елочных украшений и игрушек. В каждой даже самой бедной беженской семье разноцвеными огнями свечей горели рождественские елки. Помните...запах жареных каштанов. Как было приятно купить мешочек и греть замерзшие руки горячими каштанами.

Как было хорошо веселой студенческой ватагой в складчину нанять санки и со смехом и шутками мчаться по улицам города под скрип полозьев..

А весна...настоящая русская весна, когда природа медленно просыпается, и начинают набу-

хать почки на деревьях в харбинских садах.

Когда строго соблюдается Великий Пост, и люди идут в церкви: в Монастырскую, Софийскую, Благовещенскую, в Иверскую и в наш Собор, в эти дни замирала веселая жизнь харбинцев, храмы были переполнены молящимися, и мы, гимназисты, студенты, школьники, отстаивали величественные и скорбные службы в наших гимназических церквах, готовясь к Великому Празднику Воскресения Христова. Тогда даже самым большим скептикам не приходило в голову, что наступит время, когда в свободном мире будут отменены молитвы в школах.

Помните моление в Великий Четверг, толпы людей, бережно несущих четверговую свечу, защищая ее рукой от легкого весеннего ветерка. И Пасхальная Ночь. Сияющие огнями храмы, толпы народа, переполняющие церкви, безмолвие, тишина и та минута, когда распахиваются двери храмов, и выходит Крестный Ход, срывается ликующий, казалось весь город наполняющий колокольный пасхальный звон. И звучит этот пасхальный перезвон всю Светлую неделю, с многочисленных колоколен наших церквей.

А весна уже в разгаре, в парках, на бульварах, в городском саду распускаются почки. И мы знаем, что скоро весь город будет напоен ароматом черемухи и сирени. Сколько сирени было у нас в Харбине! В белом уборе стояли сады в расцветающих кустах черемухи. И потом букеты одуряющей сирени будут в каждом доме, в классах гимназий и аудиториях институтов.

Жили мы по русски. Словно ужасы пережитой революции остались за границей Маньчжурии, словно мы продолжали жить в родной стране. Было трудно многим и многим материально, но этот обиход русского города помогал жить,

И когда, приехавшие из Европы, русские кичатся тем, что многие годы прожили в центрах культуры, в Париже, Лондоне, Берлине и пренебрежительно называют наш Харбин, «глухой провинцией» (сколько раз я слышала эти фразы), мне вспоминаются наши 18 православных храмов, политехникум, юридический факультет, ин-

ституты, музыкальная и зубоврачебная школы, гимназии, городские училища, разные курсы, симфонический оркестр, опера, театры и кино, детские сады, приюты, скауты, сокола, мушкетеры, банки, больницы, бесплатные клиники, банки, фабрики и заводы, семь ежедневных газет, журналы, издательства книг и вся наша харбинская жизнь, вспоминая все это, мне становится жалко наших «европейцев», не испытавших этой настоящей русской жизни заграницей.

Нам выпало большое счастье прожить еще годы и годы после революции в настоящем русском городе, получить русское образование.

Много можно сказать о нашей жизни в те далекие годы. И так страшно подумать, что все это разрушено. Сметен, сожжен наш величественный харбинский Собор, нет Иверской часовни. Снесены прекрасные дома, разрушены, осквернены наши кладбища, до всего коснулась рука создателей «Культурной революции» Китая.

Было так хорошо на этом собрании харбинцев 18 марта, собрании организованном нашими милыми Георгием и Еленой Теодоридис. Было горько смотреть снимки теперешнего разрушенного Харбина и было радостно вспоминать наш Харбин. Статья об этом собрании харбинцев, прекрасно и талантливо написанная Кариной Псакян, на страницах нашей газеты в прошлый четверг (1984 г.).

Но мне хочется еще и еще раз поблагодарить Г. и Е. Теодоридис за организацию этого собрания, за их неизменное гостеприимство, за идею создания этой встречи, за то, что встреча эта харбинская собрала не только милых сердцу харбинцев, но дала возможность собрать деньги в помощь тем, кто там в Харбине не живет, а существует в полунищенских условиях.

Спасибо Лене и Юре за все. А в нашей памяти оживает наш старый Харбин, и бережем мы эти воспоминания , как засушенный цветок между страниц старого учебника. Веточка сирени далекого прошлого.

1984 г.

# О далеком и страшном

Было это давно. Отшумела, пронесясь грозным шквалом кровавая революция,прошли горькие и страшные годы голода вПоволжье, и каким -то странным и непонятным путем, быть может, по капризу одного из властелинов того времени, наступили дни НЭПа. Оживились не на долго, пришибленные, разоренные города, внесли новую, напоминающую прежнее благополучие, жизнь, как будто умиротворили, успокоили испуганное настрадавшееся население страны.

Недолго был этот период, но никто и не подозревал тогда, что на смену этим дням придет еще более страшный и жестокий, чем сама революция, военный коммунизм.

На вокзал Екатеринбурга вышла из поезда группа молодых людей, только что призванная в армию, отправляющихся по назначению на Дальний Восток. Молодежь остается молодежью. Короткая остановка в пути, незнакомый, а следовательно и интересный город, полная свобода на несколько часов—все это было причиной неудержимого веселья. Бродили по улицам, осматривали здания, заходили в чахлые, заброшенные скверы. Неожиданно очутились у какого-то особняка, на котором висела небольшая вывесочка «музей» , внизу мелкими буквами было при писано «Ипатьевский дом-музей».

— Пойдем что-ли, посмотрим,—сказал кто-то.

Вошли. Один из ребят указал на лестницу, ведущую в подвал И здесь висела, пришпиленная записка-объявление. Подошли ближе. Надпись гласила, что здесь такого-то числа, в году таком -то были расстреляны народной властью представители кровавого царизма...

— Это, где последнего царя убили...—произнес кто-то

По лестнице спускались притихшие, отчего-то разом смолкли шутки и смех. Вошли в помеще-

ние подвала. Сквозь узкие окна падали лучи солнца, освещая стены с плакатами и пол, весь как бы в вырезанных квадратиках, словно кто-то нарочно вырезал кусочки деревянного пола во многих местах.

На удивленный вопрос, один из музейных сторожей объяснил:

— А это, товарищи, когда белогвардейцы здесь были, следствие какое-то вели, так офицеры ихние выпиливали кусочки со следами крови.

Когда выходили из Ипатьевского дома на улице все было по-прежнему, суетились люди, широко были раскрыты двери лавок, выросших, как грибы, во времена НЭПа...Но только почудилось или нет—словно небо стало серее, солнце светило не так ярко и что-то словно притихло в душе. А, может быть, это только показалось одному из группы красноармейцев, как знать.

* * * * *

Прошли десятки лет. Грозных, страшных лет. Для одних—наполненных ужасами лагерей, расстрелов, террора: для других—днями изгнания, бегства из страны в страну, тоже лагерями и горечью людей, потерявших последнее пристанище. Много горьких и кровавых страниц было внесено в книгу мировой истории за эти годы.

Шел 1968 год.

В Сан-Франциско, в новом, только что построенном величественном Соборе, собрались толпы людей. В этот день, день мученической кончины Государя Императора и Его Августейшей Семьи, русская православная церковь совершала великий чин отпевания Царственных Мучеников и всех убиенных за эти страшные годы.

По всем уголкам русского Зарубежья, по определению Собора Епископов Русской Православной Церкви Заграницей, в этот день пятидесятилетней годовщины совершалась великая служба отпевания.

Правящий Архиепископ Антоний со всем духовенством наших церквей в Сан Франциско совершал это совершенно особое богослужение— заочное отпевание погибших царственных му-

чеников и всех с ними убиенных.

Дрожали бесчисленные свечи в руках молящихся; священство в красных облачениях, как полагается по уставу церковному в дни скорбно торжественные—во , дни мучеников, серьезны и сосредоточены лица молящихся. Сколько народа собралось в этот вечер трудно сказать—Храм был полон. Пришли глубокие старики, в памяти которых живы картины величия русского, те у кого свято хранятся русские военные ордена и отличия и среди них маленький эмалевые крестик—святыня русского воинства—орден св. Георгия Победоносца.

Пришли люди, выросшие в эмиграции, но сохранившие в душе память прошлого. Пришла зеленая молодежь, которой дома и в русских школах не раз говорили о страшном екатеринбургском злодеянии. Пришли те, кто долгие годы прожил в Советской России и бежал оттуда в дни Второй мировой войны , в поисках свободы и спокойной жизни.

Стояли сосредоточенно, сердцем вникая в каждое слово богослужения. Строго и проникновенно звучали слова Владыки, скорбно отвечал хор на возгласы священников.

Посредине храма, на аналое лежала маленькая иконка Божьей Матери, икона из личной молельни Государя Императора. И вот, когда Владыка Антоний обратился к пастве своей с полным глубокой скорби словом,— показал на маленькую ладонку и сказал, что ладонка эта была передана ему в далекой Австралии душеприказчиками одного умершего русского человека. Ладонку нашли среди вещей покойного и в записке приложенной было сказано, что хранится там, как святыня, кусочек дерева со следами крови убиенных, вырезанный из подвала страшного Ипатьевского дома. Всю жизнь, долгие годы изгнания, хранил умерший эту ладонку, как дорогую сердцу реликвию. И душеприказчики решили, что ладонку эту надо передать в руки православного пастыря.

Владыка Антоний бережно вложил ладонку, не раскрывая ее, в киот иконы Божия Матери, в ту икону перед которой, может быть не раз молился наш мученик Государь. Сейчас икона Божия Ма-

тери стоит в нашем храме на аналое около киота с иконой Николая Чудотворца, и каждый день ставят молящиеся живые цветы около нее.

Как-то таинственно стало на душе от слов Владыки, словно прикоснулись мы душой к чему-то святому и чистому, словно одной мыслью, одной скорбью жила в этот момент толпа молящихся. Словно ладонка эта придвинула в памяти те страшные годы, когда брат шел на брата, когда не щадили ни женщин, ни детей, когда крадучись ночью воровски расстреляли в Ипатьевском подвале Государя Императора и Его Семью. Это не забудется. Как не забылось убиение царевича Дмитрия, как живут в памяти истории и народа предания о тех, кто был предательски выдан и потаенно убит.

Много таких страшных черных пятен на совести человечества и нет для таких убийств ни забвения, ни оправдания.

И был в храме среди молящихся человек уже не молодой, у которого вдруг вспыхнуло в памяти: солнечное утро, веселая группа ребят, спускающаяся в подвал Ипатьевского дома и равнодушные слова сторожа:«а тогда во время следствия многие офицеры вырезали кусочки из пола и из стен со следами крови убитых...».

Ведь вот забылось все. Столько было на длинном пути бегства, войн, чужих стран...вся жизнь прошла, как в калейдоскопе невиданном и странном, а вот вспомнилось....И звучали скорбью слова Владыки и тихо было в храме и казалось, что где-то высоко в небе звучит и тает похоронный звон невидимых колоколов.

1968

# О пожарах

Я всегда боялась пожаров. Когда звучат пожарные сирены я не могу сидеть на месте и всегда выбегаю на улицу, стараясь угадать: куда мчатся машины. И каждый раз муж немного иронически говорит:

— Успокойся, ты сегодня не на «дюти», у тебя отпускной день.

Этот страх идет с давних лет. Вероятно, потому, что когда-то давно, давно, когда меня еще и на свете не было, наша семья перенесла страшный пожар в городе Сызрани, когда до тла выгорел весь город и когда в нашей семье, вместе с другими горожанами, пришлось буквально бежать от огня с собранными наспех узелками, спасаясь от бушевавшего пламени.

Рассказы об этом бедствии я помню с детства. Как горели дома, как няня с трудом тащила на себе большой узел, который оказался узлом со старыми собранными для штопки чулками...как маленькая сестренка спасла иконы, как в испуге метались перепуганные животные, как выгорали улица за улицей. Эти рассказы запали в памяти навсегда. И на всю жизнь остался страх перед пожаром.

Люди, несущие службу в пожарных бригадах, всегда казались мне особенными, я смотрела на них, как на героев, бесстрашно проникающих в пылающие дома, спасающих растерявшихся жителей.

И вот совсем недавно пришлось мне видеть пожар рядом, совсем рядом с нашим домом, пережить страх перед опасностью, что и наш дом может вспыхнуть от каждой искры,каждую минуту.

В среду 23-го декабря, вернувшись с работы, мы решили заняться предпраздничной уборкой. Вероятно, в суете этих хозяйственных забот, я не услышала вой сирен, а, может быть, их еще и не было. Я вышла в кухню и меня поразил багро-

вый отсвет, падающий на стекла окон. И, взглянув в окно, я почувствовала, как упало мое сердце—именно упало—иначе и назвать не могу это чувство ужаса и страха. Напротив наших кухонных окон, через небольшой соседний садик огромным костром пылало здание. В уме промчалось быстрое: «Господи, спаси!» и я кинулась к телефону. Но уже гудели сирены и через минуту наша улица была забита пожарными машинами.

Я схватила почему-то сумку и пальто. Спасать что-либо мне и в голову не пришло. Единственная мысль была о животных, и я притащила огромную коробку для своих кошек. Наша серенькая сиамка совершенно спокойно сидела дома, а белый огромный Аляскинский кот в панике заметался и бесследно исчез. Явился он домой только поздно ночью.

Муж, как и полагается бывалому человеку, не растерялся, а кинулся открывать двери, ведущие с улицы в наш сад и указал на узкий коридор, первому же пожарному. На нашем крыльце взвились на соседнюю крышу лестницы, огромный пожарный рукав протащили в наш сад, Сам горящий дом был словно пронизан гигантской автоматической лестницей—горел третий этаж дома.

Всего в каких-нибудь двадцать минут внешний огонь был сбит, водопады воды были вылиты на наш и соседний дом, нам опасность уже не угрожала. Здание горело теперь внутри. Из нашего сада было видно, как в горящем здании борятся с огнем люди. Впервые я увидела вблизи, как они работают, как выверен и расчитан каждый шаг, каждое движение, как лаконически отдаются распоряжения, как каждый из них знает, что надо делать, куда идти, где стоять, какие пункты огня более опасны.

Страх сменился восхищением этими людьми, так точно, так ловко, с таким риском выполняющим свой долг.

Я, конечно, была в саду, откуда тоже тушили горящее здание. Сумка болталась на руке, ноги промокли насквозь, я ни на что не обращала внимания, следя за работой пожарных, пока муж не крикнул мне:

— Оставь свою сумку, она у тебя открыта и наверное ты давно все из нее растеряла

Слава Богу, люди живущие в горящем доме, во -время заметили пожар и успели выйти.

На другой стороне улицы собрались толпы народа. Потом мы узнали, что кое-кто из наших друзей, узнав о пожаре, приехали к нам и увидев что наш дом вне опасности, наблюдали за пожаром с другой стороны улицы. Пройти к нашему дому не было никакой возможности, все крыльцо было занято «хозами», лестницами и к нам никого не пропускали. Племянник, примчавшийся на велосипеде почти сразу, как начался пожар, прошел через соседний дом и перелез к нам через забор.

Во время пожара один из пожарников, вбегая к нам в сад, спросил меня:

— Вы оттуда?—указав на горящий дом.

И на мой ответ—что наш дом вот здесь и это наш сад, сказал:

— Бог вас хранит.

На что у меня искренне вырвалось:

— Да благословит вас всех Господь за вашу работу.

К одиннадцати часам ночи, когда я, наконец, смогла выйти на крыльцо, произошел маленький эпизод. Один из пожарников, они уже снимали и сворачивали лестницы, поранил себе ногу и на мое предложение помочь ему, принести бинт и дезинфекцию, небрежно сказал:

— Ничего, это пустяки, успеется,— и спустился с крыльца.

Я увидела, как он наклонился и среди пожарных машин вытащил малюсенького котенка и, погладив его, спросил меня:

— Это ваш?

Я сбежала с лестницы.

— Нет, не мой, но я возьму его в дом.

— Да. Лучше возьмите. А то его задавят,— и пожарный передал мне маленького зверька, ласково его погладив.

Так «пожарный» котенок попал к нам в дом. Как он не погиб под машинами? Кто его затащил на место пожара. Неизвестно. Ни у кого из соседей такого котенка не было. Может быть,

дети притащили его откуда-нибудь с соседних улиц. На вывешенное нами объявление никто не откликнулся.

Крошечная кошечка осталась у нас, к большому неудовольствию моих сиамки и самоеда, которые негостеприимны и очень ревнивы. Слава Богу, для нас все кончилось благополучно. И, описывая впервые в жизни пожар, который я видела вот тут, рядом, через ограду нашего сада( я все еще помню какой жар шел от пылавшего факелом дома), мне хочется сказать от всего сердца:

— Спасибо нашим пожарным. Спасибо за их героическую работу, спасибо за то, что изо дня в день они борятся за наши жизни и за наше имущество, рискуя собственной жизнью и работают так, что трудно говорить об их работе без восхищения.

У всех у нас восьмичасовой рабочий день, все мы работаем и выполняем свои служебные обязанности.

Но одно сидеть в конторе, работать на заводе, на фабрике, в магазине и совсем другое нести обязанности, почти всегда связанные с риском для жизни, выполнять их так просто, так точно, так честно, как работает наша пожарная команда, как работает наша полиция.

Чем больше живешь в нашем городе, в нашей стране, тем больше чувствуешь уважение к нашим незаметным героям—нашим пожарникам, к нашим полицейским.

А для меня в результате...если сейчас звучат пожарные сирены и я прислушиваюсь...мне дома говорят:

— Нечего, нечего, ты из пожарных уволена. Когда рядом загорелось—прозевала. Так куда ты годишься?!

# У врат старого храма

Город проснулся, как всегда, ровно в пять от взрыва бомбы, сброшенной японским аэропланом. Вот уже в течение двух месяцев утро начиналось этим взрывом ровно в пять утра. Улицы, узенькие, грязные, типичные улицы китайского города, стали наполняться народом.

Открывались маленькие лавчонки, в которых еще торговали здесь, в этом районе, куда не доползли бои, где сравнительно было спокойно. Появились уличные продавцы китайских сладостей, фруктов. Кое где крикливо расхваливая свой товар, дребезжа посудой, проходил владелец переносной кухни, предлагая чашку горячего риса или зеленого чая.

Лин, зевая и потягиваясь, вытащил со двора повозку и медленно пошел по улице, направляясь к иностранным районам города.

Заработки резко упали за месяц событий; чтобы заработать доллар или два, надо было бежать в далекие иностранные районы, мало кто хотел нанять рикшу в родном городке. Конечно, можно было проехать в тот, другой китайский город, который так беспощадно бомбили с воздуха, там можно было заработать, вывозя население побогаче за границу международного сеттльмента. Но звуки разрывов, разрушенные дома, горящие здания—все это вызывало в старом Лине какую -то отвратительную, мелкую внутреннюю дрожь и он предпочитал работать здесь, в своем родном городе, еще не тронутом заревом событий.

Он рано вышел на работу сегодня, дома не было ни одного медяка, а шустрые ребята с утра просили есть, и жена Лина напрасно старалась успокоить голодную ораву, предлагая им горячую воду вместно вкусного, хорошо пахнувшего риса. Было еще очень рано, лучи восходящего солнца ласково блестели на стеклах домов и лавок, раздражающе пахло бобовым маслом

уличной кухни, хотелось есть и было немного зябко от утренней прохлады и от ощущения голода. Пробежал мимо знакомого с детства храма, двери в огромный круглый двор были открыты, и кое-кто из обитателей городка проходил туда внутрь поставить тонкую ароматную свечу, чтобы умилостивить знакомое божество на грядущий день.

Лин остановился и пошарил в деревянном ящичке для денег. Напрасно, шустрые ребята еще с вечера вытащили все медяки в поисках более крупных монет. Мысленно прошептав слова молитвы, оберегающей от забот и несчастий, Лин Фун хотел было уже свернуть на главную улицу города, как вдруг из-за угла, словно от стен храма вышел высокий, хорошо одетый китаец и повелительным жестом остановил рикшу. Не торгуясь, не говоря куда надо ехать, молчаливый седок сел и движением руки показал на дорогу перед собой. Лин облегченно вздохнул. Хорошее предзнаменование. Богатый седок в первые же часы работы. Богатый. Кто же кроме богачей носит такие красивые шелковые халаты? Он ускорил бег и удивился немного, так как на подъеме к мосту через канал не почувствовал привычной тяжести.

Уж не соскочил ли пассажир, но, оглянувшись, он убедился, что молчаливый и спокойный седок был здесь.

Мелькали улицы знакомого городка, приблизилась граница с иностранными районами, еще спящими , чистые, нарядные улицы были тихи и спокойны, редко-редко проезжал автомобиль и тишину города нарушали только отдаленные глухие взрывы аэропланных бомб, да четкое цоканье ответных зенитных орудий. Все ближе и ближе были слышны страшные разрывы, замелькали предместья иностранных районов, они приближались к страшной границе района смерти и раз рушения.

Все чаще и чаще попадались группы беженцев, уносящих свой несложный скарб и жалкие жизни от горящих родных домов.Кое-где семья, уместившись на узком тротуаре, готовила свой скуд-

ный завтрак, и дети громко плакали на руках у измученных и уставших женщин. В эти дни тысячи китайцев искали пристанища и спасения у границ международного сеттльмента.

Лин робко оглянулся на своего седока. Куда же теперь? Впереди смерть и разрушение. Какой странный этот господин с бесстрастным спокойным лицом , куда едет он, зачем он заставил бедного рикшу бежать по этим страшным районам? Все чаще и чаще мелькали разрушенные, кое-где еще дымящиеся недавним пожаром обломки зданий, все громче и громче слышалась уже ружейная стрельба. Изредка попадались китайские солдаты, пробиравшиеся среди развалин домов. Отчетливо громко грохотали зенитные батареи.

Строгий господин ни слова не сказал на вопросительный, полный ужаса взгляд бедного рикши, только повелительный жест тонкой руки указывал вперед. Еле живой от страха, проклинающий в душе непонятного седока, Лин вбежал на небольшой холм, заканчивающий полуразрушенные улицы. Легкий стук ноги об подножку коляски заставил его оглянуться. По наклону головы, по тому же повелительному жесту он понял и опустил оглобли рикши.

Медленно и спокойно сошел высокий господин и поднялся еще выше на холм. Совсем недалеко, среди разрушенных улиц и обломков домов были видны цепи китайских солдат; то там, то тут, вспыхивали разрывы гранат, и ружейная стрельба звучала оглушительно близко.

Лин Фун сел на подножку своей коляски, потому что вдруг почувствовал, что ноги стали мягкими и безвольными, хотелось, мучительно хотелось схватить свою тележку и бежать назад, в спокойствие иностранных районов. Но что-то странное во всей фигуре непонятного пассажира не позволяло ему двинуться с места. Низко, совсем над головами, зашумел мотор аэроплана, так низко, что отчетливо были видны знаки восходящего солнца на крыльях. Что-то как струйка дыма, оторвалось от бомбовоза и...Ли весь съежился, в голове промелькнуло изумленное

лицо жены, встревоженные, заплаканные рожицы детей...«конец»—отдалось где-то, где-то внутри...Страшный взрыв оглушил на минуту, Ли упал, задев рикшу, легкая коляска свалилась на бок. Долго, несколько минут не мог он поднять головы. Когда рассеялся дым и пыль от близкого разрыва, Ли Фун увидел, что седок его попрежнему спокойно стоит на холме и смотрит вдаль.

Еще больший ужас охватил сознание. Что он, этот странный господин? Зачем он здесь? Что нужно ему? Зачем смотрит он вот уже скоро час, а может и больше, на разрушение и смерть. Время тянулось мучительно медленно. Лин видел все. Он видел, как узкая цепочка китайских солдат побежала и скрылась за развалинами домов, он слышал, как оттуда послышались непрерывные выстрелы, он видел, как несколько скрюченных фигур поползли оттуда по земле и замерли в пугающей неподвижности смерти. Он видел, как от одного из взрывов вспыхнул ярким заревом большой трехэтажный дом, каким-то чудом устоявший за эти два месяца непрерывных боев.

Наконец, медленно-медленно высокий господин стал спускаться с холма и подошел к полумертвому от испуга рикше. Так же спокойно, без единого слова, он сел в коляску и тем же повелительным жестом показал на дорогу обратно. Казалось, какая-то новая живительная сила влилась во все существо рикши, он не почувствовал усталости долгого пути, он не бежал, он точно летел назад по узким разрушенным улицам. Мелькали мимо толпы беженцев, полуразрушенные хибары, а потом светлые и сияющие на солнце окна магазинов и особняков иностранных районов. Вот и переулки родного города, вот и высокие стены с детства знакомого храма вдали.

Вот и ворота храма, они закрыты, видно монахи ушли на свой полуденный завтрак. Снова легкий стук по деревянной дощечке подножки—знак остановиться. Лин Фун опустил оглобли. Также спокойно, не глядя на него, высокий господин сошел с рикши и направился к воротам храма. Бесшумно открылись ворота и пропустили высокую фигуру в сером. Лин облегченно

сел на подножку коляски и стал ждать. Очевидно, важный господин пошел поставить свечу Великому Богу, помолиться о благополучном исходе страшной поездки. Надо ждать. Важные господа часто уходят в дом и только потом высылают деньги. Что ж, он подождет. Это ничего, что очень хочется есть, что там, напротив, в маленьком открытом ресторане заманчиво стучат чашки и палочки и пахнет рисом и бобами.

Это ничего, что дома ребята наверное надорвались от плача, и жена нетерпеливо смотрит на дверь, ожидая его с грудой медяков. Он подождет. Прошел час. У ворот храма собралась толпа, ожидая, когда распахнутся широкие двери и можно будет войти внутрь. Лин Фун первый бросился в широкий двор храма. Дверь в самый храм была закрыта на широкий засов, высокого господина не было нигде. Лин Фун закричал. Его обманули, его бессовестно обманули. Высокий, важный господин оказался простым обманщиком, не постыдившимся обмануть бедного, несчастного рикшу. Он бил себя в грудь кулаком и кричал так громко, что люди с улицы вбегали во двор храма и окружали его плотной толпой.

—Этот важный господин, в таком дорогом сером халате—просто обманщик и вор. Десять часов, десять долгих часов, с самого рассвета, он Лин Фун, возил этого обманщика по всем городам. Они были там, где ничего нет кроме солдат и обломков домов. Они проехали мимо пожаров. Они видели войну так близко, что он,Лин Фун и сейчас чувствует,как пахнут дымом пожарищ его платье и руки. И, вот он, этот обманщик, эта подлая черепаха, этот мерзавец ушел, скрылся в воротах храма и не заплатил ни одного медяка.

А у него. Лин Фун, дома жена и пятеро голодных детей. И их нечем будет накормить сегодня. И пропал длинный день. Пусть важный господин никогда не увидит своих детей, пусть родится он снова презренной свиньей. Он, который так обманул бедного, старого рикшу.

Ли кричал, размазывая пот, слезы и грязь по лицу, бил себя в грудь кулаками. Откуда-то сбоку, из внутренних коридоров храма, вышел мо-

нах. Он подошел к кричавшему рикше и строго спросил, кто он и почему нарушает тишину и покой храма великого божества. И снова Ли, плача и задыхаясь, начал кричать о важном господине в сером, который так обманул бедного, старого рикшу.

— Он там, он внутри храма. Пусть храм закрыт, он прошел туда через внутренние двери.

Монах медленно, не торопясь, отодвинул тяжелый засов, пахнуло сумраком и тишиной. Бесчисленные свечи дымились в песке, у подножия божества. Толпа хлынула и застыла: у ног статуи великого божества, лежал небрежно сброшенный блестящий серый халат и груда серебра. Молчала толпа.

И бесстрастно и спокойно заговорил старый монах:

— Ты счастлив. Это тебя избрало великое божество, чтобы в образе человека проехать по нашему несчастному городу. Бог ездил сам посмотреть войну. Ты счастлив. Пройдут дни, года, десятилетия, для великого божества сотни лет — одно мгновение , и победит старый, вечный Китай. Ты счастлив. Возьми это серебро — это оставлено тебе великим божеством храма. Ты — счастлив.

Молчала толпа. Не сводя глаз с брошенного серого халата, стоял старый Ли. Лучи заходящего солнца проникали в храм и бросали косые лучи на безмолвную статую бога, на мягкие складки блестящего серого шелка на брошенном халате и на серебряные монеты, лежащие у подножья божества. И только где-то вдали глухо, мертво звучали взрывы смерти и разрушения, нарушая вечный покой и тишину старого храма.

1978 г.

# Бездомная

Этот маленький эпизод произошел в те далекие дни, когда Харбин был тихим, симпатичным, полным своих особых традиций городом.

Волна революции почти не затронула харбинского быта, а приехавшие беженцы только оживили город, взволновали его тихую, невозмутимую жизнь и сами стали втягиваться в общий темп жизни. Хлебосольный, зажиточный Харбин охотно дал приют тысячам своих соотечественников, все прибывающих и прибывающих из далеких, взбаламученных, страшных российских просторов.

В эти дни с одной из маленьких железнодорожных станций в Харбин приехали две барышни сестры; назовем их Зиночкой и Олей. Оля приехала служить, Зиночка—учиться и слушаться старшей сестры, как наказывала ей мать, отправляя девушек в далекий и мало знакомый город.

Через неделю—другую, девушки устроились, одна в контору, Железнодорожного Управления, другая в школу и, решив, что пора и в жилищном своем вопросе обосновываться получше, стали искать хорошую комнату. Нашли, переехали. Комната была светлая, чистенькая, с окнами в сад, хорошо обставленная, у милых таких же приветливых, как их домик, стариков-железнодорожников.

И вот через день после переезда, уже устроившись на новом месте, вспомнила младшая, что сегодня день именин ее когда-то близкой подруги, и заявила сестре:

— Я пойду, пока еще светло, поздравлю Соню.

Оля запротестовала.

— Далеко очень, Зина, я сегодня занята, видишь сколько у меня переписки—простучу на машинке до вечера. А одна ты как бы не заплуталась.

— Глупости, я прекрасно найду дорогу одна.

— Да ведь далеко это!

— Ничего не далеко. Даже приятно пройтись.

— Ну, иди. Только пожалуйста не засиживайся до темноты. Я, право же, буду беспокоиться. Помнишь—что мама сказала?

— Ах, оставь, Оля! Сама не маленькая. Слава Богу осенью шестнадцать стукнет. Что ж, так ты и будешь меня за ручку везде водить?

— Да иди, иди, только повторяю, не засиживайся до темноты.

Сборы были недолгие. Надеть летнюю шляпу с полями, пригладить непокорные кудри, взять свою сумочку—и в путь.

Идти было очень весело. Во-первых, это было первое путешествие по городу в одинолчестве. До этого времени они везде ходили с сестрой. Дорога? О, она помнила ее прекрасно! Надо было пройти большой улицей, повернуть по направлению к Модягоу, свернуть с большой дороги и пойти узенькой тропинкой до городского питомника, где служил отец Сони, и где в маленькой, уютной квартирке жила его семья.

Было еще рано, и девушке захотелось одной прогуляться по людным улицам, посмотреть витрины магазинов, смешаться с оживленной, шумной толпой. Шла, любуясь красивыми выставками, невольно примеряя на себя все эти нарядные платья, красивые шляпы и пальто, выставленные в зеркальных окнах витрин. Около витрины детских игрушек задержалась немного дольше—уж очень хороши были огромные куклы в золотистых буклях волос, разодетые в кружева и шелка. Ах, какая красавица вот эта в синем, так бы вот и унесла домой...В куклы, правда, уже не играла, но нарядные игрушки останавливали ее внимание. Была сама она маленькая, как кукла, с милым личиком в короне темных волос.

Как в пестроте витрин, в разглядывании и любовании незаметно прошло время. Девушка спохватилась, когда уже начало темнеть, и магазины один за другим стали вспыхивать разноцветными огнями вечерних реклам.

— Что же это я? Надо же скорее к Сонечке

на именины...-И тут только заметила, что идет совершенно по незнакомой улице, стала припоминать, как забрела сюда, повернула за угол и окончательно запуталась, потеряла направление. Обратилась с вопросом к старику газетчику, торговавшему журналами и газетами на углу:

— Скажите, вы не знаете как далеко отсюда до городского питомника?

— Очень далеко, барышня, полчаса ходьбы, не меньше.

Зиночка совсем растерялась. Идти в питомник к подруге было уже поздно, страшно идти одной в такую даль; придется возвратиться домой. И она снова вернулась к газетной стойке:

— А скажите, пожалуйста, где здесь...— и вдруг внезапно запуталась—название улицы совершенно вылетело из ее головы, она не могла припомнить ни улицы, ни номера дома своей новой квартиры.

— Скажите пожалуйста, какая улица идет параллельно Большому проспекту?

— С какой стороны, барышня. Ежели ближе к Пристани, то Почтовая, а подальше так Правленская, Садовая. Это вам надо вот прямо кварталов десять пройти да направо и повернуть, потом еще направо, там на Садовую и свернете.

Зиночка вежливо поблагодарила газетчика и отправилась по указанному ей направлению. «Да да это была Садовая улица, конечно, Садовая, ну только бы выйти на нее, а там найду».

Добралась до Садовой, когда уже совсем стемнело, пошла внимательно рассматривая каждый дом и безуспешно стараясь найти свою квартиру Вот, кажется, крыльцо знакомое; подошла, позвонила, из-за двери высунулось широкое бабье лицо:

— Вам кого?

— Скажите, не к вам ли переехали две барышни в комнату?

— Никто к нам не переезжал, и комнаты мы вовсе не сдаем!—и дверь захлопнулась.

Звонила еще в несколько домов, чем-то напоминающих ей их новую квартиру, и так-же безрезультатно. Устала, стала чувствовать, как ноют ноги от часовой ходьбы. С этой улицы она

знала, как идти в питомник, наверняка знала, но было так поздно, что перспектива идти почти за город пугала ее. Стали вспоминаться всякие страшные истории. Зиночку начала охватывать паника. «Господи, одиннадцать скоро, да что же я буду делать? Ведь, нельзя же бродить вот так всю ночь до утра. Утром, конечно, можно пойти в контору к сестре, но сейчас-то, сейчас что мне делать?»

Конечно, можно переночевать в гостиннице. Но у Зиночки было всего двадцать центов в сумочке, да и где эти самые гостинницы, она понятия не имела. Стучаться и звонить в незнакомые подъезды было тоже уже поздно. На последнем крыльце, куда она позвонила, ее отчитала какая-то сухопарая, заспанная дама:

— Нечего по ночам стучаться да спрашивать, не переехал ли кто. На это день белый есть.

А дома тянулись, один за другим, такие незнакомые, такие чужие, и никому во всем свете не было дела до маленькой, затерявшейся в большом городе, провинциалки.

«Позвоню вот еще сюда. Свет горит, и домик такой симпатичный; может быть, это здесь, и крыльцо похоже и дверь стеклянная».

Позвонила. На звонок вышел пожилой мужчина и приветливым голосом спросил:

— Что вам угодно, барышня?

— Вы знаете...не переехали ли к вам или к соседям сегодня две сестры—барышни?

— Вот правда не знаю, мы сегодня только с дачи вернулись и соседей своих еще не видели, а к нам никто не переезжал.

— Ах, Господи, что же мне делать?—невольно вырвалось у Зиночки, и она хотела уже сойти с крыльца, как человек в дверях дружелюбно улыбнулся и сказал:

— Погодите, барышня, зайдите к нам и расскажите толком, что случилось и кого вы ищете.

В голове у Зины немедленно промелькнула наставительная нотация матери: «...и никогда, никогда не заходи к чужим и Боже тебя сохрани на улице разговаривать с незнакомыми». Зиночка нерешительно замялась:

— Нет, спасибо, я лучше пойду; может найду все таки.

— Да кого вы ищете? Может быть я помогу вам.— И Зиночка, взволнованно запинаясь и торопясь, рассказала всю свою историю: как забыла номер дома, как вот уже три часа ищет свою собственную квартиру.

— Подождите минутку. Кто-то говорил мне, что здесь через квартал сдавались комнаты у Ивановых; пойдемьте, я вас провожу.

Господин вышел и зашагал с Зиной, расспрашивая ее:

— А вы помните, какого цвета был дом, с балконом? Крыльцо, может быть, вспомните?

— Крыльцо высокое, дверь стеклянная, а дом, ну вот совсем выскочил из головы,— почти плакала Зиночка.

Постучали еще в несколько домов. Наконец, ее спутник остановился и сказал:

— Знаете что, барышня? Это совершенно бесполезные поиски, да и люди уже спят, почти двенадцать часов, где же тут найти? Идемьте-ка лучше к нам, у нас переночуете, а утром мы сумеем найти вашу квартиру и вашу сестру.

Господи, что делать, что делать! Идти с совершенно незнакомым человеком, в незнакомую квартиру ночевать...Ведь мама же всегда говорила, что этого нельзя делать, что вон даже разговаривать на улице с незнакомыми нельзя, не то что идти ночью в чужой дом. Но и бродить по улицам у Зиночки больше не было сил. «Какая я растяпа, какая растяпа!» Ну вот только бы вспомнить этот проклятый номер». Но номер не вспоминался. Дошли назад до приветливого серого домика.

— Заходите. Да как вас зовут, барышня?

— Зиночка, т.е. Зинаида Петровна.

— Ну, вот, милости просим, заходите. Да не смущайтесь, что же вам делать-то больше? Ведь нельзя же по улицам такой вот бездомной, до рассвета плутать.

Трудно даже передать, с каким страхом Зина перешагнула порог незнакомого дома и сразу же страх прошел: навстречу ей из гостиной вышла красивая, приветливая дама и, вопросительно глядя на нее, остановилась в дверях.

— Вот, Лена, принимай бездомную гостью Эта барышня потерялась у нас в городе, номе дома забыла и бродит уже шесть часов в поиска

— Заходите, заходите! Как же это вы так Шесть часов на ногах по городу—шутка ли! Д вы ,, наверное, кушать хотите?

И Зина не успела опомниться, как была уже уютной столовой, и около нее суетились две де вочки и сама хозяйка дома, расспрашивая, уте шая, наперерыв угощая ее чаем, ужином, булоч ками.

И так было приветливо, хорошо и уютно, чт Зиночка совершенно успокоилась, и только одн мысль тревожила ее: как-то там Оля, вот, навер ное волнуется.

Уложили Зиночку спать на большом диване гостиной. И, несмотря на угрызения совести, нес мотря на сетование свое на свое собственно растяпство, несмотря на мысли о сестре, кото рая нивесть что думает у себя дома, усталост взяла свое, и Зиночка крепко и сладко заснула забыв все треволнения злополучного вечера.

Проснулась Зиночка рано: солнце заливал своими лучами красивую нарядную комнату, гд она спала. «Что это, где я?»—промелькнуло в го лове и она, разом припомнила все случившееся поднялась в изумлении:— да ведь, это же ее ком ната вон там, через сад! Ну,да, в окно видно е пальто, ее собственное синее пальто на вешалке полочка с книгами и еще неразобранный чемо дан, который она так и бросила вчера, спеша подруге. Ну да, вон на стене мамина фотографи и она сама снятая с Олей. А там за столом д ведь это же Оля сидит, совсем одетая, и, видим дремлет, положив голову на опущенные на стол руки. «Что это? снится мне, что ли? Да нет». I Зиночка подбежала к окну и,распахнув его,гром ко закричала:

— Оля! Оля!

И Оля, очнувшис от сна, вдруг вскочила и ра стерянно оглянулась на крик.

Зина хотела бежать к выходу, но сестра был уже у окна той, их комнаты и, распахнув его, ра достно и удивленно смотрела на сестру:

— Зинка, ты? Жива? Но что ты там делаешь? Почему ты в халате?

Зина тут только вспомнила, что на ней был халат кого-то из хозяев дома.

— Оля, Оля, я заплуталась. Забыла номер дома и...и...ночевала здесь. Послушай, как-же так? Ведь я же была рядом, рядом с нашим домом, и это было единственное крыльцо в которое я не постучала, потому что не было видно света.

За ее спиной послышались поспешные шаги, и ее приветливые хозяева остановились в дверях, с удивлением слушая разговор через окна.

— Господи, вот дурочка-то! Около собственного дома заблудилась. Ну, подожди, Зина, маме напишу—достанется тебе на орехи!

Хозяйка дома подошла к окну и, обняв Зину за плечи, ласково сказала:

— Так вы и есть сестра Оля! Ну, кто бы подумал: в соседнем доме. Вот чудеса, так чудеса. Погодите-ка, вот что: Олечка идите вы сюда, не через окно, конечно. До службы вам еще час, напьемся кофе. Да поскорее, у меня лепешки жарятся.

И Ольга, у которой тревога за сестру, раздражение на нее сразу перешли в горячую волну радости, что Зина нашлась, и все хорошо, весело, точно она век была знакома, крикнула:

— Хорошо! Сейчас приду.

А Зина все не могла оторваться от окна, все смотрела в свою комнату, ту самую, которую она не могла найти вчера, и которая была вот тут, совсем рядом.

Где-то на дворах кричали петухи, на улице стучали колеса ранних развозок. Город просыпался. И солнце, ослепительными лучами заливало сад и эту уютную гостиную, где заночевала она, «бездомная», после долгих блужданий, в поисках дома, номер, номер...Ах, Господи, да триста сорок пять, конечно:

— И как я могла забыть?!..

# Озеро Тахо

— Иванова, к доске. Сегодня вам заданы горы Северной Америки, надеюсь вы их усвоили?

Иванова судорожно мнёт конец передника, засовывает шпаргалку, сунутую кем-то по дороге в рукав и медленно идет от парты к карте. В голове сумбур названий, таких незнакомых и чужих и трудно произносимых, и смутное раскаяние за вчерашний вечер, когда учебник географии благополучно пролежал в ранце, а вместо гор Северной Америки была прочитана новая книга Чарской.

— Так...урок следовательно вы не знаете. Покажите на карте хребет Сьерра Невада. Да нет, Вы по ошибке заехали в Азию. Ну, а озеро Лэйк Тахо вы можете указать?.. Садитесь.

Иванова моргает что бы сдержать слезы, краснеет всеми своими веснушками и медленно идет на место. А дома, брат Колька, который только на класс старше—еще издевается:

— Лэйк Тахо не знала! Господи, да это еще там, где Орлиный Глаз разбил свой вигвам, ну да, Орлиный Глаз. Вот читаешь всякую чушь... Сьерра Невада, да ведь там проходили охотники за черепами, ну да—и там были вечные снега, ну не совсем вечные, это только так говорится.

В журнале против фамилии Иванова стоит жирная, уничтожающая единица...

Так было...

— Вы знаете—Лэйк Тахо очень, очень красивое озеро, когда мы ехали в Рино, знаете...мне ужасно подвезло в этот раз, в рулетку немного проигралась, а вот в машинку—два раза взяла «джак пот». Что? Вы спрашиваете—большое оно? Кафэ? Ну это не совсем кафэ, это скорее клуб, огромный, конечно. Что? Ах, вы про озеро? Озеро? Да, очень, очень большое. А вот Смиту не повезло. Все проиграл. И тоже, чудак, хвастался, что у него система. Я вот без системы и выиграла двадцать долларов. Правда в рулетку потеряла тридцать, но это не считается, там мы

играли пополам с Васенькой. Его проигрыш!

— Да вы, Марья Ивановна, расскажите мне лучше про самую поездку, ведь это же знаменитые Сьерра Невада, лэйк Тахо. Подумать только, думали ли вы когда-нибудь... А вы, кажется, только и запомнили, как вы проигрывали и выигрывали в этом самом Рино. Удивительно, право!

— Что? Вы кажется мне нотацию читаете. Подумаешь—гувернер тоже! Что я ам подрядилась запоминать все эти горы и озера?— Марья Ивановна обиженно моргает подкрашенными загнутыми ресницами и от негодования краснеет даже ярче, чем слой румян и пудры.

А там—окаймленное величавым сосновым лесом, как хрустальная чаша, брошенная на самые вершины гор, лежит прекрасное озеро. Понастроили вокруг него домиков, кафэ, пробили через горные хребты— дороги, которые ведут в Рино. Но ничто не изменило его непередаваемой красоты.

И проезжая прекрасными, по последнему слову техники, пробитыми шоссе, вглядываясь в чащу величавого леса, невольно уходишь в далекое прошлое, когда по горным тропинкам—шли смельчаки, завоеватели новых земель, гибли в снегопадах, падали в пропасти, умирали от голода, шаг за шагом пробивая путь к чудесному сказочному озеру, заброшенному в самые вершины.

И когда блеснуло оно из-за чащи лесов, синее, синее, расплавленное в лучах солнца, окаймленное огромными вековыми елями, показалось людям, что пришли они к Богу в рай. Такой покой, такая красота была разлита на этих горных вершинах, в этом необъятном синем озерном простосторе.

И когда смотришь вдаль, когда видишь, как чуть переливается и дрожит синяя глубь, забываешь о том, что за спиной твоей гудит «хай вей» пестрят рекламы, звучит радио.

Вся мишура цивилизации не смогла стереть дикую, величественную красоту озера.

И не смотрите на Лэйк Тахо на открытке или в рекламных проспектах, там оно по лубочному яркое, неестественное, раскрашенное. Там оно такое, за которое мы получали единицы в дале-

кие годы... А наяву, оно так похоже на озеро чудесной книги Майн Рида о тех смелых завоевателях, которые впервые прошли Доннер Пасс, которые впервые увидали снежные вершины над синей озерной чашей.

# Перепутанные строки

ИЗ ШАНХАЙСКИХ БЫЛЕЙ— ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

Оглушительно стучат пишущие машинки. Из соседних комнат доносится мерный, и для при-привычного слуха, надоедливый стук печатных машин. В репортерской гул голосов. Из кабинета редактора слышится повышенный и раздраженный басок: это редактор ставит на вид репортеру недостаточно верную заметку местной корреспонденции. Где-то в городе был пожар и репортер перепутал фамилии пострадавших. Голос редактора то понижается до многознгачительного шопота, то раздраженно срывается на высоких нотах. Репортера не слышно, он предпочитает отмалчиваться, угрюмо думая—и какого черта ему надо. Большое дело—фамилию перепутали. Остальное все верно: и что пожар был не пожар, а так, пустяковина—сало на плите вспыхнуло и кухонный шкап сгорел. И что придирается...

А унылая мысль грызет:

— Вот хотел сегодня аванс попросить. Не дает, ни за что не даст, черт паршивый...

Газета большая, выходит на восьми листах, по воскресеньям иногда и на десяти. Репортерам, сотрудникам и прочим платят гроши, но требования работы очень большие.

В конторе звучат оживленные голоса машинисток, их смех вызван веселыми шутками агента по сбору объявлений, общего любимца Н.Н. Он хорошо зарабатывает, достает шутя лучшие рекламы города, всегда весел и рекламное дело свое по настоящему и знает и любит.

— Понимаете. Я уже почти год бьюсь, чтобы получить это объявление. Сколько шницелей в этом ресторане съел и не пересчитать. Никак не давал. «Мне», говорит, «газета не к чему» И реклама то пустяковая. Но задело меня за живое. Как это так? Большие магазины легко беру. А тут какой-то ресторашка. Ну, не мог уговорить. И вот сегодня доканал его. Вот она, реклама,— и Н.Н. торжествующе помахал листком бумаги и сунул его прямо под нос заведующему конторой. тот улыбнулся:

— Ну поздравляю, Николай Николаевич, недаром вы у нас считаетесь королем рекламы.

— Только , пожалуйста, с текстом поосторожнее. Текст он сам составлял. Сколько я не уговаривал, что я это лучше изображу: уперся, нет мол за свои деньги сам напишу.

Заведующий прочел рекламу и поморщился:

— Гм. Нельзя сказать, чтобы очень грамотно. Ну, да сойдет.

— И поставьте на хорошее место. И бордюрчик, рамочку такую пофигуристей, чтобы выделялась. В глаза бросалось.

В контору понуро вошел тот самый репортер, которого только что распекал редактор.

— Ты что, Сережа, такой унылый. Опять наврал что нибудь?

Репортер безнадежно махнул рукой.

— Да, по пожарному делу. Понимаешь, вместо пострадавшей соседкино имя ввернул. Ну, а- она—соседка—звонит прямо Петру Петровичу и с истерикой: « я и не горела совсем, это Марья рядом, а у меня на кухне аккуратность и чистота, у меня сало на плите вспыхнуть не может...» Ну и так далее, развела такую историю. Петр Петрович и озверел.

— А ты бы все-таки поосторожнее,—глубокомысленно, пробурчал заведующий.— Не в первый раз ведь. Свадьбу в прошлом году помнишь? Кого ты повенчал? А кого? Мамашу молодой с дядей жениха. Тоже фамилии перепутал.

Репортер обозлился:

— Не всякое лыко в строку. Будто вы со своими объявлениями не ошибаетесь. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Смотри какими изречениями сыпет. А нас-
чет объявлений, ты врешь. У нас ошибок не бы
вает. Слава Богу, за каждой строчкой следим,

Сережа мрачно махнул рукой:

— Главное, в кармане ни копья. Хотел аванс
просить. Да теперь после этой пожарной исто
рии где-же. Николай Николаевич сочувственно
вздохнул:

— Если пятерку, могу занять. Пойдем-ка по
жарник ты неудачный, я тебя обедом приветс
твую. Так, пожалуйства, с этим объявлением по
осторожнее. Ничего в тексте не менять. И пок
рупнее и в рамочке, обязательно в рамочке
Адье.

И он веселый, смеющийся потащил за собой к
дверям унылого репортера.

— Верочка, перепечатайте объявление и выде
лите самое главное и обязательно мне на провер
ку.

Хорошенькая блондиночка взяла лист с круп
ными каракулями и застучала на машинке, вслу
повторяя каждую строчку:

Ресторан «Дядя Миша».

415 Деламур авеню.

Прекрасные обеды и ужины.

По субботам пельмени.

Малороссийская колбаса собственного изго
товления.

3 приличные закуски 75 цент.

С почтением к своим клиентам.

Дядя Миша

Заведующий подчеркнул черным карандашем
несколько строчек и написал сбоку— Рамк
узорная № 5. Пожирней. Внутри текста.

- А у бедного Сережи вечно неудачи,— со
вздохом проговорила черненькая Наташа.

—Это все от того, что у него все срыву, смах
Запишет пару строк и бежит сдавать заметку. В
тер у него в голове. А все потому, что ваш бра
машинистки уж очень его жалеете.

— Да, если он такой милый!

— Подумаешь, милый. Ишь Алеша Попо
вич какой выискался. Репортер должен быть п
серьезнее. А у него один флирт на уме. Ну,вот

врет в своих заметках.

И заведующий прервал сам себя строгим замечанием:

— Ну, хватит болтать, мелкие о бъявления на завтра еще не готовы, а до срока всего полчаса. Ну-ка, поскорее. Нажмите.

Дружно застучали машинки. Часовые стрелки двигались к шести. В дверях уже показалась сутулая фигура ночного корректора. Газетная жизнь шла обычным быстрым темпом.

* * * * *

На следующее утро в контору газеты влетел совершенно сияющий репортер Сережа. Видно было, что ему не терпится поделиться своими новостями с машинистками.

— Читали? Вот удача мне подвалила . Такую заметку преподнес. Сам Петр Петрович мне благодарность выскажет. Вот увидите. Сегодня ночью в загородном кафе Бимбо сцепились, кто бы вы ни думали, сам Савелий Иванович со своим секретарем. Да как, почти до драки дошло. И я на счастье был там и сам собственнымт глазами все видел...

Заведующий конторой бросил на репортера строгий взгляд:

— Смотри, Сергей, это тебе не пожар. Наврешь, перышком из газеты вылетишь.

— Ну, что вы...собственными глазами. Я заметку ночью сдал в отдел местных сенсаций. Дай-ка газетку посмотрю, как они набрали,— Сережа почти выхватил газету из рук заведующего и развернул лист.

— Ты, так все правильно. Гмм...имен не дали —это ночной редактор осторожничает. Ну, да и без имен ясно кто...

И перевернув лист, с интересом стал проглатывать газету и вдруг разразился громким хохотом.

Заведующий удивленно поднял голову от письменного стола, машинистки перестали стучать.

— Ты что?

— Ох, не могу. Непогрешимый отдел объявле-

ний.Ой, уморили. Ну и настряпали! Вот это объявление! Верочка, Наташа, слушайте я вам вслух прочту. Ну, доложу, насмешили.

И Сергей, встав в комическую позу и раскланявшись, громко прочел вслух, скандируя каждое слово:

Ресторан Дядя Миша 415 Деламур авеню.
Прекрасные обеды и ужины.
Собственные пельмени.
По субботам изготовления
3 российская колбаса.
Мало приличная закуска 75 цент.
С почтением к своим клиентам.

Дядя Миша

Дружный хохот раздался в конторе.

— Врешь,— крикнул заведующий и вырвал у Сережи газету.

— Зарезали,— завопил он, прочтя обьявление, — Что Николай скажет. Да еще шрифт крупнее, чем я сказал. Прямо в глаза бросается.

А? По субботам изготовления?А? Малоприличная закуска!!!Скотина метранпаж строчки перепутал. Зарезали!

В контору влетел разъяренный король реклам, он размахивал газетным номером и вопил:

— Вы что же это! Год объявления добивался. Услужили! Да как я ему на глаза теперь покажусь Ведь просил...обратить особое внимание. Нечего сказать—«обратили».

Сережа снова заговорил, на это раз с мудрованием в голосе:

— Это наш отдел объявлений, они ошибок никогда не допускают. Это я, Сережка, все вру и путаю. А они непогрешимы. Да ты не волнуйся, Николай, тебе с клиентом объясняться не придется. Этот самый дядя Миша сам сюда явится Уж помяни мое слово.

На хохот, крики и шум из редакционной стали заглядывать репортеры и появилась фигура самого редактора.

— Что у вас здесь?..

Но докончить фразы ему не удалось. Входная дверь с шумом распахнулась и в конторе появился не «дядя Миша», а тетя Миша, внушительных размеров дама в пестром платье с газе-

той в руках. Она на минуту застыла на пороге красочным монументом и потом двинулась в атаку:

— Это что такое? А? Опозорили! С нас вся Деламура смеется. Мало приличная закуска!..А малоприличная...С грязью смешали. Говорила своему дураку гнать этого газетчика в шею.

Сережа быстро протиснулся между монументом и растерявшимся заведующим и с чисто репортерским натиском, загоаорил:

— Мадам, не волнуйтесь. Все будет в порядке. Во-первых мы сообщили, что это опечатка. А во-вторых, вы знаете, что в Америке клиент был бы даже рад, потому что такое объявление привлечет общее внимание. повеоьте v вас отбоя не будет от посетителей. В Америке...

— Ты мне Америкой в нос не тычь. Сами понимаем какой тут профит. Опозорили. Оплевали. А теперь с опечаткой лезут. Да мне теперь на улицу то выйти стыдно. Да из соседней лавки в меня пальцами тычут—«Малоприличная, мол». Знаем мол, теперь, чем вы людей подчуете.А?!

И монумент угрожающе двинулся к заведующему, оттолкнув могучей ручищей репортера Сережу.

Машинистки уткнулись носами в машинки, сдерживая неудержимый смех. Заведующий выглядел мокрой курицей. У дверей репортерской столпился теперь весь штат газеты.

И над всем этим возвышался монумент тети Миши и звучал почти басовыми нотами ее уничтожающий голос:

— С нас весь Деламура смеется...

Вдали мерно и монотонно стучали печатные машины.

# УСТРИЦЫ

От редакции:

Многие дальневосточники, вероятно, еще помнят героев этого очерка. Их четверо—сам автор —Ольга Скопиченко, ее тогдашняя подруга поэтесса Марианна Колосова, поэт Арсений Несмелов и Всеволод Иванов—поэт, журналист и писатель.

Эпизод, описанный в очерке, имел место в Хар бине в конце двадцатых годов, незадолго до того как Иванов был приглашен редактором крупной газеты «Гун Бао».

Из всех названных здесь лиц осталась в живых только одна Ольга Скопиченко. Арсений Несмелов был увезен после окончания Второй Мировой войны в СССР и там «репрессирован». Всеволод Иванов вместе с Вертинским еще во время войны уехал добровольно из Шанхая в СССР но в Москву не попал. Его направили в Хабаровск—там он и умер.

Марианна Колосова после войны выехала с русскими эвакуантами на Самар, а оттуда в Чили, где и скончалась.

*****

Очерк? Рассказ? Нет, просто маленький эпизод из прошлого.

День в Харбине был осенний и довольно хмурый. Даже дождик чуть-чуть накрапывал.

Шла я домой в мрачном настроении. Деньги за урок обещали заплатить только к понедельнику. А дома у нас с Марианной было хоть шаром покати и никаких перспектив. Вчера доели остатки щей и хлеб. Сегодня я утром направилась на работу, выпив стакан пустого чая. Решила, что на лекции вечером не пойду, не очень-то лез... лову Институции Римского Права на г... лудок.

За дверью нашего «шикарного пала... ла хибара, выстроенная для караульн...

тайца и мы ее снимали за несколько долларов в месяц. Хибара была поместительная с русской плитой в углу. Две кушетки, большой письменный стол, подарок одного из поклонников наших поэтических талантов, два стула, да корзинка в уголке для нашего общего друга (собаченки): Турандот—и вот вся наша обстановка. И, конечно, книги и рукописи, наваленные и на столе и прямо на полу.

— Ну, что, получила?—был первый вопрос Марианны.

— Да нет. Обещали в понедельник. Муж Веры Павловны уехал на рыбалку за Сунгари, а у нее не было денег. — Гмм. Плохо, значит ты голодная...

— Ну да и ты тоже.

— Нет. Мне подвезло. Зашла к Семеновым, надо было книгу вернуть и попала на обед. Такими пельменями угостили. Очень мне хотелось попросить для тебя, да постеснялась.

— Ну, что ты, не хватало, чтобы мы попрошайничали.

— Турке косточек послали, видишь, наслаждается.

Турка с увлечением возилась в своем углу, причмокивая и посапывая.

Марианна задумалась:

— Знаешь. Думаю Арсений зайдет сегодня, перехватим у него доллара два до следующей недели.

— Дождешься его...—пробурчала я,— он последнее время все вечера проводит со Всеволодом Ивановым. Такая дружба, водой не разольешь.

Марианна снова стала стучать на машинке. А я порывшись на плите за кастрюлями, нашла сухую корочку и села с книгой на кушетку. Часов около девяти вечера послышались быстрые шаги по двору и Марианна весело сказала:

— Вот Арсений, а ты говорила не придет.

Еще минута и Арсений Иванович Несмелов, наш самый талантливый поэт Зарубежья, наш общий друг и приятель, с шутливым смехом:

— Вот хорошо, что вы обе дома,— уселся на

краешек кушетки.

— Вот что. Собирайтесь только поскорее.

— Куда?

— Всеволод.Приглашает нас вчетвером поуж нать.Только скорее он на извозчике ждет.

Марианна поморщилась, она терпеть не мог прерывать начатую работу, но видимо вспомни что я голодная, быстро согласилась.

— Что это с Савоськой случилось, что он н вспомнил. Только вот что, Арсений, выматыва Надо же нам поприличнее одеться, выезжая с т кой знаменитостью.

Арсений быстро скрылся за дверью.

Сборы были недолгие. Марианна переоделас в свое единственное нарядное шелковое плать я в костюмчик, ходивший у меня за выходной.

Всеволода Никаноровича Иванова или С воську, как звали его за глаза, автора знамен того труда «Мы» и не менее знаменитой «Поэм еды», мы знали сравнительно мало. Сталкив лись в редакции газеты, один раз были у не на дому, в его кабинете, где висела огромная к пия кустодьевской «Купчихи за самоваром», н нее он всегда указывал посетителям «Моя муз —на что я довольно дерзко спросила—купчи или то, что на столе.

Толстяк Всеволод был известен своим гурма ством.

Минут через десять мы вышли на улицу уже полном параде. ВсеволодНиканорович слез с и возчика и пошел к нам навстречу, говоря как —то любезности. Уселись.

— В Фантазию,—распорядился Иванов.

Мы запротестовали:

— Да помилуйте, Всеволод Никанорович, м не одеты для такого шикарного места. Поеде куда-нибудь поскромнее.

Спорить было трудно.

—Ерунда! Сядем не в общем зале, а на бал не, в ложу. Там некому будет ваши наряды кр тиковать.

Фантазия—шикарное кабарэ в Харбине, с пре расным залом и великолепной эстрадной прог ммой. Марианна о чем-то переговаривалась

Арсением. Я молчала, предвкушая вкусный, необычный ужин.

Зал Фантазии, за ранним временем еще полупустой, сиял огнями.

Уютная ложа балкона, освещенная разноцветными фонариками, серебро и хрусталь стола, тихая музыка откуда-то издалека.

Я невольно покосилась на художественно расписанное меню, но Всеволод пошептался с лакеем и, отстранив карту вин, коротко заказал:

— Устрицы и шампанское.

Завязался веселый разговор. Говорили о новых темах, о новых стихах. Арсений лукаво прищурившись, спрашивал нас какая лучше всего рифма на слово оранжевый...И так как ни я, ни Марианна ничего не ответили, тут же нараспев протянул ...оранжевый.

Ах и дрянь же вы...

Он был великий мастер на рифмы и ассонансы. А я сокрушенно думала, ну, вот и никакого ужина...ни цыплят, ни даже протого бифштекса... а я такая голодная. Да еще устрицы, а как их едят?

За свою короткую, шестнадцатилетнюю беженскую жизнь я только слышала об устрицах. А вдруг они и на самом деле пищат, когда их глотаешь.

Шампанское было искристое и очень вкусное. Именно шампанское помогло мне на голодный желудок глотать этих скользких слизняков, которые были поданы в раковинах с изящными вилочками и ножичками. Глотала, внимательно наблюдая, как расправлялся с устрицами Иванов боялась показать свое полное невежество в обращении с таким изысканным блюдом. Голова кружилась от шампанского, от стихов Арсения, от добродушных шуточек Иванова, и я старалась не замечать сочувственных взглядов, которые на меня кидала Марианна.

В полночь нас тем же порядком на извозчике доставили домой.

Всеволод попрощался с нами на улице, Арсений пошел провожать до дверей нашеи хибары.

И тут Марианна на него накинулась:

— Тоже, гурманы! Тоже хороший тон! Дамам

даже не предложили выбрать, что они хотят заказать. Устрицы...шампанское...

Арсений оправдывался:

— Но ведь, это действительно шикарно и для Фантазии самое подходящее.

— Подходящее...Ольга два дня ничего, кроме корочки хлеба не ела. В доме пусто. А вы...

Арсений растерялся:— Так почему вы не сказали, что вы голодные. Я бы заказал цыплят.

— Да так вот и сказать, что мы хотим что-нибудь существенное. Так вот перед Савоськой и сознаться, что мы голодающие поэтессы. Ты сам должен был догадаться.

Я молчала. У меня проходил угар шампанского, и я чувствовала, что устрицы стоят в горле комом.

— Я затра утром забегу,—и Арсений немного смущенный пошел к калитке.

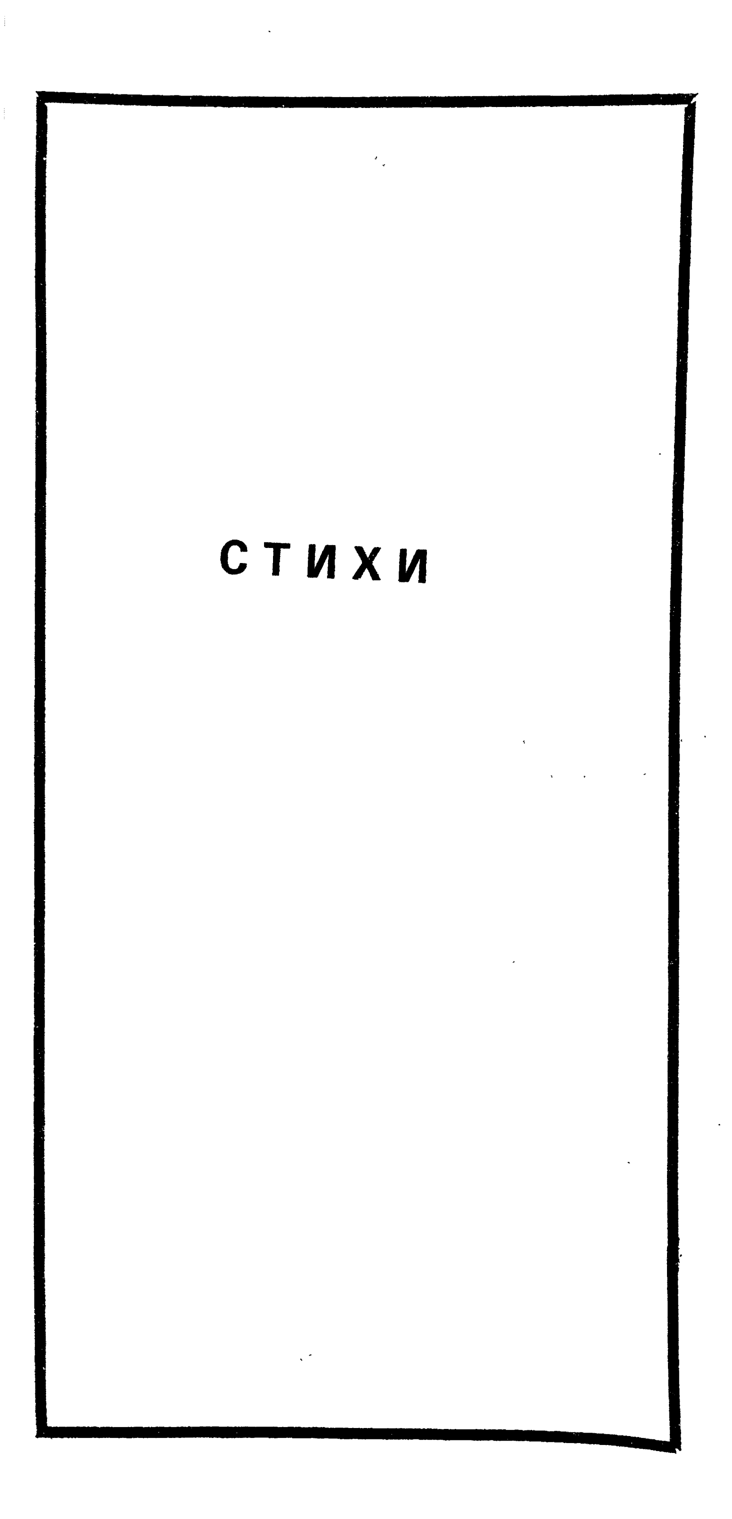
— Только смотри ни слова Всеволоду, не позорь нас,—крикнула ему вслед Марианна.

Утром часов в десять Арсений был уже у нас, принес с собой сайку хлеба, лук и две коробки сардин, все что мог достать в маленькой лавочке где ему еще не было отказано в кредите. Видимо сам тоже был «на мели» в эти дни.

Потом мы часто вспоминали этот светский ужин в роскошной Фантазии. Особенно хорошо было вспоминать за чашкой горячего чая с чайной колбасой, нарезанной толстыми ломтиками и с аппетитными ломтиками поджаренного хлеба—наше обычное пиршество, когда мы были при деньгах.

А устрицы долгие годы вызывали у меня отвращение.

26 октября 1982 г.



# СТИХИ

# Достойным быть...

Когда пройдем назначенный нам срок,
Когда поймем, что есть иные дали,
Прекрасней наших жизненных дорог,
Где мы боролись, верили, мечтали..

Когда поймем, что злоба и вражда,
Как цепи для души, как узнику оковы...
И свет любви, как яркая звезда,
Нам озарит пути дороги новой...

Тогда найдем забытые слова,
Наполненные ласкою и дружбой...
И те огни, что брезжили едва,
Покажутся нам, как мираж ненужный...

И пролистав синодик прежних битв,
Мы зачеркнем его, уйдя к иным пределам,
К пределам радости, прощения, молитв,—
Все до конца поняв, чем сердце отболело.

И, может быть, тогда...—спокойна и ясна,
Омытая страданьем бездорожья,
Вернется нам любимая страна
По вере нашей, по веленью Божью.

* * *

Бывают дни в истории страны,
Как мирный сон задумчивый и милый,
Когда года спокойны и ясны
Бегут, как тихие и радостные сны
Под знаком власти, гордости и силы.

В такие годы создавал Толстой
Труды великие о правде человечной,
Направленный уверенной рукой,
Корабль страны плыл к славе мировой,
Чтоб имя Родины отметить в Вечность.

Бывают дни разгневанных стихий,
Когда горят и негодуют души!
Всплывают старые забытые грехи,
И пишутся безумные стихи,
И голос Родины придавленней и глуше.

Неотвратимый, бешенный Амок
Овладевает целым поколеньем,
Такие годы вписывает Рок,
В такие годы задыхаясь Блок
Писал больные, страшные творенья.

И, если сердцем тянешься к простым
И мирным дням спокойного раздумья...
Как пережить военной бури дым,
Не помешаться и не стать седым
От этого смертельного безумья?

Дай, Господи, нам недостойным знать,
Мы разве невозможного просили,
Дай меру гнева Твоего понять...
Но только кто, кто может угадать
Твои пути, несчастная Россия?

# Победителям

Жюль Верн отброшен, на дворе темнеет,
Длиннее тень ложится на стене...
И кажется, что я в иной стране,
Где все и необычней и страннее.

Луна взошла. И серебристый свет
Дрожит и стелется по саду, по аллеям,
Мне кажется, что я сейчас пройти сумею
По светлому лучу туда, среди планет,

К луне волшебнице в неведомые страны
И видятся, как будто вдалеке,
Там, где тропинка съузилась к реке,
С земли плывут немые караваны

Чудесных и волшебных кораблей,
Туда к луне, где в серебро одеты
Причудливые в отраженьи света,
Просторы неземных, невиданных полей.

Проходят в памяти картины детских снов
В мечте Уэллса, в позабытой сказке,
Меняются причудливые краски...
Так было в детстве, в юности, давно...

* * *

И дрогнула душа и верю и не знаю,
На зыбком зеркале дрожащего экрана,
Опять, как в юности, причудливо и странно
Встают виденья неземного края

Поля луны и четким силуэтом
Тень человека там, за миллионы верст,
Его движения, его высокий рост
Залитый весь прозрачным лунным светом.

За ним другой. И странный аппарат
Похожий на ковчег, похожий на виденье...
Что это? Бред? Безумье? Сновиденье?
Нет, это явь. Об этом говорят,

Об этом знает мир. И с трепетом до боли,
Весь шар земной, не отрывая глаз,
Следит за ними в этот день и час,
За совершеньем мужества и воли

Движенья их, как плавный пируэт,
Шаг, как прыжок. А лунная долина
Чуть серебрится и неуловимо
Колеблется, какой-то зыбкий свет.

И сердце замирает от тревоги:
Скорее в аппарат. Нет силы осознать,
Страх побороть, не думать, не гадать,
А знать, что храбрецы обратно...на дороге

Пусть миллионы верст, но на пути домой.
И звездный флаг воздвигнут там, где ныне
Лежат изведанные лунные пустыни,
Достигнутые храбростью людской.

Планетных светочей немая тишина
Сейчас, как будто гимном величавым,
Поет о подвиге, о мужестве. И славой
В скрижали вечности их вносит имена.

## В слепые дни.

Все тот же сон, так часто, часто снится:
На барже я одна. Туманный полусвет
На небе кружат и щебечут птицы,
Я их кормила много долгих лет
Не видно берега, я очень плохо вижу.
Потемки, слепота за волнами вдали
Но сердцу чудится, что ближе, ближе
Поля неведомой, невиданной земли
И я шепчу: «Прощайте, не судите
За все падения, содеянные мной
И провожают щебетаньем птицы,
Друзья последние земли земной.

## Поэзия

Прекрасный слог изысканных стихов,
Написанных в таком старинном тоне,
В них много нежных и красивых слов;
Читали их в каком-нибудь салоне,

Где собиралось общество и где
Поэту снисходительно внимали...
О розах, о любви, об утренней звезде,
О звуках музыки любимого рояля...

Ушла от нас мелодия стихов,
Ушла поэзия любви и мадригала,—
Мы ищем новых, невозможных слов,
Нам рифма старая несносна стала.

И мы кричим, клянемся и зовем
И музыка стиха неровная и злая.
Мы рвемся в свой полет и погибаем в нем
И ищем новых слов и старые теряем...

Поэзия сейчас—аэропланный шум,
Свист ветра, вой тяжелого мотора,
В ней нет ни нежности, ни радости, ни дум
Приветливых, ни ласкового взора.

Как вылить в ней печаль, иль злую боль утрат
В ее неровном темпе ненормальном...
Цветы в ней не цветут и звезды не горят
И нет в ней слов любовных иль прощальных.

Вот, почему так сладко иногда
Взять томик милый, с нашей полки книжной,
Уйти от наших дней в далекие года
Там, где поэт как-будто жемчуг нижет.

От современного набора диких слов,
От гама нашей взвихренной вселенной,
Уйти в мир светлых пушкинских стихов
Его поэзии прекрасной и нетленной.

*
* *

Когда юность летит стремительно
Мимо горя, забот, тревог,
Шелестит любовно страницами
Книги юной внимательный Бог,

В годы те, без конца счастливые
Безгранично дни хороши,
Все слова томительно милые
Для взлетевшей к счастью души.

А потом замирают тревогою
Заглушенные скорбью шаги
И становятся лица строгими
От житейской, снежной пурги.

Вспоминать беспечное, старое,
Словно сноп цветов ворошить.
Отражая удар, за ударами,
Стиснув зубы, учиться—жить.

## ПАМЯТИ О.П.СКОПИЧЕНКО (МАМЕ)

О прошедшей нашей весне
Суждено нам вечно вздыхать.
Ты во сне приходишь ко мне.
Так же поступь твоя тиха.

Также ласков голос родной,
Также нежны твои глаза,
Но тебе в этот час ночной
Ничего не могу сказать...

И зачем говорить о том,
Что, как рана, в душе моей.
Что была ты светлым лучом
С колыбели до юных дней.
Для меня священны часы,
Когда ты приходишь во сне,
Чтобы горе мое гасить,
Улыбнуться ласково мне.

Полусонная слышу звук
Шелестящих твоих шагов,
Ласка милых маминых рук
Успокоит сердце без слов.

И когда улыбчаты сны
И когда хорошо во сне,
Знаю—это смеешься ты,
Ты из рая киваешь мне.

# В рождественские дни

Ничего не забыть...ничего,ничего не убавить,
В днях прожитых единую долю тоски не сменить
Только каждую ласку и нежность, что создали
сами,
Огоньком разноцветным на елке своей затеп-
лить.
И часами сидеть в любованьи причудливой
тенью,
Вспоминать, погружаясь всем сердцем в минув-
шие дни,
И искать на ветвях среди ярких, цветных укра-
шений
Прежних елок своих, догоревшие в прошлом-
огни.
Этот светлый фонарик случайно был спрятан
когда-то,
В суете отступленья, в уложенный наспех мешок
И приехал со мной из страны Золотого Заката
На загадочный, полный задумчивой тайны Восток.
Там случайно нашла его в книге, расправила
складки
Золотистой бумаги, поставила снова слюду,
Словно милое детство, опять вспоминая ук-
радкой...
Загорелся он снова, на елке, в двадцатом году,
А потом уложила его аккуратно в корзинку
И мечтала, что выну в Сочельник, на нашей
земле...
И теперь он мне кажется милой игрушкой ста-
ринной,
Нежной памяткой дальнего прошлого кажется
мне.
И среди электрических ярких огней разно-
цветных,
Средь зеленых ветвей он мигает живым огонь-
ком,
Как всегда, освещая приветливым, ласковым
светом
Мою жизнь, промелькнувшую странным, ски-
тальческим сном.

# Творчество как ласковая дружба

ПОЭТЕССЕ ОЛЬГЕ КАПУСТИНОЙ

Думаете, слава нам нужна?..
Может быть, о ней мечтали в детстве,
Может быть, мечтой опалена,
Нам она назначена в наследство

От каких-то предков, что стихи
Виршами старинными слагали.
Этот бред давно уже утих,
Мы его в изгнание не взяли.

Прогреметь по свету, догореть,
Как костер, зажженный исполином,
Прозвучать, как дрогнувшая медь,
Все преграды на дороге сдвинув...

— Все это ненужно. Не о том
Думается в старости ночами.
— Вот кому-нибудь приснится сном,
Уносящим горе и печали.

Взять от сердца нежные слова
И отдать тому, кому тревожно,
Лаской, осязаемой едва,
До души коснуться осторожно,

Бережно, лампадой пронести
Творчество, как ласковую дружбу —
Это все, что надо на пути,
Только это в нашей жизни нужно.

*
* *

Ты снишься мне всегда, моя родная...
Улыбкой осени, дыханием зимы
И в дуновеньи ласкового мая
Несешь прекрасные, несбыточные сны...

Ты...это то, что в детстве отмечталось,
Ты, это то, с чем жить не довелось...
Дыханье ветра с дальнего Урала
И шепот вешний радостных берез

И Волга, брошенная лентой голубою
В просторе расцветающих полей,
Леса, сбегающие с берега гурьбою
Полоска синяя любимых Жигулей.

Ты мне приснилась сказочным виденьем,
В окно вагона в шуме отступлений
В далекие, суровые года
Ты мне приснилась сказочным виденьем,
Чтоб на душе остаться навсегда.

В те дни, когда смертельная усталость
Была страшней чем буря и враги
Ты глянула с бездонного Байкала,
Из глуби замерзающей тайги.

Ты снежный полем подошла проститься
С детьми своими на пустой перрон

И это все. Придвинулась граница—
Чужими рельсами загрохотал вагон.

Потом...да что перебирать...не стоит
Чужбинных действий, горестных путей,
Военных бурь, отпущенных судьбою,
Смертей бесчисленных, бессмысленных смертей

Потерь и горестей не знаю, не считаю—
Вся жизнь потеряна. Но в творчестве моем
Ты снишься мне всегда, всегда, моя родная,
Осенним вечером, весенним ясным днем...

И до последнего житейского порога,
Всю жизнь, прожитую мучительной тоской—
Я благодарна бесконечно Богу
За то, что Ты была моей судьбой.

* * *

Обнимает девушку сказочный седок,
Пылью поднимается дымчатый песок,
А с деревьев песнями птичьи голоса...
Распустилась девичья русая коса.

Жемчугами вышитый яркий сарафан,
Алый, с позументами, бархатный кафтан...
Сказка? Быль народная? Стародавний сон?
Но на нашей Родине сбудется и он.

И царевич сказочный от кровавых лет
В лес умчится радостный, гордый от побед.
Увезет любимую, победивший грусть,
Молодую, новую, солнечную Русь.

## Сергию Радонежскому

Сергий, Ты благословлял для битвы
Рати, уходившие в бой
И твои великие молитвы
Были им опорою святой.

И из пламени враждебного набега
Русь прошла дорогою побед:
Побеждали злого печенега
И не страшен был разбитый швед.

Сергий, в пепле долгого пожара
Задохнулись русские поля
И рабой склонилась от удара
Славная великая земля.

Сергий, заржавели наши латы,
Переломлены разившие мечи
И страшнее прежних супостатов
Наши вороги и наши палачи.

*****

...И каждый год, отмеченный крестом
Страданий и потерь, и поражений,
Как исторический роман потом
Читается грядущим поколеньем.

И где-нибудь на берегу Невы,
Или в Полтаве, у вишневой хаты,
Прочтете, будущий потомок, Вы,
О нас жестоким ураганом смятых.

Так будет в будущем. И редко кто поймет,
Благоговейно преклонив колена,
Как много выпало страданий и забот
На долю нашего больного поколенья

И много книг о прошлом прочитав,
И думая внимательно над ними,
Вы скажете: «вот этот был не прав,
А этот с честью перенес изгнанье».

В саду вишневом...дома у себя...
О, Господи, я знаю это будет!
На Родине, куда сейчас нельзя
Нам, на чужбине грезящим о чуде...

Вы может будете стремиться из Москвы
Или из Киева в неведомые страны,
И позавидуете, может, что не вы...
Не ваша жизнь описана в романах.

И позавидуете нашим пестрым дням
И нашим историческим скитаньям...
И не почувствовать, счастливым, вам,
Боль горькую тяжелого изгнанья.

Не доживут до вас печальные стихи
Одной изгнанницы, не ставшей героиней...
Стихи о женщине, средь грохота стихий
Мечтающей о небе...синем, синем...

Тоскующей о мирных днях простых
В родных садах любимого Поволжья...
О женщине...в изгнаньи много их...
Мечтающей о том, что невозможно.

*
* *

А, может быть, лучше уехать
В далекий и чуждый край?
Считать по дорогам вехи,
Кричать ямщику: «погоняй!»
И думать о новых картинах,
Которые ждут впереди,
Забыть о России любимой
И счастье за морем найти?
Пожалуй, так будет проще
Искателем счастья стать,
Забыть про родимые рощи—
Стихи свои пальмам писать.
Но знаю я, что и в далеких,
Красивых, но чуждых полях
Я буду писать те же строки
И прошлое встанет в стихах.
Я знаю, попрежнему будет
Мне сниться далекая Русь,
И где бы я не был, повсюду
Настигнет знакомая грусть.

о
* *

Полвека минуло...А в памяти живет
Весь этот путь двадцатого столетья,
От юных дней, когда был вписан год
В листке календаря, мы помним, двадцать третий.

*
* *

Полвека минуло...а в памяти живет
Весь этот путь двадцатого столетья,
От юных дней, когда был вписан год
В календаре, мы помним, двадцать третий.
Мы помним все. И в память прошлых дней
Проходим часто по тропинкм узким
На кладбище, чтоб навестить друзей,
На кладбище, что тоже стало русским.
Здесь в городе у Золотых Ворот
Закончились потемки бездорожья...
Благословим же сердцем этот год,
Нам посланный судьбой по Воле Божьей!

*
* *

Мы знаем, что слезы и боль не помогут,
Без Родины юные годы прошли.
Великие Таинства, данные Богом,
Истрачены нами для чуждой земли.

И вот мы не падаем, молча, без стона,
Пытаемся в жизни бодрее идти.
И наша страна чудотворной иконой
Мерещится нам на тяжелом пути.

И если на Родину выведут тропы
Бессчисленных наших потерь и побед,
Мы Ей отдадим, как последнее, опыт
Скитальческих темных и трепетных лет.

У Родины нашей попросим немного!
За наши страданья, за горе, за страх...
Попросим смиренные, именем Бога,
Земли для могилы в родимых полях.

И победили и вошли
И выстрадали дом свой новый
И на холмах чужой земли
Свое сказать сумели слово.
Потом прошли десятки лет,
Вы много русских групп встречали,
Их гнал войною Старый Свет,
Гнет разоренного Китая.
Со всех сторон земли чужой
К свободным Золотым Воротам,
Где мост раскинут Золотой,
Шли за свободой и работой.
Мы вспоминаем горечь дней,
Войной спаленных и гонимых...
Мы шли за волею своей,
Как шли когда-то пилигримы.
И так же, как тогда, вдали
Вдруг показался берег близкий
И подплывали корабли
К холмам высоким Сан Франциско.

*
* *

Легко листки календаря
Срывать небрежно, не считая,
Не думая, не говоря:
«Какая будет жизнь большая».
С борта высоких кораблей
Следить, как набегают волны—
Не зная сколько будет дней
Разлуки и заботы полных.
И прошлое морской волной
Стирается легко и грубо...
И вот на берег золотой
Выходят новые Колумбы.
Америки им не открыть—
Она давным-давно открыта,
Но надо выжить, победить
И в темп войти чужого быта.

*
* *

Еще вчера цвела сирень,
Усыпав землю лепестками
И солнечный, чудесный день
Не говорил о расставаньи.
Любимый старый парк мечтал,
Сирень к скамье склонялась низко...
И что-то нежное шептал
Студент смущенной гимназистке.
Диск солнечный давно ушел...
Шептался в ветках ветер свежий...
И было смутно, хорошо
От молодости и надежды...
Потом...вокзала суета...
И слезы на глазах любимых,
Звонком убитая мечта
И поезд, уходящий мимо.

*
* *

Шагами тихими пришла усталость
И сединой запудрила года,
Звездою яркой ты для нас осталась
Звездою негасимой никогда.

Мы имя русское, как ладанку носили
Мы Родину иконой пронесли
И много раз у Господа просили
Покой и счастье для родной земли.

Пусть нам осталось вечное изгнанье,
Пусть не свершится чудо из чудес,
Пусть никогда не прошумит над нами,
Наш темный, смолами дышащий лес.

Пускай для нас изгнание не минет
Не примут нас родимые поля.
Но даже смерть надежду не отнимет,
Что русской станет русская земля.

*
* *

Я поля твои не исходила,
И в лесах твоих не хоронилась...
В ранней юности виденьем милым
Ты мне, ненаглядная, приснилась.

Заморозила Крещенскою пургою,
Летним полднем сердце опалила...
Обернулась Бабою Ягою—
Страшной, неразгаданною силой.

И ушла с котомкою по свету
Говорить о Родине, о чуде...
Только разве верили поэту
Равнодушные, чужие люди?

Разве можно сердце вылить в песню?
Разве можно песней сдвинуть льдины?
И огромный мир стал чужд и тесен
Без Тебя, желанной и любимой.

Боль Твоя в душе моей осталась,
Твой позор крестом упал на плечи...
Только разве много может жалость?
И помочь Твоим страданьям нечем.

Сердце ждет желанной перемены,
Сердце, и расстрелянное, верит—
Обернешься ласковой царевной
Наших старых, дедовских поверий...

Много песен о Тебе сложила,
За Тебя, любимая, молилась,
Хоть поля Твои не исходила
И в лесах Твоих не хоронилась.

# Из Китая на острова

Мы снова ночью темной, грозной
Следим за светом маяка,
И снова в книге Божьей звездной
О нас написана строка.

По синей глади океана
Быть может в наш девятый вал,
Нас бросил в путь в чужие страны
Страны любимой бурный шквал.

И снова в чуждые дороги
Господняя ведет рука
И так же мысли наши строги
И та же горесть и тоска,

По тем покинутым долинам,
Куда для нас возврата нет,
По нашим городам любимым,
Оставленным десятки лет.

Мы терпеливо выносили
Судьбу скитальческих невзгод,
С молитвой о своей России,
Мы меряли за годом год.

И в наше новое скитанье
Мы взяли,что могли сберечь,
Терпенье наше, наши знанья
И русскую родную речь.

И песню, звучную, как реки
В родных степях моей страны,
Что в душу вложены навеки
И чем в изгнаньи мы сильны.

И снова в книге Божьей звездной
О нас написана строка
Мы снова ночью темной грозной
Следим за светом маяка.

# Горечь

Твоих полей нехоженных просторы,
Твоих дорог невиданную ширь,
Я все люблю— озера, реки, горы,
Урал, Поволжье, снежную Сибирь.

Не много обуви сносила по дорогам
Родной страны. И жить не привелось
В лесах Твоих. По капле, понемногу
Яд ворожбы твоей всосался в кровь.

Я с юности отравлёна Тобою.
Разворожить в изгнаньи не могли,
Как будто в сердце с горькою любовью
Вложили горсть Твоей сухой земли.

Как будто крест положен мне на плечи
И выпрямиться не хватает сил.
И радоваться в этом мире нечем,
Как на погосте, у родных могил.

И все таки живу Твоим виденьем,
Твоей легендою, как верою полна.
И Ты идешь, идешь за мной, моею тенью,
Моя далекая, любимая страна.

И за чертой, где праведней и строже
Ведется счет земных деяний всех,
Скажу: — Прости, о милосердный Боже,
За мой земной, невыплаканный грех.

За то, что я полей не исходила,
Ее цикуты с Ней не испила,
Но до конца Ее одну любила
И только Ею на земле жила.

*
* *

По лесам, по полям, по взгорью
Средь Российской дали степной
Едет тихо Святитель Георгий—

Нашей доблести, русский Святой.
Белый конь тяжело ступает,
Низко голову опустил
И невольно шаг замедляет
У холмов беззвестных могил.
Пламенеет небо пожаром
В заповедном, родном краю.
И ковыль шелестит о старом
Про победы, про подвиг в бою,
Про суровую смерть солдата.
Про расстрелянных в лагерях.
Словно кровь на траве примятой
Расцветают маки в полях.
По лесам, по полям, по взгорью
Объезжает уснувшую рать
Наш Святитель русский Георгий...
Чтобы Богу о них рассказать
Чтобы в книге великой Божьей
Были вписаны их имена
Тех, кого в года бездорожья
Позабыла родная страна

*
* *

Опять в огне. Опять горишь войною.
Границы ощетинились штыками,
А небо бледной чашей голубою
Бесстрастное, холодное, над нами.

Как странно в сердце. Ты и не моя,
Как больно. Наша и совсем иная!
Твои леса, поля, твоя земля
Для нас запретная страна чужая.

И все таки. Вот этот жребий свой
Бродить по горьким и больным дорогам,
Без своего угла и без страны родной
И знать, что всюду и везде чужой
С иною радостью, с иною верой в Бога.

Не променяю ни на что. В душе
И в сердце русская. И радостен и вечен
Звук слов родных. И будут хорошеть
И расцветать слова. И будет час отмечен,

И будет час, когда вернемся мы
Пусть старые, усталые, больные
Из дальних стран, из жизненной тюрьмы
К твоим полям, любимая Россия.

А если не придет и не свершится час
И жизнь окончится на этой тропке узкой,
Пока последний луч для смерти не погас
Гордиться буду тем, что умирала русской.

# Сознание

Мне осталось кочевать недолго—
Жизнь идет в поледний перевал:
Не увидеть мне родную Волгу,
Не поехать на родной Урал.

Нет и горечи в моем сознаньи,
Видно осудил за что-то Бог
Нас на это долгое изгнанье.
Средь чужих, неведомых дорог.

Думала ли я в родном Поволжье.
Где впервые начала писать,
Что придется мне по воле Божьей
Вечною изгнанницею стать.

И весь мир, что сказочно чудесен
В детстве растилался предо мной
Обойду с котомкой скорбных песен
Узкою, скитальческой тропой.

Мы с собою взяли в путь далекий
О Тебе прекрасные слова.
Сердцем были выстраданы строки,
С грузом песенным легка сума.

И дойдя до жизненных пределов,
Зная, что наверно не дожить,
Радуюсь, что жизнь Тобой горела,
Что Господь не дал Тебя забыть.

Льется песня гимном завершенья—
Что мне в том, что я не доживу,
Коль от веры в близость Возрожденья
Сладко сердцу, радостно уму...

И за счастье быть Твоим поэтом
И стихи писать Тебе одной
Было так легко бродить по свету,
Не расставшись ни на шаг с мечтой.

*
* *

Разбросала поля и долины
От зари и до новой зари,
Снеговой, ослепительный, льдинный
Север радужным блеском горит.

И дыша распаленною негой—
В свете южного солнца томясь,
Крым волшебный, не зная о снеге,
Заплетает цветочную вязь.

И на юг и на север—просторы,
На востоке, на западе—ширь!
Снежной шапкой— кавказские горы,
Заколдованной сказкой— Сибирь.

Загорелась пожаром великим
С каждым часом страшней и сильней
И нахмурились древние лики
На иконах от жарких огней.

Но не пеплом покрылись уделы,
Не пожарищем стали леса
На великом огне не сгорела,
Не истлела твоя краса.

От Невы до тайги Енисея,
От Байкала и до Жигулей
С каждым годом светлей и яснее
Манишь ширью своих полей.

Ты для нас вековая зазноба,
И в изгнании жизнь губя,
Наши радости, ласка и злоба
Для тебя, о тебе, за тебя.

## Лунный свет

Своим светом таинственным, странно нездешним
Озарила луна замечтавшийся сад,
Как убором жемчужным одеты черешни,
В серебре драгоценном березы сквозят.

Убежавши тихонько от няни заснувшей,
Босиком проскользнуть серебристой тропой
И часами мечтать на скамье у опушки,
Там, где Волга видна далеко за горой.

Словно в замке волшебном из сказки любимой...
И казалось вся жизнь будет светом полна,
Далека и прекрасна, как эти равнины,
Что в убор серебра одевает луна.

●●●●●

Степь бескрайняя брошена степь перед нами.
Монотонно скрипит за обозом обоз.
Мне еще непонятно, что это—изгнанье,
Это детство еще без печалей и слез.

Это кажется только, как мир приключений,
И не в тягость еще обиход кочевой.
И по детски забыты и дом и качели,
И запущенный сад над любимой рекой.

А осенние ночи все также волшебны,
Также в лунные блестки одеты поля
И в серебряном свете прекрасной царевной
Манит будущей жизнью родная земля.

А верблюд за верблюдом уныло маячат
По сгоревшей от солнца дороге степной...
Только изредка сердце сжимают ребячье
Непонятной, совсем незнакомой тоской...

Только лица у взрослых серьезны и строги,
Только смеха не слышно и сдержанна речь.
Взять бы свет серебристый на этой дороге
И для будущей жизни святыней сберечь.



Сколько раз, когда жизнь обратилась колдуньей,
После горьких утрат и смертельных обид
Я следила, любуясь мечтой новолунья,
Как серебряной дымкою город обвит...

И когда на чужбине все также, как прежде
Разливала луна свой таинственный свет,
Принимала за сказочный замок надежды...
Эту боль и печаль убегающих лет.

И вчера...на высоких холмах Сан Франциско,
Там, где стелется сказочный мост золотой...
Разбросала луна золотистые искры,
В жемчуга убирая волну за волной...

Встали в памяти лунные ночи Поволжья,
На березах дрожащие нити огней.
Вера, ставшая после жестокою ложью,
Страшной явью, обманом расстрелянных дней...

Стало холодно сердцу от блеска чужбины,
Стало страшно, что нам никогда не дожить,
Стало больно, что детства мираж негасимый
Нам теперь не дано, ни вернуть, ни забыть.

# Годами мерить наше время мало...

Давно, давно простились мы с Тобой,
Шепча слова молитв, крестила на дорогу
Тогда еще не старческой рукой.

С тех пор прошло так бесконечно много
Тяжелых дней...Разлуки и смертей... —
Бесчисленный синодик поминаний.
Но помню я Тебя в минуты расставанья:
От слез дрожащий милый голос твой...
Так хочется домой...
Туда к полям родимого Поволжья,
Где жизнь была беспечна и проста.
И где сейчас, я знаю, нет креста
На кладбище, где ты по воле Божьей
Нашла покой. Безвестная могила,
Над нею тихо шепчут тополя,
Холодная спокойная земля
В ковер травы твой холмик нарядила.
Я помню ты меня благословила:
Мы уходили навсегда. В поход.
Мы думали вернемся очень скоро,
По юношески полные задора,
Мы верили, победу принесет
Нам окровавленный и страшный год
Великого Российского Исхода.
Прошли года. Нет, целый век прошел:
Годами мерить наше время мало,—
Судьба нам почему-то даровала
Войну, опять войну...
Восстания, расстрелы и изгнанье,
Столетьями года летят над нами,
Замкнули в смертных лагерях страну...
Сквозь дым пожарища не виден свет,—
Как будто солнца над Россией нет.
А мы живем...Нам надо как-то жить,
Работаем, сковали быт привычный
И в нашей эпопее необычной
Стараемся забыть...нет, не забыть:
Забвенье нам не суждено до смерти...
Мы, как письмо в заклеенном конверте,
Которого нельзя не получить.
Мы, как слова, которые из песни
Не выкинешь, не исказив мотив.
Свободны мы. Но мир порою тесен
Без троп заветных, без полей родных.
Какой нечеловеческой молитвой
Смягчить Господний беспощадный гнев!
Мы, как листы разрозненного свитка,

Где все слова слились в один напев
И нам прошедшим годы отступленья,
Испившим чашу горечи до дна,
Нам суждено нездешнее горенье,
Нам нет покоя, не для нас забвенье.
И может быть, по Божьему веленью,
Мы будем снова жертвой искупленья —
Спасенья Твоего, Великая страна.

*
* *

Если жизнь, как траву скосили...
Вечной памятью будут песни...
Тот, кто любит свою Россию,
Верит свято — она воскреснет.

И в пасхальный день, как молитву
Вспоминаешь родные были.
Ничего, что сердце разбито,
Ничего, что мечту убили.

Ничего, что тьмою изгнанья
Наш единственный свет погашен.
И во тьме пронесем мы знамя
Прошлых дней истории нашей.

Бог воскресший, через столетья
Ту страну, что много грешила
Славой вечной своей отметит...
Покаяньем, светом, силой.

День настанет светлей и краше
Милых дней, ушедших в преданья,
Над страною любимой нашей
Ослепительно солнце встанет.

Если долго мечтать о чуде,
На земле сбывается чудо.
И «воистину» скажут люди
И воистину счастье будет.

# Арест в Храме

Пришли...застучали ногами
И шапок не сняли.
И было так тихо в храме.
Священника взяли.

Старухи прижались к иконам,
Старик на коленях молился.
И голосом тихим и ровным
Священник простился.

Он знал, что не будет пощады —
Чека не прощает,
Но в сердце звучало «Так надо.
Бог знает».

Связали...вели по ступеням...
Солдаты глумились.
Они же, когда-то со всеми
В том храме молились.

Ушли...громыхали за дверью...
Прикладом стучали..
А свечи, как-будто не веря,
Мигали...

И строго смотрели иконы
На храм опустелый...
Молитвы срывались со стоном...
Темнело...

1926 г.

# На кострах

И вставали зори словно кровь,
Зоркие и грозные, как страх.
К Божьей Матери под светлый кров
Уходили женщины в слезах.

И у каждой, каждой в те года
Был убит, замучен кто-нибудь.
Трудно было о судьбе гадать,
Трудно было горе обмануть.

Юность радостью была пуста.
Кто-то счастье в юности убил;
Хоронили павших без креста,
Без цветов прощальных у могил.

А ночами с звездной высоты
Ласково сходила Божья Мать.
Чтоб людские скорбные мечты,
Слезы все — в единое собрать.

И когда кровавой полосой
Новый день пожарами палил,
Рассыпали чистою росой
Слезы и страдания земли.

В Голубиной книге в небесах
Вписывали звездные огни
Нашу боль, смятение и страх,
Нашей Родины Христовы дни.

И теперь, от юности устав,
Мы под знаком Божьего Креста
На бесчисленных горим крестах
Для Ее единого костра.

*
* *

Наши песни кружатся подстрелянной птицей
Над чужой и суровой землей.
Только в снах беспредельною верою снятся
Край далекий, любимый, родной.

Мы—изгнанники, меряем годы чужбиной
И годами томительно ждем
Зашумит ли для нашей России любимой
Освежающих гроз водоем...

Мы незримой мечты и тоски палладины,
Мы, как рыцари прежних времен
И во имя Великой, прекрасной Единой
Наши горькие песни поем.

Яркой славой наш жизненный путь не украшен
Сердце раной открытой болит...
Мы—глашатаи будущей Родины нашей,
Нашей Русской великой земли...

# Россия.

Россия...Россия...Звени перезвоном
Далеких, степных бубенцов.
Промчись между рытвин, канав и уклонов,
Но только развей силу снов.

Сломай, размечи вековые поверья,
Пусть слышен безсвязный твой бред
Жар птицей теряй золотистые перья,
Но только откликнись в ответ.

Не спи...Лучше пьянствуй, безумствуй, ругайся,
Топчи все святыни свои,
А после молись на коленях и кайся,
И плачь от зари до зари.

Не спи...Не молчи...Сон твой камень тяжелый
Всю душу мою раздавил.
Я сном твоим словно закован в оковы
И сбросить его нету сил.

Россия...Россия...Промчись ураганом,
Мне молнией душу спали,
Кричи. Пред тобою, безумной и пьяной,
Склонюсь я смиренно в пыли.

# То, что нельзя забыть

***В комиссарском кожаном портфеле***
***Все еще лежит судьба России.***
***М. Колосова***

В том декабре не зажигали елок
Столица словно вымерла в те дни
Декабрь тянулся бесконечно долог,
Теряя в перестрелках дни свои.

На улицах еще мелькали тени
Испуганных, замученных людей,
Казалось что-то Новый год изменит
В тяжелой смуте налетевших дней.

Столица задыхалась от расправы
Тогда расстрелам потеряли счет
И он пришел, жестокий и кровавый,
В историю вошедший, Новый год.

И мир не знал, что в Северной столице
Родилась тьма и заглушая свет,
Вписала горькие и страшные страницы
Для всей земли, на много долгих лет.

## ЦАРСКАЯ ГОЛГОФА

Сырой подвал...сквозь узкое окошко
Фонарный свет зигзагами лучей.
Голодная, взъерошенная кошка
Мяучит жалобно и жмется у дверей.

На стенах плесень серыми тонами
И паутина пыльная в углах.
И кошка смотрит желтыми глазами.
И в душу зверя заползает страх.

Вот, в полумраке копошатся тени:
Шуршанье платья...шепот голосов...
Встают в величьи царственном виденья
Прошедшей яви, а не жутких снов.

На петлях дверь скрипит.Врывается проклятье
И ругань разрезает тишину...
И кто-то стройный в забелевшем платье
Прижался с криком к узкому окну.

И выстрелы...и громкий стук приклада...
Девичий шепот: — Папочка, прощай!
И голос кроткий—Господи, так надо!
И грубый смех, глумление и брань.

И тишина...ни возгласа, ни вздоха...
И смотрит луч дрожащий фонаря
Через окно на жуткую Голгофу
Последнего Российского Царя.

Вот кошка жалобно в клубок у двери сжалась,
Фонарь в предчувствии рассвета замигал.
И утро тусклое и мутное пробралось,
Сгоняя сумерки в Ипатьевский подвал.

# Мне ли подвиги...

Средь пустого сумрачного зала
В детстве я о рыцарях мечтала.
И бывало грезилися мне...
Поле битвы...города в огне...

Звон мечей мне слышался повсюду,
Думала, что я бесстрашной буду.
Убегала я в в затихший парк
И себе казалась Жанной д'Арк.

Годы шли...нет маленькой девченки,
Что тогда смеялась звонко, звонко.
Выросла...и черной полосой
Жизнь моя ложится предо мной.

Годы юности от страха почернели...
Помню рыцарей в изорванных шинелях;
Их сердца огни войны спалили...
Гибли они...милые...святые...

Помню...степи...городок военный...
Революция...предательство...измена...
На всю жизнь в сознаньи прогремел
Чей-то голос жуткий: «на расстрел!»

Тучи темные далекого изгнанья,
Но все также битвы сердце манят,
Только далеко родимый парк,
Не мечтаю я стать Жанной д'Арк.

И себя не назову бесстрашной,
Подвиг детской грезой не прикрашен.
Подвиги я видела сама...
Подвиг—это голод и тюрьма.

В жизни много рыцарей встречала:
Это те, кто может без забрала
Посмотреть пред смертью, до конца
В тусклую усмешку подлеца.

Годы юности от страха почернели,
Помню жуткие слова: «убит...расстрелян»
Мне ли девочке, любившей старый парк,
Стать для Родины великой Жанной д'Арк?

# Золотое детство

Золотое детство, золотое:
Взлет качелей в солнечном саду,
Аромат сирени и левкоев,
Бег коньков на ярком, зимнем льду...

Пасха, под ликующие звоны,
Дни, как голубые мотыльки.
Свет лампадки в детской, у иконы,
Ласка нежной, маминой руки...

Наше детство с золотым не схоже—
Нам досталось «выжить», а не жить.
Наше детство незабвенно тоже,
Нам его в тома не уложить.

. ..Отголосок орудийных громов,
Тени отступающих солдат,
Рев толпы на площади за домом,
Грабящих разбитый винный склад...

Так открылась первая страница
Золотого детства...а за ней
Потекли кровавой вереницей
Годы отступлений и смертей.

Ласку мамину мы тоже знали,
Жались к ней. Но сколько, сколько раз
Детскими сердцами отмечали
Слезы в глубине любимых глаз.

Были и у нас свои игрушки,
Свой мирок—немножечко другой
В те года, когда в окне теплушки
Степь сменялась темною тайгой...

У оставшихся иное детство было...
Сколько их прошло сквозь лагеря,
Скольких расстреляли, погубило
Грозное дыханье Октября.

Мир тогда был нем и равнодушен,
Отдыхал от горестей войны.
Сколько раз «Спасите наши души!»
Слышалось с Российской стороны.

С.О.С. На этот клич на море
Каждый пароход спешит помочь.
На десяток лет, на наше горе
Отвечала грозным мраком ночь.

Дни прошли...Охваченный пожаром,
Зараженный тою же чумой
Шквал пронесся над Европой старой
Беспощадной страшною войной.

Словно мир покинут Богом ныне,
Словно души потеряли мы...
Веет над безжизненной пустыней
Дуновенье страшное чумы.

Много, много громких слов слыхали...
Стоит ли набор красивых слов,
Жизни тех людей, что погибали
В лагерях, в развалинах домов,

Жизни, что десятка лет короче...
Жизни, что познали только страх—
Жизни тех людей, чей список точный
Где-то там ведется, в небесах...

И теперь, как прежде, нет покоя
Грозен лик у будущего дня.
Золотое детство. Золотое—
От багровых отблесков огня.

# Последнее

Мы знаем, что слезы и боль не помогут,
Без Родины юные годы прошли.
Великие таинства, данные Богом,
Истрачены нами для чуждой земли.
И вот мы не падаем.Просто, без стона
Пытаемся в жизни бодрее идти.
И наша страна, чудотворной иконой,
Мерещится нам на тяжелом пути.
И, если на Родину выведут тропы
Бессчисленных наших потерь и побед.
Мы ей отдадим, как последнее, опыт
Скитальческих темных и трепетных лет.
У родины вашей попросим немного:
За наши печали, за боли, за страх—
Попросим смиренные, именем Бога,
Земли для могилы в родимых полях.

*
* *

Так много лет прошло и, кажется, что это
Был только сон, что реки и поля
Мечта, приснившаяся русскому поэту,
Нездешняя миражная земля.

Что было все не так, быть может лучше было,
Что не найдешь сейчас забытые пути,
Что это только крест, который до могилы
Нам суждено судьбой и изгнаньи пронести.

И только иногда, в каком-то полусвете,
В игре теней, в мелодии, в словах
Тоска нездешняя...как будто бы в сонете
Строфа знакомая, мелькнувшая едва.

За тридцать лет мы позабыли краски,
За тридцать лет мы исказили речь
И только музыка, царевною из сказки,
Как лейт мотив сумела все сберечь.

Как страшно думать, что потом, сквозь годы,
Когда столетья принесут покой,
Потомкам нашего великого народа
Покажется наш слог ненужный и чужой.

И наше творчество лампадой негасимой,
Горевшее в изгнаньи маяком,
Оценят: непонятные картины,
Поэмы писанные странным языком.

Оторванность...По памяти, вслепую
Мы создавали бережно, как храм,
Всю эту цепь, быть может неживую,
Как фантастическую сказку золотую,
О той стране, что только снилась нам.

## Борису К.

Нет, не любовь, как в юности слепая,
Порывистая, смутная порой,
Такой любви я больше не желаю,
Она прошла, как туча грозовая
Над опаленной молнией душой.

Оплаканы, зачеркнуты, забыты
Миражные, обманные слова
Их победили тихие молитвы,
Душа очнулась от тоски изжитой,
От бури огненной, где выжила едва,

С чужой душой я больше не колдую
И, если только хочешь правду знать,
Я отдаю тебе не ласку поцелуя,
Быть может не любовь, а бережностъ такую
Сердечную, где слов не подобрать.

*На смерть Государя Императора Александра Второго*
*1 Марта, 1881 г.*

Гранитный город не встревожен,
Спокоен как всегда гранит.
Но шепот вестью осторожной
По шумным улицам скользит.

И наростает и грозою
Гремит, как гулкая пальба...
Своей гримасой вековою
Смеется русская судьба.

...На площади...убит...врагами...
Кто? Боже, Родину спаси!
Доколе будет гнев над нами,
Доколь нам горе выносить!

И напряженность в скорбных лицах,
И горе едкое, как гарь...
В туманной, северной столице,
Убит подвижник Государь.

Сжигает душу боль невзгоды.
Но для потомков сохраня
Россия пронесет сквозь годы,
Печаль подвижника Царя.

*
* *

Сотни лет назад...в степях бескрайних,
Где поныне шелестит ковыль,
Зародился наш напев печальный,
Стародавняя возникла быль...

Может быть, в степях, из городища
Странник шел на блещущий восход,
Пел про то, как вольно ветер свищет,
Как трава растет...как степь поет...

В песнях, что слились в напев единый
Про поход, про Игореву рать
Русское искусство зародилось,
Чтобы вечным и великим стать.

По Днепру до самого до моря,
Проплывали узкие ладьи...
Пели гусли, с жаворонком споря,
Про былины, прожитых годин.

Христианским светом озаренный,
Встал наш край и духом укреплен,
Поднял, как прекрасные знамена,
Храмов зодчество и красоту икон.

---

Века, века вложили гений свой
В искусство музыки, изображенья, слова,
Весь мир прошла победную тропой
Культура русского, прекрасного былого.

И не страшны ни грозы, ни война,
Ни потрясения уродливого века...
Они живут в веках, великие слова,
Созданье русского, простого человека.

И гений русский там, в родной стране,
Сгибаясь до земли под гнетом современья,
Душой свободною попрежнему творит
И укрепляет творческие звенья.

Все минуло...нашествие татар...
Москва сожженная прикосновеньем галла...
Уйдет и наших дней невиданный угар—
Невежества и рабства и развала.

Дух жив...И никогда во веки не умрет.
И русская душа сквозь бурю непогоды,
Возводит творчества хрустальный свод,
Незыблемый на годы и на годы.

# Полынь

Я вдаль гляжу за грани новых дней,
Как в глубину бездонного колодца.
Года пройдут. На Родине моей
Жизнь мирная, по-прежнему забьется.

Для молодости прошлое пустяк,
Для молодости выросшей удачно,
Им будет чудиться, что было вечно так,
Быть не могло и не было иначе.

О наших странствиях по городам чужим,
Как приключения, прочтут с улыбкой.
И революция развеется,как дым,
Как историческая страшная ошибка.

Но сердцем только редкие поймут,
Как мы боролись, верили, любили...
И с горьким сожалением вздохнут
О том, что мы без Родины прожили.

И будет памятник, поставленный в Москве
Иль в Питере, воздвигнутый не нами,
Как прошлого страдания завет,
Крест на могиле русского изгнанья.

И в день освобождения страны
Из года в год, как в праздник Воскресенья,
Как в светлый день разбуженной весны
Россия будет преклонять колени.

Слова о будущем спокойны и просты,
Для нас, изгнанников, теплы и святы.
И будут приносить молитвы и цветы
К подножью памятника, отмечая дату.

И, если я случайно доживу,
До той поры, когда изгнанье минет,
Я на дорогах пыльных соберу
Сноп горькой, опьяняющей полыни.

Пусть будет жизнь по-прежнему проста,
Пусть будет будущее солнце краше,
Полынь, положенная мною у креста
Напомнит горькое изгнанье наше.

* * *

Погибли в страшной буре мировой:
Расстреляны, замучены, убиты
Из их имен составлен длинный свиток,
Записанный спокойною судьбой.

И летописец будущих столетий
Быть может, на пергаментных листах,
В спокойных строках на века отметит,
Прошедших дней смятение и страх.

В словах, как летопись ведется, величавых:
О смуте, взвившейся над русскою землей,
О воинах, принявших смертный бой
И увенчает их немеркнувшею славой.

Про тех, кто выжил в эти дни войны
Полуслепой, измучен и изранен,
Несет свой крест далекого изгнанья
В бездушных городах чужбинной стороны.

В селеньях Божьих, где различья нет,
Пройдут тропинкой горною спокойно
Убитый командир, расстрелянный кадет,
Замученный годами пытки воин.

**Да будут в памяти их святы имена**
Пред их могилой преклоним колена
И в будущем великая страна
Их увенчает славою нетленной.

# Молодка

Шаль накинула я с палевой каймой,
Любоваться вышла полною луной.
Осень ранняя пахнула мне в лицо
И присела я на низкое крыльцо.
Отчего мне нонче не до сна,
Растревожила проказница луна...
Из-за облачка смеется то и знай...
—Ты, луна, меня молодку не замай!
Что ж, что муж уехал на войну
И оставил на селе меня одну...
Хотя давеча я вышла в хоровод,
Просто, чтобы глянуть на народ,
Что ж, что молодой сосед Корней,
На селе красивей всех парней...
На него я вовсе не гляжу,
Вышла я случайно на межу,
Я несла для свекора обед,
И беды особой в этом нет,
Коль меня он в поле повстречал,
До села обратно провожал.
Он мне даже вовсе незнаком,
А зашел, намеднись, вечерком,
Про покос осенний расспросить,
Да воды из ковшика испить,
А что стала я повеселей,—
Это так болтают на селе.

*
* *

В детстве тройки разбег бубенчатый
Полюбился за быстроту.
Вспоминаю жизни изменчивость
Сквозь душевную пустоту.
Было весело в мягкой полсти
Кутать ноги в пушистый мех...
Растеряли мы свою молодость,
Растеряли радость и смех.

Не успели на родине вырости.
Не успели счастье узнать—
И кому-то, как злую жимолость
Нас понадобилось сломать.
И теперь...все пути исхожены...
Нашу бодрость сожгли до тла...
Слишком много нам было вложено,
Слишком мало нам жизнь дала.
Видно, Кем-то Свыше указанный
Этот путь несроненных слез.
Мы больны душевной проказою,
Но излечит ли нас Христос.
И осталось...жизнь в одиночестве.
Словно тройки неровный след.
К сердцу накрепко приторочена
Память детских далеких лет.
И сквозь эту вот жизнь усталую.
Словно отблеск прожитых дней,
Нам мерещутся зори алые,
Точно ночью вправду видней.
Помолиться дорогой позднею,
Как волхвы, идти до зари...
Может вспыхнет за дальними звездами,
Та, что вновь озарит весь мир.

## Сан Франциско

На зеленых холмах бесконечные зданья
Небоскребов, стремящихся в звездную высь,
Монастырских таинственных стен очертанья,
Где дороги и тропки узором сплелись.

Словно белые домики в зелени сада
Разбежались к волне океана дома
И белеют старинных домов балюстрады...
Город шума и блеска, видений и сна.

Там, где были ранчо, где таинственной далью
Любовались пришельцы чужих городов,
Грозно высятся здания, кованной сталью
Разрезают волну миллионы судов.

А на скалах, как символ промчавшейся лени,
Где шумит океан, где рокочет прибой,
Выползают на солнце погреться тюлени
Не взирая на грохот и шум городской.

Вечерами огни городов бесконечных,
Словно звездный узор отраженных небес,
И, как символ покоя, ушедшего в вечность,
Бесконечного парка задумчивый лес.

## Голубые корабли Вселенной

Так ничего не ведаем, не знаем,
А думаем, что мы творцы всему

И эта ночь беззвездная, глухая,
Бросающая покрывалом тьму,

Что в том, что мы расчитанным полетом
Коснулись до полей неведомой луны—
Над нею также миллиардным счетом
Разбросаны огни иной страны,

Нам недоступной. И никто не знает,
Что там за тьмой. И, может быть, вдали
Иные существа неведомого края
Спускают голубые корабли.

И, может быть, нашествие Вселенной
Приблизилось за миллионы лет...
Законы сдвинутся...и цифры станут тленны,
Изменится движение планет.

И мы сгорим, как пламя голубое,
Кометной вспышкою прорезав тьму.
И станем только тусклою звездою,
Ничтожной искрою, ненужной никому.

# Наш Храм

**КО ДНЮ ОСВЯЩЕНИЯ СВЯТО-СКОРБЯЩЕНСКОГО СОБОРА**

Издавна в России нашей люди
Шли, благословясь, путем далеким,
Русскими лесами, бездорожьем,
Русскими безбрежными полями,
На созданье храмов собирая.
По копеечкам, по грошикам на храмы.
Не страшась ни слякоти осенней,
Ни палящего лучами солнца,
Ни мятелей, ни буранов вьюжных.

И росли, росли по селам нашим
Храмы Божии, как Божьи свечки,
Возведенные простым народом
На гроши, на медные мирские.

Так и здесь, в далеком Зарубежье,
Приступили мы к строенью храма
И благословил нас наш Владыка,
Правящий в те дни, на наше дело.
Трудно было дело построенья,
Шли упорно, твердо веря в чудо,
Никаких препятствий не стращася,
Начали свой сбор средь православных,
Верили, что хватит, хватит силы,
Хватит веры Божий дом построить.

Налетали дождь и непогода,
С ног сбивали...пропастью грозили...
Но приехал к нам из стран далеких,
Пастырь наш, молитвенник великий.
И с его святым благословеньем
Шли дорогой той мы с верой в Бога,
Шли прямой дорогой неизменно,
Не сворачивая, не пугаясь.
Зная, что строенье храмов Божьих
Господом в века благословенно.

Вырос храм наш. Купола златые
Поднялись над синью океана...
Наш строитель, пастырь наш смиренный
Не дожил до света освященья...
Вечным сном покоится он ныне
В Усыпальнице, под спудом храма.

И святую тяжесть построенья
С рук его, с такой же верой в Бога,
Принял наш теперешний Владыка
И закончил с ласковой заботой
Украшенье нашего Собора,
И, святое дело продолжая,
В этот час призвал он нас всех вместе
Помолиться в этот день великий,
В день великий—освященья храма.

Вон он—храм наш, белой колонадой
Высится над нашими холмами,
Золотится яркими крестами,
Вымоленный, выстраданный нами.

В сердце ширятся слова молитвы,
Нашей благодарности великой,
Что Господь помог не оступиться
И не утерять святую веру,
А спокойно, просто и не лживо
Храм Его воздвигнуть на чужбине,
Памятник великий Православья,
Наших душ святое упованье,
Нашей веры и оплот и сила...
Господи, помилуй нас смиренных.

# Чудо

И сердце неустанно верит в чудо...
Когда блеснут кресты на куполах,
И зазвучат торжественно повсюду
Пасхальной службы вечные слова—
В ту ночь, сойдет по светлой воле Неба,
Лампадами зажжется над землей
Свет примирению. И кто бы, где бы не был,

Потянется к нему измученной душой.
И озарит нас светом пониманья,
И мы впервые до конца поймем,
Как суетны и битвы и желанья
На той земле, где временно живем.
Не нужно ни имен, ни почестей, ни славы...
Душа одним желанием полна:
Смотреть на этот купол величавый
И повторять молитв смиренные слова,
Всем до конца понять, как суетны и ложны
Все перекрестки жизненных дорог,
И в жизни чувствовать себя, как в храме Божьем,
Где в душу смотрит нам, распятый нами, Бог.

## А сны всё те же

То далекое, милое прошлое
Не забуду, хоть век проживу,
Когда было все лучшее брошено
И исчезло в кровавом дыму.

Когда в окнах теплушки стремительно
Пробегали леса и луга...
Густо- хвойно-зеленая снится нам
Бесконечная наша тайга.

Тяжела на чужбине бессоница,
Как о счастьи мечтаешь о сне,—
Только в снах выхожу за околицу
По тропинке знакомой, к сосне,

Заберусь в ее ветви смолистые,
Надышусь ароматом весны.
Только редкими, яркими искрами
К нам приходят желанные сны.

Жизнь, как травы душистые, скошена,
Ни пути, ни дороги назад.
И зовет пролетевшее прошлое,
Как любимый, сиреневый сад.

# У моря

*Наташе Ионт*

Пройти до скал и, не смотря назад,
Где пестрая толпа, с трескучей болтовнею,
Смотреть, как вспыхнул полымем закат
И гребни золотит под брызгами прибоя.

Причудливые хлопья облаков
Все в золоте блеснувшего заката —
Вон там, как сказочный, неведомый чертог,
Здесь, как чудовища, огромны и косматы.

А вдаль глядеть- безбрежность и покой,
Ласкает взор простором бесконечность
И, кажется, что каждый шаг земной
Прибоем волн подслушан и залечен.

Заботы дня, ненужные слова...
Все потонуло, отошло, забыто,
Осталась только неба синева
В одно с морскою синевою слита.

1978

# Память

Не зачеркнуть и не забыть тех дней,
Когда мы были молоды с тобою,
Когда казался каждый день ясней
И ослепительней под дымкой голубою,

Что простирал над нами небосвод.
В победу верили и не боялись бури,
Движенье каждое вело вперед...
И если путь был мрачен и нахмурен —

Мы верили, мы перейдем преграды
И даже помощи ничьей не надо.

Так было в прошлом. А сейчас кресты
На пройденных путях, любимые могилы
Друзей, которых знали я и ты,
Кто сердцу был и ласковым и милым...

И все-таки, нам дорог этот путь,
Ниспосланный жестокою судьбою
И в мыслях нет с прямых дорог свернуть
И сдаться перед Роком нам с тобою.

Пусть медленно, спокойно, не спеша
Считает дни уставшая душа.

# Памяти поэта и друга
***Владимира Анта***

Мы не только цветы принесли на могилу,
Принесли нашу память промчавшихся дней,
Дней, когда мы так бережно вместе хранили
Светлый храм поэтической мысли своей.

От утраты и мир нам становится тесен,
Словно трудно дышать, словно воздуха нет...
Никогда не услышим поэмы и песни,
Что слагал вдохновенно любимый поэт.

Пролетят над могилой залетные птицы,
Озарит ее солнечный луч золотой,
Лунный свет будет сказочным сном серебриться
Донесет легкий ветер далекий прибой.

И, быть может, как тень, неожиданно, странно,
Нарушая морской, предназначенный путь,
Пролетят над могилой его пеликаны,
Что б в прощальном привете крылами взмахнуть

*
* *

Чуть скрипнула калитка за окном...
На стук знакомый выбегу поспешно,
Укутав плечи вязанным платком,
Тропинкою знакомой за орешник—

Там, где стоит подгнившая скамья,
Где вид на речку, на сады, на поле...
Вернулась будто молодость моя
И старость не стоит у изголовья.

И снова радость потаенных встреч
И сердце стережет знакомый скрип калитки,
И годы сброшены небрежно с плеч,
Вот так, как сбрасываем мы накидку,

Домой вернувшись. Самовар поет,
Весь дымкой пара ласково укутан;
На кресле дремлет и мурлычет кот
Такой пушистый и такой уютный.

Вот так недавно...Только с кресла встать,
В окно взглянуть за темные аллеи
И...счастье прежнее придет опять
И, может быть, еще, еще нежнее.

И снова жизнь расскажет старый бред,
Такой чудесный бред сентиментальный
Про то, что отошло за много, много лет
И скрылось в сумерки аллеи дальней.

# Размеренность

Спокойный ритм старинного стиха,
Войди в мои немеющие строки.
Пусть будет песнь размеренно тиха,
Как шепот вод, как голос звезд далеких.

Степенность строк, тоску переборов,
Помогут жить надменно и спокойно.
Есть много вечного в напеве строгих строк,
В размере их отчетливом и стройном
Не сможет жизнь их силу заглушить
И горести напевность не изменят
И в панцырь творчества отчаянье души
Оденет год великих искуплений.

Все вынести, все выстрадать, как Рок,
Дарованный во имя жизни свыше
И перелить в размерность строгих строк,
Чтоб слышал тот, кому дано услышать.

Во имя творчества я жизнь свою люблю
И одинаково приемлю радость с горем,
И улыбаясь тягостному дню
Улыбкой, равной подвигу героя.

А, если радость тихо, не спеша
В окно заглянет таинством влюбленным —
Сорвется гимном огненным душа
В стихи мои непобедимым звоном.

# Христос воскреснет... и земля воскреснет

Нет, не сравню я смелые полеты
За достиженьями в надзвездные миры
С тем трепетом безмерным, безотчетным
Что в Ночь Святую ощущаем мы.

Ничто...ни новые далекие планеты,
Открытые пытливому уму,
Ни найденные наново кометы,
Лучом своим прорезавшие тьму...

Ничто для сердца. Зорко, неизменно,
Совсем иною тропкой, не спеша,
Пытается уйти от достижений тленных
К иным селеньям, мудрая душа.

И в эту ночь, мы безотчетно знаем
Настанет день совсем, совсем иной
В сияньи звезд Его Святое Знамя
Воздвигнется над страждущей землей.

Над нашим миром горестным и грешным
Прольется Истины непобедимый свет,
Земля затеплится сиянием нездешним,
Лампадой Божьею в созвездии планет.

*
* *

Как в зеркале, давно покрытом паутиной
И пылью многих лет, прошедших ни к чему,
Неясный силуэт единственно любимой
Я взором пристальным, как будто обниму.

С зеркальной глубины мне снова в душу глянет
Пригожий майский день в дремоте васильков,
Сотрутся резкие, уродливые грани,
И то, что было, снова явью станет,
Как отраженье прожитых веков.

Родное небо улыбнется ярко,
Блеснет реки родимой синева,
Я знаю, это мне задумчивые Парки
Дарят видения умчавшегося сна.

Им, девам, ткущим жизни паутину,
Ясна моя печаль. и в зеркале моем
Они покажут лик любви неповторимой,
Горящей в сердце пламенным огнем.

Любви, что некогда на берегах Поволжья
Зажглась в душе лампадным огоньком
И не погасла в сутолке тревожной,
А разгорелась вечной волей Божьей
В стихах моих пылающим костром.

*
* *

По лесам, по полям, по пригоркам,
Там, где рощи сквозные берез,
Словно странник с дорожной котомкой,
Шел, воскресший сегодня Христос.

Проходил по дорогам убогим,
По окрайнам больших городов,
Расцветали цветы по дорогам
От неслышных, бесследных шагов.

А на небе, блестя, догорали
Звезды легким мерцаньем свечи,
И деревья в поклоне склонялись,
И молитвой звучали ручьи.

Там, где горы Уральские дремлют,
Где глубокий шумит водоем,
Всю Российскую, скорбную землю
Осенил Он широким крестом.

И...исчез. Словно в небе растаял
Там, где полымем вспыхнул восход,
Только жаворонок песнею славил
На земле Его новый приход.

Есть преданье...что в ночь Воскресенья,
На земле, почерневшей от слез,
По полям, от селенья к селенью
Ходит светлым виденьем Христос.

Он проходит по селам убогим,
По окрайнам больших городов,
Расцветают цветы по дорогам
От неслышных, бесследных шагов.

## *Борису К.*

На первый день Пасхи, ты в дверь постучишь,
Я буду тебя ждать...
Сейчас ты упорно не пишешь—молчишь,
Всего только месяц, а кажется пять.

Войдешь и улыбкой подаришь, как Крез...
И я посмотрю в глаза...
И радостно скажешь: «Христос Воскрес!»
Не буду я знать, что сказать.

И я по обычью губами прижмусь
Три раза к любимым губам,
Я встречу и жду и хочу и боюсь,
Но встречу другим не отдам.

На Пасху случается чудо чудес
И чудом ты будешь моим.
Слова первой встречи «Христос Воскрес!»
С тобой на всю жизнь сохраним.

# Шелест дней

Из прошлого не вычеркнуть ни слова,—
Пусть все что было, сохраним святыней,
Как плеск волны Байкала голубого,
В его глубинах отблеск неба синий.

Как шелест дней у юности далекой,
Когда победа близкою казалась.
Пускай сейчас зачеркнутые строки,
Опустошенность к старости осталась.

Не нами были выбраны дороги,
Нам этот жребий свыше был назначен.
Что ж, подведем давнишние итоги,
Надеждам, пораженьям, неудачам.

И, стиснув зубы, может быть бледнея,
Я принимаю весь свой путь минувший,
И ни о чем прошедшем че жалею
И не сменю свой крест на чей то лучший.

Я напоследок вглядываюсь снова
Вглубь пережитого за дымкой синей.
Из прошлого не вычеркну ни слова
И все, что было, сохраню святыней.

## Возвращение

День прошел мучительною тенью
И, как в пережитые года,
Поднимаюсь прежнею ступенью
В неизвестность...в вечность...в никогда.

Пусть останутся внизу долины,
Города, с их каменной тоской.
Я опять на лестнице к Любимой,
К незабвенной и такой родной!

Пусть расскажут люди небылицы,
Пусть опять безумьем назовут:
Разве можно вычеркнуть страницы
Непередаваемых минут.

И в скитаньях странника за словом
Ничего мне краше не сыскать,
Чем мои разбитые оковы,
Без которых не могу писать.

Возвращаюсь! Здравствуйте, ступени!
Снова мысли мучают и жгут...
День прошел мучительною тенью
Непередаваемых минут.

# Кисть и перо

*ХУДОЖНИКАМ ОТ ПОЭТА*

Перо и кисть...Когда на кончике пера
Еще не вписанная фраза для сонета,
Когда всю ночь, до самого утра
Встают видения в душе поэта...
Когда художник, нанося штрихи
На полотно, часов не замечает...
А город за окном давно притих
И полночь мерные удары отбивает.

Тому, кто выбрал этот странный путь
Ночного бдения, пронзенного мечтою,—
На будничные тропы не свернуть
И не идти обычною тропою.

Для нас, плененных вечной красотой,
Всегда в искании недостижимой темы,
Для нас вся жизнь с привычной суетой
Проходит, как сюжет для кисти и поэмы.

И сколько неуверенных часов,
Неконченных картин...Оборванных рассказов,
Зачеркнутых и позабытых слов,
Нигде не напечатанных ни разу...

Путь творческий не розами увит,—
Наш каждый час сомненьями измучен...
Картина не живет...поэма не звучит...
Мертвы слова и краски и созвучья...

Кому из нас не ведом горький час,
Когда все кажется ненужно и напрасно...
И все-таки, на творческих путях
Одно мгновенье есть—как Зарево прекрасно...

...Когда та мысль, что с ночи до утра
Жила в душе неизреченной темой,
Ложится росчерком упрямого пера
Последнею строфой написанной поэмы.

...Иль кисть художника свободна и легка,
Незримые для глаз, преграды сдвинув,
Одним движением чуть видного мазка
Вдруг оживляет мертвую картину...

Такой момент в словах не передать,—
Коснувшись высшего, великого блаженства,
Мы можем годы, годы ожидать
Священного восторга совершенства.

Перо и кисть. Как рыцари с сумой,
Мечты своей заветной пилигримы,
Мы бродим, одержимые мечтой,
По этой жизни, творчеством хранимы.

*
* *

На окне серебряные льдинки,
Ветер все свежее и свежей,
Много лет ходили по тропинкам
На чужой, неведомой меже.
И следили, как летели птицы,
Странники, такие же, как мы.
За чужие, дальние границы
Улетали только до весны.
Мы же часто о весне мечтали,
Каждый год считали, каждый год.
Что из яркой, лучезарной дали
Наш корабль за нами подойдет.
И мелькали осени и зимы,
Отмечая в памяти пути.
И теперь мы знаем, что к любимой,
К радостной границе не дойти.
Корабли уплыли...но не с нами,
И без нас промчались поезда.
И померкла где-то за горами
В юности горевшая звезда.
На душе серебряные льдинки,
Ветер все свежее и свежей,
И давно потеряны тропинки
Отгоревшей юности моей.

## *ПОСВЯЩАЮ О. И А. КАПУСТИНЫМ*

Дружба это великий подарок, нам посланный свыше,
Может быть для того, чтобы стало нам жить потеплей,
Дружба, словно дыхание речки к закату притихшей
Дружба, как дуновенье с березовых наших полей

Часто, дни не встречаясь, ты знаешь присутствие дружбы,
Часто слова не надо, чтоб сердцем принять горячо,
Вот, как в битве житейской, так часто призыва не нужно,
Только б ясно и просто почувствовать рядом плечо.

И любовь и влюбленность подчас критикует и судит,
И сгорает в упреках и ревностью чувство сожжет
Дружба все принимает, простит, примирит и забудет
Все ошибки твои. Все падения в жизни поймет.

Мы храним этот дар, нам за что то ниспосланный свыше,
Отвечаем без слов, только легким пожатьем руки
И как радостно в горьком уныньи забот и тоски
В телефонную трубку лишь дружеский голос услышать.

*
* *

Улыбнусь бредовым мечтам,
Нашу жизнь никому не отдам,
Не сменю на жребий иной
Этот жизненный сон с тобой.
Наша юность кажется сном,
Словно поле скошенной ржи.
Нам теперь осталось одно
По хорошему жизнь дожить.

# Город

Может быть, писала б, как и вы,я—
Да дорога за дождями не видна,
Славила б восходы огневые,
Да за окнами соседняя стена.

О лесах сложила б новые былины,
Да сейчас я ель с сосной не различу;
Сквозь тяжелый шелк моей гардины
Не пробраться яркому лучу.

Я пошла бы прежнею дорожкой,
Средь полей, протоптанною мной,
Только в городе, едва ли и найдешь ты
Отсвет этой сказочки лесной.

Вот поэтому давно слиняли краски,
Сроки шумом города звучат,
Все что было ярким и прекрасным
Повторяю только наугад.

# Светлое слово

Замело наши души
глубоким, холодным покровом,
И не слышим мы часто
грядущей весны голосов,
И осталось у нас
только Слово, прекрасное Слово
Из бесчисленных, данных
нам в юности Божьих даров.
Равнодушно следим
за крушением лучших видений,
Равнодушно проходим,
не видя страданий людских.
Безразлично нам ночь
наступила ли, день ли —
Мерно будни листаем
в обычных заботах своих.
Словно что-то погашено
в душах больных и усталых,
Словно мир стал иной:
неприветливый, страшный и злой,
И то солнце, что в юности
наши пути озаряло,
Навсегда закатилось
над горькой, печальной землей.
Суетимся, враждуем
на нашей несчастной планете,
Заменяем идеи
мышиной вознёю в пыли...
И не видим, что звезды
все так же в причудливом свете
Шлют сиянье с небес
на слепое пространство земли.
Забываем, что жить
нам осталось недолго, немного
И осталось у нас
из бесчисленных Божьих даров
Только слово,
прекрасное, чистое, светлое слово,

Что так часто теряем
в потоке бессмысленных слов.

## В усыпальницу к Владыке

Прожив часы заботы и труда
И спешки, постепенно жизнью ставшей
С опустошенною душой туда...
Где мир и тишина и где не страшно,
А радостно...туда, где новый храм,
Где золото кустов горит в лучах заката,
Где каждый уголок напоминает нам,
Что было нами прожито когда-то.

Знакомыми ступеньками...они
Исхожены прошедшими годами...
И вот из коридорчика, из тьмы
Войти туда, где скорбными очами
Глядит на нас Владычица. Покров
Простерт над гробом и простерт над нами

Такая тишина...безмолвие..покой...
Стоишь у гроба, преклонив колени
И свет лампад, как отблеск золотой
Ложится на ковры причудливою тенью.

Пойти туда, чтоб в сердце затеплить
Огонь прощенья, жалости, привета.
Все выстрадать, все выжить, искупить
И путь с тобой идущим осветить
Огнем, зажженного молитвой света.

Идти оттуда и нести покой
И тишину в душе, молитвой полной.
И в сердце свет дрожащий, неземной,
Как свечку прикрывать чуть дрогнувшей рукой,
Чтоб донести огонь до дому.

*
* *

Думаете слава нам нужна.
Может быть о ней мечтали в детстве.
Может быть мечтой опалена
Нам она назначена в наследство

От каких-то предков, что стихи
Виршами старинными слагали.
Этот бред давно уже утих,
Мы в изгнание его не взяли.
Прогреметь по свету, догореть
Как костер, зажженный исполином.
Прозвучать, как дрогнуашая медь,
Все преграды на дороге сдвинув.

Все это не нужно. Не о том
Думается в старости ночами...
Вот кому-нибудь приснится сном
Уносящим горе и печали.

Взять из сердца нежные слова
И отдать тому, кому тревожно.
Лаской осязаемой едва
До души коснуться осторожно.

Бережно лампадой пронести
Творчество, как ласковую дружбу
Это все, что надо на пути,
Только это в нашей жизни нужно.

## Предел

Когда блеснет разгаданная вечность
Зарницей догорающих костров,
Заменят оплывающие свечи
Горенье дня и сумрак вечеров.

И руки, сложенные напоследок,
Остывшее пожатье сохранят
И жизнь уйдет...Сраженья и победы,
Как «память вечная» забвеньем улетят.

Дай Боже, каждому с последнею зарницей,
Блеснувшей молнией прощальною в глазах,
С землей прекрасной искренне проститься,
Забыв и боль и трепетность и страх...

Чтоб встречная разгаданная вечность
Была спокойной мудрости рассвет...
А в жизни оплывающие свечи.
А в жизни прожитый, неуловимый след.

## Замедлен сердца темп

Замедлен сердца темп. Неотвратимо, явно
Усталость, безразличье ко всему...
И тянет тишина уютного дивана
И клонит иногда к таинственному сну.

То жизнь идет походкою послушной,
Приблизившись к неведомой черте,
Где чем-то сменится глухое равнодушье,
Возникшее в житейской слепоте.

А в небе солнце яркое сияет
И также зори по утрам ясны,
Как в дни, когда вставала золотая
Заря моей шестнадцатой весны.

И только все церковные напевы
Сейчас значительнее для души звучат
И нет пути ни робости, ни гневу
В мой примирюящий закат...

# Одно слово

Давайте вспоминать...Вот там, где сеть аллей,
Запуталась и подошла к забору,
Где старый клен на солнце заалел,
Тропинка узкая ведет до косогора.

Зеленою травой, как шелковым ковром,
Оделися поля. Дорогою зеленой
Пойдемьте по грибы. Наверно соберем
Лукошко полное и белых и масленок...

Ведь здесь у нас, совсем невдалеке
Лес лиственный, а дальше бор сосновый
Раскинулся шатром, сбегается к реке
И с южной стороны подходит прямо к дому.

Бывало утром окна распахнешь
И веет свежестью и хвоею сосновой.
С востока ряд берез, как в играх молодежь,
Сбежались и глядят в окно моей столовой.

Такая тишина...такая благодать...
Как будто молится земля молитвой тихой.
Вот солнце медленно начнет вставать
И рассыпать своих червонцев блики.

И сразу лес очнется, запоет
На миллионы радостных напевов
И яркий день торжественно взойдет
В венке из золотых колосьев спелых.

Сейчас я обойду любимый старый дом,
Где скрип дверей звучит мелодией воздушной.
Давайте снова в детскую войдем,
Где няни воркотня, где брошены игрушки...

Вот кубики...по ним и букварю
Мы грамоте учиться начинали,
Названья городов, фамилию свою
С какою гордостью складами подбирали.

Вот мишка плюшевый, на елку привезли
Его в подарок нам из заграницы.
Как стерся он...в забвеньи и в пыли...
Так выцветают карточки и лица.

К концу пути. И трудно разобрать
Средь пятен выцветающей картонки,
Что это сняты вы, когда вам было пять
Вдвоем с давно умершею сестренкой.

Мне очень хочется с тобою унести
Вот эти кубики с знакомым алфавитом.
Чтобы в конце житейского пути
Попробовать сложить то слово, что забыто,

Забыто многими, зачеркнуто давно
И произносится сейчас совсем иначе,
За что нам в жизни было суждено
По странам разным без конца маячить.

Ищите...ничего, что пожелтел картон
И буквы выцвели, как все на этом свете,
Я думаю мы все же подберем
Все буквы, чтоб сложить, как раньше на паркете,

В своих сердцах. Шесть кубиков и вот
Весь смысл того, что годы выносили,
Все, чем душа пока еще живет—
Так четко сложено из кубиков: Р о с с и я.

# Молодости

Молодость, постой! Не уходи же!
Сядь со мною, наклонись поближе. ..
Повтори беспечные мечты,
Что когда-то обещала ты.

Помнишь задушевные беседы
О борьбе, о будущих победах?
Помнишь ли, как шопотом лукавым
Обещала радости и славу?

Были все слова твои прекрасны,
Напряженны, страстны и...опасны.
Колдовством заманчивым и лживым
Душу навсегда заворожила.

Отчего уходишь ты бесследно,
Не оставив ни одной победы,
Отчего к другим уходишь ты,
Не оставив ни одной мечты?

Что тебя пугает? Охлажденье?
Боль души? Ирония? Смиренье?
Или седина в моих кудрях
На тебя навеивает страх?

В сердце тихое желание покоя...
Помнится, сулила ты иное...
Неотвязно, властно и лукаво
Обещала и любовь и славу...

Не сбылось...Ну, что же—отмечталось...
Все же в памяти моей осталась
Ты, как яблоневый вешний цвет,
Как последний утренний рассвет.

*
* *

Перебирая вещие слова
И слушая знакомые созвучья,
Душа опять надеждою полна

В победу в мире лучшего из лучших.
Родное творчество! Оно горит огнем,
Оно в сраженьях прибавляет силы;
Мы даже в будни только им живем,
Его несем навеки, до могилы!
Нетленны памятники творческих побед
Поэзии и композиций вечных,
В словах их негасимый свет
Столетьями в истории отмечен.
Мелькают в жизни новые слова,
Гармонию сменят какофоньей,
Как-будто творчество затмила мгла,

Как-будто бредит новый век и тонет
В болоте извращений всех идей,
Ведущих к гибели, к падению, к позору...
Мираж. Как в небе светятся сильней
Сквозь тучи звезды пламенным узором,
Так и сквозь тьму звучит победный звон
Слов вещих, музыки, гармонии и силы.
И как бы ни был век в паденье погружен,
Дух чувствует, что правда победила.
Что не затмить минутной мишурой
То, что зовет к нездешним вдохновеньям...
Душа идет нетленною тропой
К великим и победным откровеньям!

## Старость

Это неправда, что в старости жизнь безлюбовна,
Память укутана снегом, душа замерла...
Также, как смолоду, ум непрерывно взволнован,
Пусть сединой и морщинами лгут зеркала.

Под гору путь часто кажется горек и труден,
Вехами кажутся дни неизбежных утрат...
Только...нежней и мудрее становятся будни
И проницательней с юности пристальный взгляд.

Также опавшие листья взметает и кружит
Ветер осенний и тени длинней над рекой...
В небо вглядишься, оно и прозрачней и глубже
В душу вливается светлой своей синевой.

В старости те, кого любим, понятней и ближе,
Сердце ошибки прощает, падениям счет не ведет
Радости сердце, как жемчуг, на нити нанижет,
Как драгоценность навек, до конца сбережет.

Щедрая память нам наново все воскрешает,
Жизнь, озаряя прекрасным закатным лучом...
И от любви, как весною цветы расцветают
И не снегами, а полем цветущим идем.

*
* *

Смотрите, как в пастельные тона
Творец окрасил оперенье птицы,
Как в броню серую одел слона,
Огнем зажег пушистый мех лисицы.

Какое море красок и цветов.
В полях, в лесах; серебряные искры
В играющей волне, взбежавшей на песок,
В осоке над прудом, склоненной низко.

Весь мир, как дышащий цветами сад,
Залитый солнцем или блеском лунным...
А мы тысячелетия подряд
Все также в этом мире скудоумны.

Все также злы и не умеем жить,
Стараемся разрушить иль поправить:
Симфонию прервать, теченья изменить
Своими грубыми и дерзкими руками.

# Незримому.

На закате дни идут иначе,
По иному блещет звездный свет,
Мы с тобой об этом не заплачем,
Мой, нигде не встреченный поэт.
Я не знаю, кажется порою—
Все слова, пропетые в душе,
Были раньше сложены тобою
Лучше и звучнее и свежей.

Так сумел ты написать про чудо
Так, что каждый ждал его приход,
Что слова горели изумрудом,
Пламенели ярче, чем восход.

Гимном радости, стремленьем к взлету—
Слышит их душа моя порой...
И так беспощадны недочеты
Строк, написанных моей рукой.

Так вот смолоду: ты вечный и незримый
Мне читаешь звучные стихи
Про просторы Родины любимой,
Про опасности путей моих.

Молодо, отчетливо и грозно
Наростает неземной мотив,
Кажется, что опустились звезды
Душу в необъятность захватив.

А очнешься, лист бумаги белой
Весь в помарках—бесполезный труд,
То, что мне шарманка прохрипела,
Исказив шопеновский прелюд.

Только где-то в строчках неумелых
Потаенный свет твоей мечты...
Кажется, что это я сумела
Написать, как смог бы только ты.

А теперь вся жизнь пошла иначе
Словно ближе к ночи гаснет свет...
Только мы об этом не заплачем,
Мой, нигде не встреченный поэт.

**Петру Филипповичу Распопову**

Величавы созвучья церковного хора—
Звуковая, идущая к небу волна,
Где сливаются с музыкой дальних просторов
Нашей вечной молитвы святые слова.

С этим пеньем становится чище и ближе
Пониманье великих и тайных чудес,
Словно музыка нити жемчужные нижет,
Как посланница вечных, нездешних небес.

Как внимает природа разлив полноводья,
От дыханья пришедшей весны присмирев,
Так в душе мы не сыщем прекрасней мелодий
Чем Пасхального гимна победный напев.

В катакомбах тогда, на заре нашей веры,
И в любимо молитв, в потаенных церквах,
Тоже пенье мо́ литв беспредельно, безмерно
Воскрешало надежду и веру в сердцах.

И становятся думы о будущем строже:
Верим мы наяву, видим это во сне,
Что настанет то время по милости Божьей...
Разрушая безверье, тоску бездорожья
Воскресения гимн прозвучит по стране.

Написано к его
золотому юбилею в ноябре 1984 г.

# Пекин

Высокая, белая лестница к башне,
В кумирню великих богов.
Я яркими красками пестро раскрашу
Узорную сказку стихов.

Резные колонны. На лесенке вышит
Резцами столетний дракон.
И Будда под яркой узорною крышей
Глядит на изгибы колонн.

Глаза золотые на солнце мерцают,
Глаза его смотрят в упор.
Забытую мудрость большого Китая
Замкнул в себе пристальный взор.

Когда-то входили сюда богдыханы
Склонялись в молитве пред ним...
И падал безумец к ногам бездыханный,
Сраженный безумьем своим.

Когда то по этим холодным ступеням
Молиться ходил Чингис-Хан,
Для нас он остался далекою тенью,
Властитель исчезнувших стран.

Ему здесь мерещились дальние сопки
Богатой славянской земли,
Победу просил он смиренно и робко,
А дни беспощадные шли.

Погиб он в далеком, спокойном просторе,
Курган его сон сторожит,
А Будда-свидетель победы и горя
Все также спокойно молчит.

Узорная башня. На мраморе сложен
Видением сказочным храм.
Никто его мирный покой не встревожит,
Он верен прошедшим векам.

Все также он будет смотреть на столетья.
У Будды молчанье в глазах—
Блестят они золотом в призрачном свете,
Они не тускнеют в слезах.

Забытая сказка большого Китая,
Ушедшая мудрость веков...
В кровавом столетьи мы сказок не знаем
И нет у нас сказочных снов.

*
* *

На востоке солнце встало гневным,
Загорелись страшные огни...
Только б не терять душевность,
Не ожесточиться—в эти дни.

Сохранить бы жалость человечью—
Этот Божий дар живым сердцам.
Иначе и жить то будет нечем
Бесприютным, разделенным—нам.

И, склонясь в молитве пред иконой—
— Смилуйся над нами, надо мной—
Страшно будет жить ожесточенным,
Нам—с опустошенную душой.

Горем и страданием отмечен
Каждый шаг тяжелого пути,
Только бы нам жалость человечью
Как свечу—до дому донести.

Только бы не потерять душевность,
Не ожесточиться в эти дни.
На востоке солнце встало гневным,
Загорелись страшные огни.

*
* *

Так бывает всегда...если горе—то горе без меры,
Без малейшего права хотя бы на миг отдохнуть,
Словно вечер дождливый,как сеткой подернутый серой,
Затянувшийся вечер в дождливую, скучную муть

Если счастье нам выпадет...звонкое, яркое счастье,
То без счета оно рассыпает улыбки свои,
Нижет яркие дни, словно жемчуг на нити запястья,
Огневые, залитые солнцем счастливые дни.

Так бывает всегда. И к победе приходит не каждый,
Для кого промелькнули и радость и горе в пути,
Только тот, кто сумеет сберечь свою душу отважной,
Только тот, кто сумеет бесстрашно к судьбе подойти.

Только тот, кто тяжелую долю свою не меняя
Не бросает креста с обессиленных ношею плеч
Кто, как дар драгоценный всю жизнь, до конца принимает,
Кто усталые годы умеет, как подвиг сберечь.

Молодость, постой! Не уходи же!
Сядь со мною, наклонись поближе,
Дай хоть на минутку пережить,
Что не сбылось и чему не быть!

## И Рождество прошло...

Проходит Рождество...Еще совсем недавно
Весь город загорался от огней
Блестящих елок. Только десять дней
И нет следа от прелести нарядной.

И только у дверей на пыльной мостовой
Валяются стволы с ободранных, печальных
Былых красавиц. Никому не жаль их,
Скрипит их высохшая хвоя под ногой.

Мы, проходя спокойно, равнодушно,
Не замечаем символ этих дней —
Что, погасив блеск елочных огней,
Мы не огни, а нашу душу тушим.

Пусть это только сентимент простой:
Я поднимаю ветку желтой хвои,
Как что-то милое, погасшее, живое,
В грязи лежащее на пыльной мостовой.

Ладони колят хвойные иголки...
А в сердце боль и в трепете душа...
Проходят будни в сутолке спеша...
Какая мелочь... — брошенная елка.

# В Америку

И снова океан пленительный и грозный
И снова бег к неведомым путям
И мы пытаемся вновь угадать по звездам,
Что в жизни выпадет на долю нам.

Мы безгранично, без конца устали—
Мы в бездорожьи юность провели
И младшие из нас лишь в книгах прочитали
Историю своей родной земли.

Последние года—страницы Робинзона.
Зеленый остров...южные моря...
Где вечером, над глубиной бездонной,
Горела заревом вечерняя заря.

От повседневности бивачной, странной,
Когда томила будничная муть,
Мы уходили дальше, к океану,
Чтоб в синей мощи силу почерпнуть.

Что бы хватило силы и терпенья
Прожить нам Роком брошенный удел.
Мы, знающие горечь отступленья,
Мы, для которых заревом горел

Наш край, родной, погубленный пожаром.
Мы, не сменившие тропы своей.
Мы, брошенные бешенным ударом
В рассеянье скитальческих путей.

Этап последний— ширью океана
Плывем в страну свободы и побед,
Чтобы забыть скитания по странам,
Чтоб отдохнуть от этой жизни странной.
Пусть к гавани придет наш жизненный корвет.

И плещет океан, пленительный и грозный,
В жемчужных нитях пенится волна
И ночью темною за далью звездной
Мерещится чудесная страна.

Страна надежд. На острове «терпенья»
Мы грезили о ней бессчетно, без конца,
Чтоб ей отдать и силы и уменье,
И волю к жизни, и свои сердца.

## Раздумье

ПОЭТЕССЕ МАРИАННЕ КОЛОСОВОЙ

А молодость ушла, оставив за собою
Несбывшихся надежд былую мишуру...
И я попрежнему в привычную игру
Играю с присмиревшею душою...

И веря, и надеясь, и любя,
Все, Муза, слушаю внимательно тебя.

Но ты—не та, и речь твоя другая...
Спокойны и размеренны стихи,
Как будто и огонь вдохновенья стих,
И обжигает он, не согревая.

Не уловить победных ноток тех,
Что в молодости к битвам призывали,
И гимнами прекрасными звучали,
И в каждом дне пророчили успех.

У Музы у моей—давно седые кудри,
И взгляд ее по-старчески глубок;
Как плеск волны на золотой песок,
Звучат ее слова—размеренны и мудры.

И новой ворожбе покорная опять,
Как в молодости, безотчетно, смело,
Душа идет к иным, назначенным пределам,
Где надо не надеяться, а знать...

И я попрежнему, и веря и любя,
Все, Муза, слушаю внимательно тебя.

*
* *

Господи, оставь Ты память с нами,
Прошлое от нас не отнимай,
Шелестит путь белыми ветвями
Пережитый, незабвенный май.

Пусть целует солнце наше сердце,
Пусть нам юность снится иногда,
В наглухо давно закрыта дверца
В золотые, прошлые года.

И листая желтые страницы
Дней прожитых в торопливых снах
Хочется о прошлом помолиться
С легкою улыбкой на губах.

Мы бодрее будем, если с нами
Отошедший лучезарный край,
Пусть шумит зелеными ветвями
Нашей юности неповторенный май.

# Жалость

Шелестел листвою ветер встречный,
Узкою тропинкой в гору шла
И казалось сердцу биться нечем
От беззверья, горечи и зла.

Было это в городе, притихшем
От смертельных вспышек в небесах...
Словно к низу пригибались крыши,
Прополэал, туманом серым, страх.

Шла я без толку, дорог не разбирая:
Разве можно было разобрать
На какой нас гибель поджидает,
На какой придется умирать

Нищенка стояла у дороги,—
Взгляд ее припомнился потом—:
Столько было скорби и тревоги
В этом взоре, странно неживом.

«Кто ты, странница? Помочь мне нечем,
Не развею и свою беду».
И слова донес мне ветер встречный:
«Проходи..я—жалость человечья
По миру, бездомная, бреду...»

И ушла. Согнулась от печали,
Скрылась за разрушенной стеной.
В этой буре страшной, огневой
Мы навеки жалость потеряли.

Сердцу стало словно биться нечем...
Грозен солнца нового восход,
Где-то наша жалость человечья
Нищенкой бездомною бредет?

*
* *

Сегодня мне приснился странный сон
В нем не было ни страсти, ни волнений,
Ни моря южного, ни сказочных сторон—
Всех этих признаков мечты и вдохновенья.

Нет, я не видела причудливых цветов,
Садов прекрасных, красочных палаццо,
Всю эту мишуру волшебных снов,
Чем принято поэту заниматься.

Нет...просто так...Опушка у реки,
Пека, как озеро, вся в тине да осоке,
В притихшем воздухе мелькают светляки,
Чуть слышный благовест приходит издалека.

Скамейка старая, приникшая к стволу
Плакучей ивы, наклонившей ветки.
По небу, словно сумраки плывут,
Такой поблекшей, рябоватой сеткой.

И воздух, напоенный тишиной,
Как будто замер навсегда случайно...
И чей-то голос ласково родной
Зовет откуда-то из дома к чаю.
А за рекой раскинулись поля
И засыпают в предночной дремоте
И все...особенным мой сон назвать нельзя
И скаочным его не назовете.

И я не знаю только, почему проснулась вся в
слезах
Хоть совестно признаться.
Как будто это было наяву,
Как будто я могла б не просыпаться.

# ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

# Незримое чудо

Дом как-то сразу притих, замер. Словно не только мы, дети, но и давно привычные вещи стали незаметнее и тише. Не скрипели веселым скрипом на различные голоса двери—бережные руки прикрывали их осторожно, чтобы нечаянным шумом не нарушить настороженную тишину, воцарившуюся в доме.

Началось все это с того печального дня, когда маму привели чужие люди. Упала она в обморок, и так и привезли ее без сознания домой. Зазвонил телефон тревожно и отрывисто, появился доктор и с ним неизменные аптечные пакеты, с длинными языками и таинственными латинскими названиями. Два дня длился обморок, а потом мама очнулась и с тех самых пор говорила, словно во сне, сначала поднялась даже, двигаясь тоже, точно во сне, а потом опять слегла в постель. И воцарилась в доме тишина, полушопот, недоговоренность, мучительное ожидание чего-то, нам, детям, еще непонятного и страшного.

А дни стояли солнечные, повесеннему радостные. Пасха была поздней в этом году. Уже отцвели ландыши и фиалки. В зимнем саду пышно расцветали крупные, яркие гиацинты, буйно разросся овес в ящике, посеянный специально для пасхального стола. Подходила к концу пятая неделя. Возвращались в пятницу вечером из церкви после Погребения, было как-то особенно жутко открывать входную дверь, казалось, там, за этой дверью, в нашем доме, всегда таком солнечном и радостном, притаилась страшная гостья—смерть

Никогда раньше не подходила она так близко, так неотвратимо. А сейчас, казалось, она глядела из каждого угла комнаты, звучала в безразличных, тихих словах больной, шелестела ярлыками лекарств...была всюду—неотвратимая и жуткая.

По привычке, готовились к празднику, пекли куличи, красили яйца, делали пасху, но все эти

приготовления были какие-то механические, без той безотчетной, светлой радости, как бывало раньше.

Маме было хуже, она стала совсем прозрачная за эти дни; любимые, мягкие ласковые руки как-то беспомощно лежали поверх одеяла. Глаза ввалились и тихо мерцали каким-то особым, уходящим светом.

— Мамочка, а мы из церкви!

— Помолились? Это хорошо.

Голос ее был спокойно-безразличный, беззвучный, тоже уходящий.

— Мамочка, ты хочешь, мы тебе здесь устроим маленький пасхальный стол, поставим кулич, цветы — твои любимые гиацинты, лилии? Хочешь?

— Как хотите. Можно и цветы.

Ей было все равно.

— Мама, тебе хуже?

— Нет. Мне ведь совсем не плохо. Просто я очень устала.

Этих ноток в любимом голосе я не могла перенести; бросилась к отцу.

— Папа, надо что-то делать. Что говорит доктор?—впервые заговорила я, словно взрослая, и отец как-то сразу понял эту мою внезапную взрослость горя.

Доктор? Он не может понять мамину болезнь. Говорит, что время покажет. Ты думаешь, маме хуже?

— Да ведь...она...— голос мой сорвался и задрожал от слез: — ведь она уходит от нас. Мама..

Утро не принесло ничего нового Как-то безрадостно, машинально накрывали стол, расправляли складки тяжелой пасхальной скатерти, ставили куличи, завивали тонкие полоски бумаги для украшения окороков и гусей. Все старались делать, как делала мама. Выложили гвоздиками крупные Х.В. на ветчине. Поставили в хрустальные вазы цветы. Каждые полчаса, оторвавшись от работы, на цыпочках подходили к маминой комнате, заглядывали, иногда спрашивали о чем-нибудь совсем постороннем. Мама лежала такая же безучастная, такая же бледная и так же скорее шелестом, чем словами, звучал ее голос.

Смеркалось. Я всегда особенно любила эти часы до заутрени, когда весь дом уже прибран, принаряжен, когда все готово к встрече Великого Праздника. Мерцают разноцветными огоньками лампады, какая-то торжественная тишина ралита в воздухе. Все как-то притаилось, прислушиваясь к счету часов, ожидая великой неповторяемой минуты, когда радостным напевом зальются колокола, и раздастся возглас : «Христос Воскресе!»

Но в эту субботу тишина у нас в доме была пугающая и страшная. И, чувствуя, что я не могу больше выдержать эту неизвестность это неумолимое ожидание смерти, я снова бросилась к отцу:

— Давай позвоним доктору опять!

— Ты знаешь, что наш доктор уехал на Пасху на другую станцию (мы жили далеко от центра, тоже на узловой станции железной дороги).

— Позовем другого доктора. Я слышала, что к нам приехал новый врач.

— Новому доктору неизвестен ход маминой болезни. Вряд ли он поможет.

— Папа, попробуем! Так нельзя больше. Давай попробуем!

Отец молча подошел к телефону.

Было уже почти одиннадцать, когда приехал новый врач. Он вошел как-то особенно бодро и энергично. И почему-то от одной его походки мне стало весело, в душу пробралась какая-то надежда. Я вошла в детскую, опустилась на колени не у иконы, а у окна; в сумраке ночи виднелись купола нашего храма.

Молилась ли я? Не знаю. Никаких слов молитв я не повторяла. Я только, не отрываясь, смотрела на купол и твердила: «Господи! Господи!» Из спальни послышался веселый голос доктора, какой-то его вопрос и мамин голос. Я бросилась к ней. Мама лежала такая же восковая, прозрачная, но какое-то неуловимое движение жизни заметила я в ее лице, какой-то еще неуверенный, еще чуть заметный блеск в глубоко запавших глазах.

— Ну, вот, теперь приподнимитесь немного. Вот так. Нет, легкие хорошие. Что же это вы, в

такие дни? Как можно? Нет, нет! Никакой диэты. Вам надо питание, воздух. Да вот погодите, я дня через три к вам с визитом заеду, вместе будем куличи пробовать...

И такая бодрость звучала в тоне врача, такая уверенность, что мама, я глазам своим не поверила, приподнялась с подушек и не прежним безразличным, а своим голосом спросила:

— Вы правда так думаете, доктор? Правда?

— Ну, конечно, вполне уверен. Был у вас нервный шок. Но он прошел, и теперь от вас зависит быть здоровой. Сегодня вы спокойно заснете. А вы потише, не шумите, когда вернетесь от заутрени: маме вашей нужен долгий, спокойный сон. И завтра—вот увидите, завтра вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

И в это время оттуда, с далекой колокольни, сорвался радостный, ликующий всепобеждающий перепев колоколов. И мама как-то вся потянулась к этому радостному зову победы над смертью.

В церковь я бежала бегом, отец и брат еле поспевали за мною. Церковь, наша церковь вся сияла огнями плошек, разноцветными фонариками, сотнями зажженных свечей.

Я помню слова отца доктору: — Это чудо, доктор! Ведь мы все надежды потеряли! – И спокойный, веселый ответ врача:

— Чудо...Да ведь и ночь сегодня наполнена чудом из чудес!

Я помню потом вполне обоснованные логичные объяснения маминого выздоровления. Нервный шок. Правильный подход врача. Уверенность в диагнозе. Все нервные заболевания лечатся тем, что врач как бы внушает пациенту волю к жизни. Много очень логичных, умных объяснений. Но для нас, для меня, для отца объяснение было одно: **это было чудо**.

Чудо было все. Что я подумала о новом докторе, что я услышала об его приезде. Что пришел он в час, когда уже началась Светлая заутреня. Что с радостным перепевом пасхальных колоколов вошла в сердце мамы воля к жизни. И навсегда запомнились мне слова доктора: «Чудо... Да ведь и ночь сегодня наполнена чудом из чу

дес».

Сколько раз в жизни каждый из нас проходит, не замечая чудес, объясняя их совпадением, случайностью, целым рядом умных и логичных выводов, и подумать не хочет, что именно в этот миг коснулась его благость Господня, та чудесная, неизреченная Божья милость, которую никогда мы не могли понять умом, и которую так легко понимает и чувствует сердце людское.

# Утерянное мужество

Когда задыхаешься от невыплаканных слез жизни, когда от нестерпимой боли темнеет в глазах, в эти минуты мне всегда вспоминается эпизод детства...как маленький солнечный блик на жизненном пути.

——— ———

Яркий ослепительный июльский день. Чашка молока наспех выпита.

Сорван на бегу фартучек и вот я в своем обычном костюме: коротенькие штанишки и широкая белая блузка. Белая потому, что еще только восемь утра. К двенадцати цвет блузы несомненно приблизится к черному няня опять будет сетовать:

— Мальчишка сорванец, а не благовоспитанная девица.

Длинные косы «благовоспитанной девицы» спрятаны под фуражку. Выбегаю на лужайку и, заложив два пальца в рот (только что выученный способ),—свищу пронзительно на всю рощу.

Это боевой сигнал «шайки неустрашимых»; капитан которой я—сама, несмотря на длинные ко-

сы и нарядные платьица, в которые меня рядит мама в праздничные дни.

Нас десять человек. И, конечно, все мальчики. Играть с плаксами девчонками—тоска. Даже на почетную должность сестры милосердия, в нашем боевом лагере не прошла ни одна из сестренок воинов шайки. Вместо: сестры милосердия у нас санитар. Я—другое дело:

Во-первых я никогда не плачу, во-вторых, я капитан и организатор шайки и в-третьих,...в третьих зовут меня совсем не Ольга, а Олег.

А косы—пустяки. У китайцев все мужчины носят косы—это нам достоверно известно из всемирного атласа.

На сегодня назначено генеральное наступление. Крепость—заброшенный сарай. Снаряды—шампиньоны—целых три больших корзины набраны за три дня.

Сабли наточены. Рогатки перетянуты. Мы в полной боевой готовности.

На лужайке—военный совет. Сидим на корточках и обсуждаем план нападения. Мой адъютант Колька Хорев советует идти на приступ со стороны рощи. Но мне такой план кажется слишком прост.

Гораздо интереснее начать обстрел с качелей—военного корабля, а потом ринуться на приступ через забор и тут, кто первый перелезает проволочное заграждение, тот получит производство и георгиевский крест.

— А где ты крест возьмешь?— вмешивается Вася.

— Когда говорит начальство, нижние чины не перебивают.

У нас достаточное количество орденов, чтобы награждать храбрых!

Набиваем карманы белыми душистыми шампиньонными шапками—(няня утверждает, что пятна от этих снарядов очень трудно отстирать).. и начинается обстрел.

Качели летят быстрее и выше. Буря на море. Шампиньоны градом сыпятся на крышу неприятельской цитадели. Карманы пусты.

— На приступ! Шашки вон!

— Ура!—оглушительно ору я первая бросаюсь

к дощатому забору, изрядно усаженному ржавыми, огромными гвоздями.

Кто первый? Все мои мысли сосредоточены на этом. Мы толкаем друг-друга, хватаемся за доски. С треском рвется моя белая блузка. Еще один шаг...Трах...

Доска трещит под каблуками, ломается и что -то остро и больно впивается мне в ногу.

Больно, но раздумывать некогда.

Скачек и я на крыше сарая.

Оглушительное «ура» моих соратников, приветствует победу.

— Что это у тебя с ногой?—забыв всякую дисциплину, кричит Колька.

Тут только я чувствую страшную боль в колене.

Вся нога в крови. Кровь хлещет фонтаном, заливая крышу сарая, туфли, чулки.

Ковыляя вниз и стараясь не показать, что мне больно до слез, небрежно бросаю:

— Пустяки! Легкое ранение. Кажется потерь больше нет?

Колька дергает меня за рукав:

— Идем скорей. Надо же вымыть ногу.

Санитарный пункт у нас рядом с кухней. Санитар Гришка вытаскивает из кармана тряпки и бутылку с водой.

И тут навстречу, очень некстати, попадается няня:

— Батюшки мои! Оленька, да где же это ты! Господи!

Все няньки паничны и глупы. Созвала весь дом. Мама, конечно, ахает. Папа принес огромную бутыль с иодом.

Меня усаживают на стул и тут только я чувствую, как к горлу подкатывается противный соленый ком, а нога горит, как в огне.

— До кости раскромсала, дрянная девчонка, опять по заборам лазила,—испуганно говорит мама, обмывая мое несчастное колено.

Гвоздь, видимо, был огромный, на рану смотреть противно, такая она глубокая и большая.

Шайка обступила со всех сторон, лица у всех сочувственно испуганные, шмыгают носами.

Иод. Когда вам льют иод в открытую рану...И, если эта рана до кости...Право, даже сейчас, через десятки лет, когда пережиты и испробованы многие боли—меня слегка передергивает от воспоминания.

Но плакать? Капитану? При своих подчиненных? Плакать, как девчонка над какой-то царапиной? Ни за что!

Закусила губы. И не пикнула. В глазах пошли круги. Позеленела. Но ни звука.

Зато, когда прихрамывая, перевязанная и гордая до предела, я доковыляла до качелей.

Все, все десять человек шайки пожали мне руку и я ясно читала в их глазах восхищение.

Конечно, георгиевсй крест был присужден мне

Вспоминаю этот маленький солнечный блик детства и дивлюсь, куда уходит эта детская мужественность, выносить боль без крика, стиснув зубы, только из отчаянной упрямой гордости.

И в минуты, когда захлебываешься от невыплаканных слез жизни, когда ржавым гвоздем порвана душа тоже до кости—вспоминаешь эту страничку прошлого и ищешь силы не показать, вынести, не разрыдаться. Чтобы тоже заслужить георгиевский крест...в жизни и смерти.

# Встреча пасхальная

Маленькая станция железной дороги. Жизнь от поезда до поезда. Неясное ожидание чего-то нового, могущего перевернуть, перестроить жизнь. И снова знакомая тоска заброшенности в мерном стуке вагонных колес. Из года в год. Короткие служебные командировки в большой город, проходили как в тумане,—в новых знакомствах, в театрах, в музыке кабаре, в случайных мимолетных встречах. И потом опять монотонная жизнь раз навсегда заведенных часов: служба, газеты, встреча поездов.

Прошлое казалось каким-то небывалым сном.

Родной сибирский город, гимназия, первые годы университета: надежды на карьеру, на красивую разнообразную жизнь. Отгрохотала революция и, пройдя бесконечные походы юношей добровольцем, дошел до последнего этапа—до этой маленькой невзрачной станции, затерянной в маньчжурских сопках .

Родные растерялись в сутолке отступлений

Изредка были женщины...

Короткие связи, не трогающие душу и лишь слегка волновавшие сердце. Любви не было. И, пожалуй, самым ярким воспоминанием сердечным за все тридцать лет жизни—была гимназистка Таня, там еще в России.

Юный роман совсем по Тургеневу, с клятвами в верности, с записочками, с тайными свиданиями в городском парке.

Может быть это чудилось сквозь дымку прошлого, но гимназистка Таня казалась лучше и ближе, чем все женщины, с которыми столкнула его холостая одинокая жизнь.

В этот пасхальный вечер было особенно грустно. Прибирал у себя в квартире. На стол поставил пасху, кулич и бутылку вина. На станции не было церкви, но по давно установленной привычке, решил ночью разговляться.

Звали сослуживцы—отказался. Хотелось побыть одному.

В одиннадцать вышел на перрон встречать ночной поезд. Ночь была не по пасхальному бурная, резкие порывы ветра хлестали в лицо.

Вспомнились весенние хрупкие радостные, пасхальные ночи на родине; ликующий колокольный перезвон, огни свечей в руках богомольцев.

Встретить ночной вышли только телеграфист, да буфетчик—жители станции сидели по домам, готовясь к Великому Празднику.

Далеко, точно выпрыгнув из темноты, замаячил огонь паровоза. И через минуту с пыхтением и грохотом нарядный состав пассажирского замер на пятиминутный отдых. Сквозь окна вагонов замелькали фигуры людей , ярким светом озарил перрон вагон первого класса.

Забегали кондуктора. Перрон разом наполни/ ся криками, шумом, шорохами. К окну одного и купе, из глубины вагона подошла высокая, строі ная женщина в черном, прильнула к стеклу.

И вдруг, точно обожгло, захватило сердце-Таня.

Он подбежал к вагону и жадно вглядывался женское лицо там, за стеклом. Она! Тот-же изги капризных бровей, те же темные глаза. И русы косы, схваченные узлом, небрежной прически.

Героиня его юности, выросшая девочка родн( го, милого прошлого.

Жалобно заглушаемый ветром прозвучал зв( нок и поезд медленно поплыл вдоль перрона.

Побежал...Хотел что-то крикнуть. И, сразу по/ чиняясь налетевшей мысли, не сознавая, что д( лает, бросился к последнему вагону и вскочи на площадку. В этот момент было безразличн все: служба, неурочный отъезд со станции, во можные неприятности. В голове стучала одн мысль, одно желание,—догнать, увидеть жен( кое лицо, мелькнувшее в стекле вагона.

Пошел вдоль состава, наскоро объяснил чт -то встречному кондуктору и, дойдя до первог класса, стал жадно вглядываться в каждое куп( Здесь. На диване, опустив на колени раскрыть журнал, сидела женщина. Черное платье резн оттеняло русые пышные локоны прически.

Медленно повернула голову.

Совсем чужое, уже не молодое, сильно по/ крашенное лицо.

И ничего, ничего общего с тем силуэтом прош лого, минуту назад мелькнувшим из-за стекла в гона.

Растерялся. Неловко длинная пауза. Заборм( тал что-то непонятное самому и быстрыми ш гами вышел на площадку вагона.

Бежали поля, леса, разъезды. Ветер хлестал лицо. Ветер хлестал в сердце. Ошибка. Какая н лепая ошибка! Впереди неприятности по служб ночь без сна, ожидание встречного поезда на у ловой станции. Было обидно, стыдно за сво мальчишескую выходку за то, что поверил в н возможное, в необычное.

Встречного пришлось ждать больше часа, пошел в церковь. Близилась к концу Заутреня. Редели толпы народа, по узким улицам в тумане ночи плыли, дрожащие от порывов ветра, огни свечей.

Что-то торжественное, светлое, наростало в душе, отодвигался, заглушая досаду и боль несбывшегося.

И прислушиваясь к перезвону колоколов, следя за словами с детства знакомых молитв, понял, что никогда не забудет эту пасхальную ночь.

Этот ветер, промелькнувшее лицо женщины, пусть только фантазией похожее на девочку милого прошлого, эту заутреню неожиданную, нежданную. Всю сумбурность этой своей ночной поездки, эту минуту когда на-яву приснились любимые, когда-то и навсегда потерянные глаза.

Заглушая порывы ветра, шум взволнованных, веселых голосов, церковные песнопения счастливым, радостным гулом звучали колокола.

# Из подслушанных былей

В 1962 г. я получила письмо от председательницы Объединения сестер милосердия Л.Б.Мальцевой с просьбой написать небольшую статью ко дню пятой годовщины Объединения—24 февраля (11-го по старому стилю), в день памяти священномученика Власия, небесного покровителя Объединения.

Я знаю, сколько было сделано за эти годы труженицами сестрами, сколько было проведено работы в помощь бедным и больным, сколько работали и работают сестры Объединения в великом деле построения нашего нового собора, и мне было трудно отказать милым сестрам в их просьбе. Но также трудно мне и писать обычные наши хроникерские заметки; даже в сердечных, даже в дружественных тонах написанные замет-

ки эти являются обычным газетным репортажем который я всегда пишу неохотно.

И пришла мне в голову мысль написать ми лым сестрам рассказ ко дню их годовщины Пусть, прочтя мой рассказ и поняв затаенны смысл его, люди придут помолиться вместе членами Объединения на молебне в день св мученика Власия.

*

* *

Обоз тянулся медленно, медленно. Усталы лошади еле передвигали ноги.Из-под соломы, н брошенной, чтобы защитить от мокрого, пада ющего снега, с последней телеги обоза слыша лись глухие, все на одной ноте протяжные сто ны раненых. Их пытались увезти с собой, спаст от страшной расправы жестокого врага. Сестра темном платке, накинутом поверх косынки примостившись с краю повозки, заботливо на лонялась над ними, давала пить, оправлял сбившиеся лохмотья повязок.

Редко, редко слышались слова людей. У жен щин отчаяние выжгло последние слезы. У муж чин не осталось ни одного слова утешения. Обо тянулся по чужим, незнакомым, чуть видны тропам, проложенным в лесной чаще, среди тря син и болот. Остаться было нельзя: позади не молимо жестоко шагала смерть. Каждый знал что лучше погибнуть от холода и голода, забл дившись среди бездорожья: даже этот удел луч ше, чем издевательства и расстрел, неизбежны для тех, кто остался.

К вечеру пошел снег, мокрый, тающий снег превращающий тропы в грязное месиво. Печаль но шелестели деревья. Болота попадались вс чаще и чаще тропы уводили куда-то в сторону. И вдруг лес сразу кончился. Стало светлее. Перед ние лошади встали, как вкопанные, и ни уговор ни понукание не могли заставить их двинуться места. Люди вышли из повозок и подошли к опу шке.

Лес кончался без перелеска, даже без кустар ника. Перед ними лежала огромная поляна, каза

лось, без конца, без края, чуть запорошенная свежим снежком по кочкам, чернеющая какими -то черными, мокрыми впадинами. Кто-то из мужчин попробовал ступить вперед и сразу отскочил.

— Трясина! — вырвалось у него: — недаром наши лошади остановились. Осторожнее! Там, — смерть!

Разошлись по сторонам, пытаясь найти потерянную тропу, ведущую в обход этой страшной трясины. Тропы не было.

Казалось, что поляна как бы отрезала лес на десятки верст, что путь — только один; и этот путь — назад. Сделали привал. Привал... Когда дорог был каждый час, каждая минута! Когда ночь промедления могла стоить жизни. Но выхода не было. Впереди лежала непроходимая топь, сзади медленно приближался враг.

Сестра, пользуясь невольной остановкой, пыталась из каких-то тряпок сделать новые повязки раненым. В одной из повозок мать успокаивала испуганного ребенка. Что делать? Бросить обоз? Разойтись всем по одиночке по зарослям лесным? Но и по одиночке выловят — не сегодня, так завтра

К группе мужчин, стоявших в глубоком раздумьи у поляны, подошел старенький, худенький священник.

— Что ж, батюшка, придется нам самим себе панихиду нынче пропеть? — сказал кто-то. Кто-то глухо зарыдал в темноте. Раненые, точно осознав в своем горячечном бреду близость смерти, застонали еще протяжнее...Выхода нет.

Снег внезапно прекратился. Порывами ветра разогнало обрывки туч, и над огромной трясиной на посветлевшем небе замерцали в просветы между облаками мириады звезд.

Священник посмотрел на прояснившееся небо и, медленно осенив себя крестным знамением, сказал:

— Одиннадцатое февраля сегодня, день священномученика Власия. Во дни великих страданий святителя, явился к нему Сам Господь наш Иисус Христос и спросил, что хочет он во имя мук своих. И сказал св. Власий:

— Пусть будет так, Господи, если помолится кто в день моей мученической кончины, от всей души принесет моление свое к Тебе, пусть сбудется ему по молитве его...

Ясным светом озарился лик Христов, и сказал Спаситель: — Да будет!..В смерти нашей волен Бог один. Помолимся...

Тихо, тихо стало кругом. И опустились люди на колени, и только одну молитву произнесли они, повто ряя за священником: « священномученик Власий, спаси, заступи! Помилуй, Господи!

Сколько времени длилась молитва? Разве скажешь? Может час, а может миг один. Только поднялся с колен старенький священник и, улыбаясь ласково, сказал:

— А теперь, милые вы мои, положитесь на лошадок наших. Пусть везут, куда хотят. Есть у нас в народе поверье: великий покровитель всей твари бессловесной—священномученик Власий. Вот и сегодня не дал он лошадкам нашим в трясине угрязнуть. Уберег их, а с ними и нас грешных.

Становилось холодно. Небо снова заволокло тучами. Снова начал падать снег. Лошади долго стояли, словно прислушиваясь к чему-то, им одним слышному; потом передние стали сворачивать куда-то в сторону от трясины, в заросли, в чащу леса. Люди молчали. Словно в молчании этом не прекращалась полная веры, молитва о спасении...

Всю ночь по буреломам, по зарослям лесным пробирались усталые, замученные лошади. А тусклое солнце, развеяло сумрак ночи, очутился обоз на твердом, укатанном пути, и что-то неуловимое кругом, что-то до слез чужое и спокойное дало понять им, что они на чужой стороне. Встречный ветерок донес дальний звон церковного колокола, незнакомый, непохожий на перезвон родных, теперь замолчавших колоколов.

И поняли люди, что страшная граница осталась позади, что впереди свобода—пусть голодная, бесприютная свобода изгнанников, но все-таки свобода, без страха быть схваченными, замученным, расстрелянным...

И тихо повторял, как молитву, старичек священник:

— Кто помолится св. Власию в день кончины его мученической, по слову Божьему, дойдет та молитва до Бога...

Так было. Так Бывает и теперь. Так и будет всегда.

1962

# Так было

Портьера в гостиной была почему-то плотно задернута. Когда я проскользнула в комнату, мне это показалось странным, и я сразу вспомнила слова мамы за утренним завтраком:

— Дети, сегодня в гостиную и в кабинет не ходите, играйте в саду

Этого было совершенно достаточно, чтобы убедившись, что мама занята чем-то в своей спальной, а няня ушла на кухню, я приоткрыла дверь гостиной и проскользнула в комнату. Почему в комнате полутемно, почему не отдернули шторы. Как себя помню в нашем доме всегда рано поутру все окна открывались и комнаты всегда были залиты солнцем. А тут! Почему-то на цыпочках, почти крадучись подошла к окну и заглянула, чуть отстранив портьеры.

Через большую площадь, которая отделяла наш дом от большого винного склада. шли толпы необычных солдат. Ну да, конечно, необычных. Я привыкла видеть солдат, проходящих стройными рядами иногда с песнями, настолько привыкла, что и своих оловянных солдатиков я всегда выстраивала такими же стройными рядами и очень сердилась, когда братишка разбрасывал их по всему ковру в детской. А тут солдаты шли группами, без поясов, многие без фура-

жек, кричали, очевидно бранились, громко хохотали и у каждого в руках были бутылки, они останавливались и, закинув головы, пили из них. Как я ни была мала, я сразу поняла, что пьют они водку и вино и тащат это из винного склада.

Страха у меня не было, было любопытство, а что будет дальше. Вот в одной группе завязалась драка, один упал на землю, это было довольно близко от нашего дома и я увидела , что голова у него разбита. Крики и шум все усиливались.

— Я же говорила тебе, скверная девчонка, не ходить в гостиную. Что тебе здесь нужно? Марш в сад.

— Мама, а почему они дерутся?

И мама, которая никогда не говорила нам неправды и всегда старалась объяснить и ответить на каждый наш вопрос, коротко ответила:

— Сама я не знаю, что случилось. Бунт идет.

«Бунт». В моей детской книжке о времени Петра Первого ( я уже читала не только «Светлячек» и «Задушевное Слово»), я помнила это страшное слово «бунт». Но я не заплакала, не испугалась, только покорно вышла за мамой из гостиной и пошла в сад.

Братишка возился с какими-то досками, что-то строил в нашем любимом углу около стены сарая, выходившего в сад, там где вишня спускается на плоскую крышу сарая и куда я обычно залезаю со стороны двора и ложусь с книгой, крыша плоская и там очень удобно лежать, читать и рвать вишни, падающие прямо на крышу.

— Ты где была? Посмотри какую крепость я построил, это крепость против немцев.

Я ответила брату также коротко, как сказала мне мама:

— Что твоя крепость? Я смотрела бунт.

Потом я помню, как мы уехали из города в дачное предместье,около Волги, и там мы забыли слово бунт, а две недели бегали по перелеску и ловили в коробочки улиток, почему-то очень много было улиток на дорожках дачного сада.

Наша любимая белочка, которая всегда приходила к нам во время завтрака за порцией ореш-

ков, куда то исчезла. Изредка откуда-то издалека слышалась стрельба, даже канонада. Но на мои вопросы мама коротко отвечала:

— Сама не знаю. Погоди, папа приедет, он все объяснит.

Но я ясно видела по ее лицу, что она чем-то озабочена, ее что-то очень волнует и она часто тревожно переговаривается с няней Полей, нашей любимой няней, которая служила у мамы еще тогда, когда мама жила у дедушки, и папу еще не встретила, а нас и в помине не было.

Я понимала, что мама беспокоится за папу, что ее волнуют эти отзвуки канонады, наша какая-то странная оторванность от всего в этом уютном дачном домике. И в моей голове все эти мамины волнения связывались с тем утром, когда солдаты грабили винный склад, в то утро, когда я услышала слово «бунт». Нет, я еще не знала другое грозное слово «революция», это пришло позднее.

Потом мы вернулись в наш дом. В городе было тихо и спокойно. Только большого здания винного склада уже не было, на его месте стояли обугленные развалины, и я хорошо знала, что солдаты разграбили все вино, какое было, а потом подожгли и здание склада.

У меня вошло в привычку подслушивать разговоры взрослых. Я не могла не подслушивать, вокруг творилось что-то необычное, разговоры были странные, перестали говорить о германском фронте, говорили о восстании, о том, что в Петербурге, городе в котором родилась мама, сожгли здание суда, и потом в разговорах стали мелькать незнакомые мне имена.

Старшая сестра часто плакала, спрятавшись в своей комнате, я знала, что ее жених на фронте и вот уже сколько месяцев от него нет писем. Но в доме все было по-прежнему, также аккуратно подавался утренний завтрак, также кухарка уходила рано утром на базар, только вот в мой любимый колониальный магазин на главной улице города, куда мама меня всегда брала с собой и где меня всегда угощали вкусными сладостями, в этот магазин мы больше не ездили. Как-то в разговоре я услышала, что магазин разграбили и

сожгли толпы солдат и рабочих.

Приближался день моих и папиных именин. Папа теперь почти ежедневно приезжал домой, в городе появилось много военных, часто к ним в дом приходили папины сослуживцы из артиллерийского парка и разговоры велись все такие же непонятные и пугающие. Но Ольгин день мы праздновали, конечно, не так, как обычно. Не было поездки на пароходе по Волге (как я любила эти поездки!), не было фейрверка в саду. Но ужин был парадный и собралось много гостей.

И я получила самый замечательный подарок в этот день. Доктор Иван Егорович принес мне корзину, в которой вместо цветов сидела чудесная ангорская кошечка с таким же белым, пушистым котенком. Кошки и собаки всегда были моими самыми лучшими друзьями с самых юных лет.

Никогда не забуду, как за год до войны, отец получил службу в городе Варшаве, он тогда был еще в отставке от военной службы, и когда мы приехали к моей тете, где должны были прожить несколько дней, пока ремонтировалась наша квартира, я явилась туда со своей любимой кошкой Муркой. Дядя занимал очень большой пост и их дом, дворец с бесконечной амфиладой комнат очень меня поразил: особенно одна из гостиных вся в бледно зеленых тонах с козетками и стульями, крытыми бледно зеленым, в узорах, шелком. Я взгромоздилась на стул со своей Муркой на коленях.

Тетя Катя позвала лакея:

— Иван, отнесите кошку на кухню.

Иван взял мою любимицу и пошел к дверям. И тогда я, четырехлетняя особа, сползла со стула и отправилась вслед за ним.

— Деточка, ты куда?

Я обернулась и очень гордо сказала:

— Если моей Мурке место на кухне, то и мне надо туда идти.

— Иван, оставьте кошку в гостиной,— последовал тетин короткий приказ, и все дни моя Мурка была со мной, лазила по изящным стульям и диванам и, вероятно, очень нервировала мою тетю.

Так вот вполне понятно, что получив в подарок белых ангорок, я забыла обо всем: в этот день я не слушала разговоров взрослых, не играла с братишкой, не лазила по деревьям, я целый день сидела с моими кошками в детской, где сразу же приспособила им очень уютные постельки.

Почему-то помню, что на сладкое в этот день был исключительно вкусный пломбир, вероятно потому помню, что потом десятки лет я и не пробовала этого моего самого любимого сладкого.

Я была так счастлива в этот день, что даже не протестовала против нарядного кружевного платья, в которое меня к ужину одела няня, обычно я поднимала скандал в таких случаях, я терпеть не могла всякие девчонские наряды и кукол, а нарядные платья, к отчаянию мамы и няни, раздирала в клочья о деревья и заборы. Росла сорванцом и мечтала быть похожей на мальчишку.

А через несколько дней после моих последних именин в родной стране, в доме поднялась суматоха. Складывали вещи, вытаскивали с чердака чемоданы, разговоры опять стали тревожные и взволнованные. Отец все время проводил на службе, говорили что его артиллерийский парк вот-вот уйдет из города. Мама ходила озабоченной, но спокойная, отдавала распоряжения, прятала что-то в какие-то тайники, и я не раз слышала, как она подолгу спорила с няней Полей. И один раз я подслушала их разговор и залилась слезами. Поля не хотела ехать с нами и на все уговоры мамы отвечала:

— Нет, Ольга Петровна, я останусь в доме, не может быть, что это надолго, не совсем же народ с ума сошел.

Так и осталась наша любимая няня и прожила все страшные годы революции в нашем доме, в баньке пристроенной к дому. Много лет спустя получила я от нее письмо, где слала она нам свое благословение. Никого у нее кроме нас не было и была она для нас не няней, не прислугой, а близким и дорогим человеком. Все пережила, и голод и террор и полную оторванность от нас и помню уже после смерти мамы, получила я от

нее последнее письмо.

«Отслужила панихиду по Ольге Петровне, а служил тот батюшка который тебя крестил, и, конечно, потихоньку отслужил».

Потом, видимо, и она ушла в лучший мир, писем больше не было.

И вот мы в эшелоне, в вагоне для семей военных, большой вагон второго класса.

Прощанье с няней, прощанье с моими кошками, слезы, напутствие, спешные сборы, белые отступали из города и папин парк уже ушел давно. Мы в вагонах, брат хнычет, а я точно выплакала все слезы в последние минуты прощания, у меня слез нет, я только смотрю, как мелькает за окнами наш красивый мост через Волгу, как уходят из глаз родные поля, перелески и рощи. Сознание бегства еще неясно, еще неосознано до конца, но в коротких полудетских стихах, впервые после стишков о кошках и собаках, мелькают такие строчки, написанные каракулями в тряске вагона:

Грустно и задумчиво, словно мир уснул,
Только песню жаворонок где-то затянул.
Поезд мчится, мчится не дает смотреть.
Грустно, плакать хочется, видеть темный лес,
Который глубоко спит в синеве небес...

Думала ли я тогда, понимала ли в своем детском умишке, что когда-нибудь напишу правдивые и горькие строки:

И весь мир, что сказочно чудесен,
В книгах растилался предо мной,
Обойду с котомкой скорбных песен
Узкою скитальческой тропой...

# Серьезней алгебры

В этом году экзамен по алгебре считался самым трудным. Совсем не потому, что гимназистки шестого класса плохо решали задачи и не по вине преподавателя. Причина была более глубокая и менее ощутительная для гимназического начальства: этот злосчастный экзамен приходился как раз на середину мая, когда цветет черемуха и почта перегружена конвертиками самых нежных цветов, скрывающими под своими адресами разный весенний вздор.

И совсем не легко решать задачи и заучивать формулы, когда между порванными страницами задачника розовеет листок с многозначительной надписью о том, что сегодня в 9 часов, на том -же самом месте в парке..., а рисунок пронзенного насквозь сердца явственно изображает чувства студенческого или гимназического, не нарисованного, не бумажного сердца.

Леночка Попова заранее уговорилась со своими подругами Машей и Женей готовиться к экзамену вместе. Леночка была самая серьезная гимназистка в шестом основном классе, шла всегда первой и читала не романы, не приключения, а научные «психологические» книги, что все-таки не мешало ей немножко пудриться, немножко кокетничать и влюбляться. Предстоящий экзамен волновал ее порядочно, а так как терять свое первенство из-за «глупой влюбленности» она не желала, то ровно за четыре дня до алгебраических мучений, Костя Панов, студент второго курса, получил короткое письмо:

Милый Костя!

У нас экзамен по алгебре 17 мая. Я должна получить пять. И нам не придется в эти дни видеться. Думаю, что вы сами поймете, что этого требует мой долг и сознание целесообразной необходимости.

Елена.

Слова «целесообразной необходимости» должны были придать письму серьезный тон,— Леночка очень любила замысловатые выражения, считая их признаком своей шестнадцатилетней зрелости. Отправив письмо, Леночка собрала подруг, и они все трое торжественно поклялись не завиваться, не пудриться и не мечтать о летних каникулах до тех пор, пока не перешагнут противную алгебру. Два дня всё шло, как по маслу. С утра и до вечера из Леночкиной комнаты безостановочно неслось: А квадрат минус Б квадрат равно Х квадрат, чтобы вычислить корень пятой степени из многозначного числа...

Беспорядок в комнате был страшный. Кругом валялись учебники, тетрадки с формулами и целый ворох бумаги, исписанной решенными задачами.

На третий день утром общее неудовольствие вызвала Женя—кудрявая блондинка, самая хорошенькая и самая легкомысленная из всего ученого триумвирата. Она прибежала веселая и нарядная и сразу-же заявила, что заниматься она сегодня не будет, приглашена на именины к сестре на целый день и уж, конечно, ей не до алгебры.

— Ведь ты провалишься, Евгения, это-же ясно, как апельсин,—негодовала Лена.— И потом ты дала слово никуда не ходить эти дни. Это нечестно!

— Глупости! Вывезет кривая,— безаппеляционно заявила Женя:— у тебя-же и спишу.

— Но это-же безобразие. Мы еще не кончили курса. Нет, как хочешь, но этот поступок **несознательный**. Более того, по моему это преступное легкомыслие.

Худенькая, тихонькая Маша Ежикова молча поглядывала на Лену и сочувственно вздыхала. Но на Женьку серьезные увещевания не произвели никакого впечатлениями она, перекрутившись перед зеркалом, проговорила:

— Да, ну тебя, Ленка, не всем-же быть таким синим чулком, как ты. Экзамен завтра, а именины сегодня. Что важнее? Ясно—именины. «Довлеет дневи злоба его»—это даже в священном писании сказано.

И послав воздушный поцелуй Маше, Женя исчезла за дверью комнаты. Леночка очень обиделась и за синий чулок и за измену подруги. До обеда не занимались. Леночка доказывала тихонькой всю «подлость» Жениного поступка.

— Это, наверное, Миша виноват, он уговорил Женю идти на именины,—робко заметила Маша, стараясь найти оправдание. Лена пожала плечами и нараспев поучительно проговорила:

— Я, конечно, понимаю, что любовь во многом руководит нашей волей. Но, меня всегда удивляют те женщины, для которых чувство главное в жизни. Долг и обязанность выше всех этих сантиментальных глупостей.

Маша опять сочувственно вздохнула и с уважением посмотрела на Леночку.

— Обязательно приходи в три,—напомнила она подруге, уходившей на обед домой, и оставшись одна долго ходила по комнате, размышляя на житейские темы. Потом решительно взяла Костину фотографию и спрятала в ящик, чтобы не отвлекаться от серьезных вопросов. И в это время пришло письмо. Обыкновенное письмо, оплаченное копеечной маркой и даже не в цветном конверте. Что письмо было от Кости, Лена узнала сразу по почерку и по четко выведенному адресу:

Ее Высокоблагородию
Елене Павловне Поповой

Письма от родителей, живущих на одной из станций, Лена получала с менее титулованной надписью, проще—«для Лены». Нельзя сказать, чтобы слова «Ее Высокоблагородию» не доставляли некоторую тщеславную радость, но сегодня Лена положила письмо в стол с твердым:«прочту завтра, после экзамена».

Непрочтенное письмо, хотя и лежало спокойно в столе, неотвязным комаром прицепилось к мыслям гимназистки. Что он пишет?

Нет, читать письмо нельзя. А, может быть, что-нибудь важное? Глупости, наши желания должны подчиняться нашей воле. Моя воля говорит нельзя, значит...Леночка вырабатывала характер по рецепту одной серьезной книги.

Маша старательно выводила цифры и с удив-

лением взглядывала на рассеянное лицо подруги, не решаясь спросить—в чем дело. Она всегда робела перед авторитетом Лены и смотрела на нее немного почтительно.

— Пиши,—Лена взяла задачник:— Лавочник продал 1256 пудов муки двум лицам. Лицо А купило в Х раз больше лица Б...Вдруг он болен?

Карандаш выпал из Машиных рук: — Кто болен?

Леночка густо покраснела:

— Нет, это я так. У сестры сынишка простудился. Я получила письмо из дома. Ты, Маша, решай эту задачу, а я сейчас вернусь,—и незаметно вытащив заветный конверт, Леночка выскользнула из комнаты. Маша проводила ее удивленными глазами и снова углубилась в сделку с мукой неведомых А и Б.

В самом темном углу кухни Лена разорвала конверт и серые глаза тревожно забегали по строчкам: «Милая Леночка, мне надо видеть тебя сегодня, в пять часов вечера, где всегда. От этого свидания зависит все наше счастье. Если ты любишь меня, то придешь обязательно. Иначе, мы никогда больше не встретимся. Выбирай, что тебе дороже—пятерка или твой любящий тебя Костя.

Леночка тяжело вздохнула и прислонилась к стене, пальцы нервно мяли листок бумаги. В пять часов. Последнее свидание. А слово? А обязанность? И вдруг вихрем бросилась в комнату и, натягивая пальто и шляпку, скороговоркой бросила подруге:

— Машенька, ты занимайся тут, а я скоро. Меня тетка вызвала, надо на часок сбегать.

И вся красная от лживости своих слов, еще раз, уже в дверях, повторила:

— Только на часок.

Веснущатое личико Маши нахмурилось. Неслышным движением она подобрала забытый второпях конверт. «Ее Высокоблагородию». Конечно, от Кости. И, конечно, она через час не вернется. Да и тетки накакой у нее нет. Женя с Ми-

шей на именины ушли, Леночка письмо получила. Только меня никто не пригласил и писем мне никто не пишет. Кто такую полюбит, уродину?..

Из подслеповатых глаз часто, закапали слезы на всех покупателей и продавцов, на формулы с бесконечными корнями и логарифмами.

*
* *

На ветке, пушистой от черемуховых гроздей, сидел куцехвостоый воробей. Круглый, желтый глаз его внимательно разглядывал узкую дорожку. По дорожке пробежала Динка,сторожа Ивана собака, того сторожа, что живет в домике около входа в парк. Динка сидит на цепи у домика, а сегодня сорвалась и убежала. Воробей уже летал к ее будке, в надежде подобрать крошки еды у собачьей чашки,—крошек не было. А сейчас Динка пробежала с куском хлеба в зубах, и маленький кусочек, но заметный воробиному глазу, упал на дорожку.

Воробей вытягивал шейку, крутил головой. Не решался слететь. Вдруг Динка вернется? Где-то прочирикал другой воробей. Еще прилетит и склюет крошку. Надо торопиться...Он расправил крылья, собираясь лететь. Человеческий визгливый голос—у людей голоса препротивные—тихо сказал:

— Сюда, Леночка, здесь никого нет.

Пришли двое двуногих. Идут прямо к крошке, сейчас наступят. Наступят. Наступили. Такая дура, эта в зеленом,—так и растоптала ногой. Воробей от волнения взъерошил перья и перелетел повыше. Сели на скамеечку. А вместо крошки на дорожке ямка. Идиоты!

— Леночка, я нарочно написал такое письмо. Мне надо было с тобой встретиться, я так соскучился. Леночка, не сердись.

Студенческая фуражка низко, низко склонилась к руке девушки. Лене был виден только мягко очерченный затылок.

— Это стыдно, Костя, ты знаешь, что я серьезно отношусь к своим занятиям. Я хочу хорошо учиться, и потом ты великолепно знаешь мой взгляд на ложь.— Лена густо покраснела, вспом-

нив, как она соврала подруге, припутав какую-то несуществующую тетку.

Костя ничего не заметил и продолжал говорить самые глупые и самые нежные слова оправдания, которые ничего не значат и значат очень много. Разве можно было сердиться на него, на этого ужасного Костю, когда у него глаза синие и смеются, а из под козырька торчит презабавный хохол.

Девушка собрала всю свою серьезность и повторила слово в слово фразу из той книжки, где очень много об обязанности и долге ;

— Каждый человек не имеет права нарушать свой долг из-за глупой сантиментальности.

Синие глаза разом потемнели, и Костя выпустил руки девушки и поднялся со скамейки:

— Ах, так! Значит моя любовь к тебе глупая сантиментальность? Не ожидал! Что-же, значит ошибся. Приходится просить прощения у вас, Елена Павловна, за неуместное письмо. И...откланяться.— И он щелкнул каблуками и направился к выходу из парка.

Леночка сначала удивилась, потом растерялась, а потом, совсем неожиданно для себя, расплакалась.

— Костя, подожди!—плаксиво по-детски всхлипывая, протянула она.

Слезы великое орудие любимой женщины. И более искушенное сердце растаяло-бы при виде больших, серых Лениных глаз, блестящих и влажных от слез. Костино сердце было совсем не искушено женской хитростью. Он вернулся, но потребовал награды.

— Пойдем в кинематограф.

— Костенька, а экзамен...

— Опять экзамен? Тебе твоя алгебра дороже...

— Пойду, пойду...

Конечно, с точки зрения воробья, вздыхающего о раздавленной крошке хлеба. поцелуи вещь совершенно бесполезная и глупая, но никто на всем свете не смотрит на поцелуи с воробьиной точки зоения.

*
* *

Ужас предстоявшего провала снова напал на Лену уже поздно вечером, когда они возвращались из кинематографа, В театре было не до алгебры. Во-первых, на экране бесстрашный Дуглас спасал героиню от шайки разбойников, во -вторых,—Костя шептал на ухо почти тоже, что и герой экрана говорил своей спасенной невесте. Какая уж тут алгебра. Но было уже одиннадцать вечера, задач нерешенных столько, что и до утра не переделать, хотелось спать и мучила совесть. Неунывающий студент тоже притих, мысль подсказывала, что он должен помочь той, которая может завтра с треском провалиться из-за его, Костиной дури. Дошли до дому и, как два заговорщика долго шептались на крылечке. Как бы то не было, но Лена открывала дверь с совсем повеселевшим лицом и даже вид Маши, крепко спавшей над задачником и так и не дождавшейся подруги, не побеспокоил ее совесть. Машу она не будила, тихонько достала Костину фотографию, крепко поцеловала и так заснула, не раздетая, с карточкой в руках, улыбаясь чему-то во сне.

Актовый зал гудел оживленным, встревоженным гулом голосов. Индюшка, она-же Зинаида Сергеевна, она-же классная дама шестого класса, усмиряла своих питомиц, что-то очень оживленных сегодня. Математик, напомаженный и прилизанный, торжественно вошел в зал в сопровождении начальницы гимназии. На зеленом столе отчетливо белел пакет с экзаминационной задачей

Пропели молитву. Сели. Василий Петрович при гробовом молчании вскрыл пакет и громким, ровным голосом прочел условие. Письменная работа шестого класса. Два пешехода А и Б одновременно вышли из различных пунктов навстречу друг другу...

Тридцать перьев заскрипели по бумаге, тридцать разгоревшихся девичьих лиц склонилось к партам. Серый лукавый гляз Лены покосился на

соседок. Старательно выписывала условие задачи Маша,—Женя, склонив голову набок, делала в ее сторону страшное лицо. Женя вчера очень поздно вернулась домой, именины были веселые, потом катались на лодках...Женя не выспалась и ее сонное усталое личико привлекло внимание Индюшки.

— Зорина, вы верно всю ночь готовились к экзамену? У вас такой утомленный вид!

Если бы Индюшка заглянула а прищуренные карие глаза, она сразу усумнилас бы в Жениной усидчивости , но Индюшка дальше своего носа ничего не видела, на то она и Индюшка. Во всяком случае ни Женя, ни Лена экзамена не боялись и недаром Женин черный бант любопытно вертелся из стороны в сторону. Сегодня утром до экзамена подруги долго шушукались, а потом Женя отчаянно жестикулируя объясняла что-то старому сторожу, китайцу Чангу. Он, сузив хитрые косые глаза, сочувственно сюсюкал и кивал головой:

— Карашо, карашо.

А Лена на просительные слова подруг:

— Дай списать, Леночка, выручи!—по обыкновению уверенно говорила:

— Ну, конечно.

Индюшка этих переговоров не слышала и поэтому, когда Женя, хватаясь за голову и бледнея, попросилась выйти. Индюшка заботливо пошла за ней следом, сочувственно утешая «переутомившуюся» девушку.

Женя вернулась минут через десять в сопровождении классной дамы и усталым шагом прошла к парте, болезненно дотрагиваясь до головы. И только одна Лена поняла условный знак: «Все, мол, хорошо. На пять с плюсом».

Индюшка и математик медленно ходили между парт, следя за возможными шпаргалками. Шпаргалок не было. Гимназическое начальство не могло догадаться, что рядом сгимназией,в китайской лавочке, трое студентов наперерыв решали трудную задачу, доставленную им услужливым Чангом. Торопились, волновались не менее дам своего сердца. А задача попалась трудная. Лена довела дело до последнегно уравне-

ния, но это паршивое уравнение никак не клеилось. Срок близился к концу. У Лены спокойствие стало переходить в волнение. Желанная пятерка кажется готова была улыбнуться. А вдруг Костя подведет. А вдруг они тоже не решат задачу? Нет, не может быть. Политехники ведь, им -ли не решить? А Чанг—не китаец, а золото.

Время шло. Женин бант вертелся уже не кокетливо, а беспокойно. Умоляющие глаза голубые, карие, напрасно обращались к Лене. Оставалось всего двадцать минут. Ровно в двенадцать, неумолимый Василий Петрович соберет листки с,—увы!-нерешенной задачей. И вдруг... в двери зала просунулось узкоглазое, сморщенное лицо Чанга и жестом поманило к себе Зинаиду Сергеевну. Синий мундир—платье скрылось за дверью. Гимназистки замерли. У Лены захватило дыхание и быстро, быстро забилось сердце. Индюшка встревоженной походкой вкатилась в зал и, прошептав что-то у стола, направилась прямо к Лениной парте.

— Попова, вам срочное письмо. Какой-то господин просил передать немедленно.

У Лены от радости задергались углы губ, но она испуганно округляя глаза и внутренне шепча «Господи, прости меня за эту ложь»,—вскрикнула:

— Письмо? Это, наверное, от мамы. Что-то случилось!

Зинаида Сергеевна сочувственно погладила ее по голове,

— Не волнуйтесь, Попова, может ничего серьезного.

Лена разорвала конверт, из письма выпали деньги и листок исписанной бумаги. Денег было двадцать долларов, Индюшка сама видела две десятки своим, внимательным индюшиным взором. На записке было решение задачи. Этого Зинаида Сергеевна заметить никак не могла. Лена, теперь уже не скрываясь, радостно просияла и торопливо забормотала, что она очень рада, что папа торопился переслать деньги (гениально задуманный план!), через знакомого, думал, что срочно, что ей очень неловко...на экзамене...

— Ничего, ничего,—милостиво пропела Индюшка:

— Я очень рада, что все благополучно. Кончайте вашу работу, Попова.

И классная дама проплыла к экзаменационному столу, разъяснить начальнице, бросавшей удивленные взгляды, сущность загадочного письма.

Пятнадцать минут. Если вы были гимназисткой шестого класса, то понять не трудно, что за пятнадцать минут можно переписать задачу, и разослать шпаргалки, свернутые в крошечные трубочки по всем партам. Еще быстрей замелькали перья, и ровно в срок тридцать девичьих головок со вздохом облегчения оторвались от тетрадок.

Василий Петрович мог гордиться шестым классом. Задачу решили все. И все правильно. Может быть в голове учителя и мелькнуло подозрение в списывании, но разве сам он не был гимназистом? и не списывал хоть раз в жизни, если и не задачу, то простой диктант?

Записку с решением задачи Лена не показала никому, даже Жене хотя та усиленно уговаривал подругу, ссылаясь на трехлетнюю дружбу.

Леночка наотрез отказалась прочесть кому-либо листок, спасший ее и весь класс от провала по алгебре.

Да и не мудрено: на листке вкось и вкривь, поспешным почерком, было выведено приблизительно так:

*Путешественник А идет навстречу путешественнику Б... А:Б равно 20:30.*

*Леночка, моя милая, я тебя безумно люблю.*

*Х равен скобка корень 144 скобка на умноженное 5/6 деленное на 2.*

*Сегодня после экзамена я тебя встречу и мы пойдем в парк.*

*2Х равны скобка корень 144 скобка умноженное на 5 плюс 6 скобка.*

*Я думаю, ты не сердишься на твоего Котьку за вчерашний разговор?*

*С равно 255 минус 41 плюс 2а.*

*Целую тебя сто миллионов раз крепко.*

*И это серьезней алгебры всей вместе взятой.*
*Видишь, обещание я выполнил и задачу решил*
*Ответ задачи 215 верст.*
*Люблю тебя очень. Твой К.*

# О НАШИХ ДРУЗЬЯХ

# В переулке

Было холодно, промозгло, зябко...
Он сидел, прижавшись у кустов,
Поджимая рыженькие лапки,
Вздрг)агива. от чужих шагов.

Проходили переулком рядом,
Торопливо по делам спеша.
Под . людским и равнодушным взглядом
Вздрагивала робкая душа.

Кое-кто, нагнувшись любопытно,
На комочек рыженький смотрел...
И котенок всеми позабытый,
От испуга вздрогнув, цепенел.

Кто-то выругался...кто-то двинул
Рыжую' звеоюшку сапогом,
Кто-то, проходя, окурок кинул,
Кто-то замахнулся кулаком.

Не мяуканьем, а безнадежным писком
Он старался жалобу излить...
Чья-то тень вдруг наклонилась низко,
Отступления закрыв пути.

И рука коснулась рыжей шкурки...
Отбивался из последних сил,
Лаз ища в закрытом переулке...
От испуга страшного застыл...

И...согревшись от объятий нежных,
Всей душою забывая страх,
Как-то по-кошачьи безмятежно
Замурлыкал в ласковых руках...

Нам отметить незачем и нечем
Равнодушной нашею тропой
Эту встречу ласки человечьей
С робкою звериною душой.

# О наших четвероногих друзьях

Когда вы больны и одиноки, но у вас есть собачка или кошка, будьте уверены—ваш четвероногий друг будет около вас. Будет стараться помочь вам, греть ваши ноги, лизать руки. Животные всегда чувствуют, что любимому человеку плохо и, как могут, стараются облегчить его боли или одиночество. Я помню и знаю, что когда смертельно болел Н.Славянский, наш талантливый театральный режиссер, его собака и кот не отходили от его постели. А когда он скончался и животных устроили в хорошие, заботливые руки, они отказывались есть и умерли оба от тоски по своему хозяину.

Мы, люди, в большинстве проходим мимо, не обращая внимания, а часто, прямо говоря «большое дело, кошка!» И как часто здесь, в Америке, да и в Европе, люди, переезжая с квартиры, просто бросают животных на произвол судьбы. Я это называю даже не жестокостью, а просто людской подлостью. Сколько красивых кошек приходят к моему дому и просят накормить их. И какие красивые, видно, что жили у кого-то в доме и были брошены. И вот интересно, кошка или собака никогда не бросит своего хозяина, не уйдет от него, а люди делают это запросто. А теперь я хочу сказать несколько слов об организации СРСА в нашем городе.

Это общество защиты животных всегда приходит на помощь во время наших катастроф, или же, когда кто-либо просит помощи, найдя на улице крошечных котят, брошенных в канаву «венцом творения» человеком. Во время землетрясения в районе Залива, в 1989 году, перепуганные насмерть кошки и собаки разбежались и бродили среди развалин. Именно СРСА пришли на помощь, расставляли еду, подбирали перепуганных животных, а потом старались им найти

хозяев, или же найти людей, которые бы взяли бездомных. Тоже было и во время страшного пожара в районе Залива. То же СРСА спасало многих четвероногих, спасшихся от огня. Показывали по ТВ, как хозяева сгоревших домов бродили по пожарищу и звали и искали своих животных. Многие пришли в СРСА за своими спасенными кошками и собаками.

И все-таки в организации остались подобранные кошки, за которыми никто не пришел. Сами то бывшие владельцы животных как-то устроились и даже не подумали, что где-то сидит их кошечка и ждет свою хозяйку.

Прекрасная организация, часто они устраивают выставки животных в центре города, предлагая взять котят или щенят. Это очень интересные и полезные выставки. Многие животные действительно попадают в любящие руки. Я помню, много лет назад на улице Клемент был питомник домашних животных; его хозяйка брала и раздавала котят (если ее просили) и всегда брала доллара два за это. Как-то она мне сказала:

— Беру деньги, потому что знаю людей,если заплатил хоть немного, будет держать и кормить если просто отдать, могут позабавиться и выкинуть.

Для одиноких людей СРСА предлагает записать имя животного, на случай болезни, или внезапной смерти хозяина, СРСА поможет оставшимся кошке или собаке. Директор СРСА мистер Р. Аванзин сам очень любит животных и в его организации никто не скажет «большое дело, кошка!». Он понимает, что наши четвероногие живые существа, и люди должны этого не забывать.

Дай Бог здоровья всем, кто работает в этих организациях помощи нашим животным. Хорошо записаться членом СРСА. Когда то наш знаменитый артист М.Барышников внес большое пожертвование в наш СРСА.

А для меня человек, который не любит животных—пустое место.

1992 г.

# Три друга

В те далекие времена, когда жизнь казалась веселой и беспечной, похожей на книги Майн Рида Фенимора Купера, несмотря на то, что временами, кроме жидкой каши, сваренной на костре да плоской пресной киргизской лепешки, мы ничего не ели — в те далекие времена было у меня три друга.

Первый появился в самом начале отступления, и за его присутствие в нашей бивуачной жизни мне пришлось выдержать большую и серьезную борьбу с отцом:

— Куда тебе заводить котенка в походе? Не маленькая, должна понимать, что это не дома.

— Папа, он будет со мой спать в повозке.

— Ну и убежит на первой же остановке.

— Не убежит, я его люблю. Ну, пожалуйста, папа, позволь!

И совершенно неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в наш спор не вступила мама, милагивая эая, все понимающая мама.

— Оставь, Леля, пусть девочка радуется. Не помешает котенок. И маленькая серая Бурка, такая простая серая русская кошечка, завоевала свое место в жизни.

Я оказалась права: Бурка не сбежала ни на первом, ни на втором, ни на третьем привале. Наоборот — умная кошечка зорко следила, чтобы не отстать от обоза, и когда, после ночи у костра, начинали грузиться, Бурка всегда была около меня, не отходя ни на шаг от моих ног.

А так как каждому живому существу нужны приятели, такие же четвероногие, Бурка завела тесную дружбу с низеньким, крепким, черным коньком Туманом.

Было забавно наблюдать, как урча и мурлыкая, Бурка подходила к лошади и терлась об ее ноги, а Туман, наклоняя низко умную голову, внимательно обнюхивал маленькое существо. Они

были большие друзья—Туманка и Бурка. И, когда в пути купили верблюдов, и Туман перешел в мое владение, нашей общей радости не было конца. Я ехала полпути на Тумане, и Бурка сидела на его широкой спине, где-то около шеи, впереди меня, а Туман косил умным карим глазом на своих седоков.

Когда я не прислушивалась к тревожным разговорам взрослых, когда забывала оставленную, вернее оставшуюся там далеко, дома, любимую няню, мне казалось, что лучше не может быть жизни, как вот это кочевание в киргизских степях часами, днями, неделями, только бы были рядом эти два друга—черный Туман и серенькая Бурка. Когда купили верблюдов, у нас появился мой третий друг, огромный двугорбый верблюд Васька. Несмотря на все предупреждения не подходить к верблюдам близко—мало ли что может быть...в первый же привал, я отправилась знакомиться; Бурка, конечно, шла за мной следом.

Васька лежал, сложив передние ноги, огромный, лохматый и меланхолично жевал. Я подошла совсем близко и протянула руку. И вот, вопреки всех предупреждений: «он тебя может укусить, он тебе в лицо плюнет, разве ты не знаешь, что верблюды плюются?»—Васька посмотрел на меня внимательно узким, хитрым глазом, прикоснулся мягкими губами к моей доверчиво раскрытой ладони и нежно, словно подул в ладонь, взял мягкими губами кусок лепешки, принесенной ему в знак дружбы. Через пару дней я ездила на Ваське, качаясь между его горбами, как в люльке, а Бурка даже спала на его мягкой спине во время ночевок.

Кончались безлюдные степи, и через сутки, мы должны были добраться до первой станицы.Всех даже нас, детей, утомила бесконечная степь. Отец приказал обозу идти всю ночь, чтобы поскорее добраться до жилья. Горячая пища, возможность поесть свежего хлеба, достать мяса, овощей—все это было так заманчиво, что огромный переход не пугал никого.

— Будем сторожить Бурку по очереди, мама: вдруг она выпрыгнет ночью из повозки.

— Спи уж, я и сама покараулю.

Но я решила, что я тоже могу не спать и сторожить своего друга.

Я проснулась, когда светало, и уговорила маму подремать, взяв Бурку к себе на колени. Обоз шел медленно, наша повозка качалась в такт огромным размеренным верблюжьим шагом. Как и когда я заснула, не помню, только проснулась я уже в поселке; шумели люди, распрягая лошадей и верблюдов, огромный двор был полон детей, которые заглядывали к нам в повозки. Папа разговаривал с пожилым крестьянином, хозяином двора. Бурки у меня на коленях не было.

— Мама, а где Бурка?

Бурка пропала. Очевидно, когда обоз шел медленно, маленький мой друг решил прогуляться и выпрыгнул из повозки.

Никогда не забуду своего горя, почти отчаяния, когда я поняла, что Бурка осталась в степи, где-то далеко, одна. Я бросилась к отцу:

— Дай мне лошадь, я поеду искать Бурку.

— Ты совсем с ума сошла! Где ты найдешь кошку в степи? И лошади устали — такой переход мы сделали. Ничего не поделаешь! Может быть, Бурку взял кто-нибудь из обозов, что идут за нами.

— Бурку не подберут, она ни к кому чужому не пойдет. Папа! Пожалуйста! Бурка, ведь, наша, она нашей семьи, как же мы можем ее так бросить?

Отец был неумолим.

Не знаю, о чем говорила с ним мама, как она его уговорила, но только через полчаса она подошла ко мне, горько плакавшей, уткнувшись носом в сено, и сказала:

— Папа согласился. Если только кто-нибудь из тех обозов, что пришли позже, видели Бурку, мы поедем на Тумане ее искать.

Я побежала по дворам станицы спрашивать о своем друге. Маленькая, худенькая старушка с девочкой, приехавшие совсем недавно, вдруг сказали мне:

— Да, да, серенькая такая, бегает по степи и кричит. Мы ее хотели взять, позвали, а она немного приблизилась к обозу и опять бросилась в степь.

Пока запрягали Туманку, я шептала ему на ухо.

— Ты умный, ты Буркин друг, ты видел, как она ночью спрыгнула с повозки; помоги, Тумашка!

Туман дышал мне в лицо и касался моих рук мягкими, ласковыми губами.

Едем назад. Степь, степь и степь кругом. Пожелтевшая, осенняя трава, встречные обозы. Но никто не видел мою Бурку. Ну, что же, надо поворачивать назад. Ничего не поделаешь!

У меня сердце сжимается от отчаяния. Как вдруг Туманка, мой Туманка остановился, как вкопанный и тихонько заржал.. Я выпрыгнула из повозки. Туманка заржал еще раз ласково, словно звал кого-то. И вдали, среди пожелтевшей степи, я ясно увидела чьи-то ушки, мелькнувшие в траве.

— Бурка! Бурка! — закричала я и маленькое серое существо большими прыжками выпрыгнуло из густой травы и бросилось к нам.

Какая это была радость! Бурка бросалась ко мне, лизала мне лицо, руки, потом прыгала на колени к маме, терлась о ноги Туманки и мурлыкала, мурлыкала. А Туман тряс головой, пытаясь наклониться к ней из упряжи и тихонько ржал. А вечером Бурка снова спала на огромном Ваське, комфортабельно расположившись на его горбатой спине, между двумя горбами и совершенно игнорировала огромных станичных псов, поглядывая на них даже, как мне казалось, вызывающе с высоты верблюжьего роста.

Окончился степной путь, мы грузились в эшалоны. Сколько было пролито слез при прощаньи с огромным Васькой и с моим милым черным Туманом! Но я понимала — ни лошади, ни верблюда взять с собой в теплушку было нельзя. До сих пор помню, как печально заржал Туманка, и как последний раз кивнул мне своей огромной головой верблюд, когда их уводил новый хозяин. И только маленькая, серенькая Бурка осталась со мной, чтобы сделать весь наш горький беженский поход Великим Сибирским путем, прожить несколько лет в изгнании в далекой Маньчжурии и умереть на маленькой станции железной дороги, где неумелый фельдшер дал ей, по незнанию, какую-то ядовитую мазь.

Маленькая серенькая Бурка, прошедшая с нами все пути и дороги российские и ставшая для нас частицей родной страны, живым комочком мягким и ласковым! Я помню, как ты довольствовалась кусочком сухой лепешки, когда нам нечего было есть и никогда не просила еды, если даже и лепешки мы не могли достать в степном походе; ты часами сидела со мной на полатях теплушки около крошечного окошка, следя, как убегает от нас куда-то назад родная тайга. Ты грела меня ночами, ласково прижавшись ко мне,мой маленький пушистый дружок, и столько интонаций было в твоем мурлыканьи, что мы часто часами разговаривали с тобой...

Много лет прошло, но часто вспоминаю я своих трех друзей—черного киргиза Тумана, огромного ласкового верблюда Ваську и тебя, пушистая, русская кошечка, проведшая с нами все тяготы беженских дорог.

5-го сентября 1965 г.

# Пес Нерон

**ИЗ ХАРБИНСКИХ БЫЛЕЙ**

За помойной ямой, на заднем дворе у дворовой собаки Динки родились щенята—два маленьких пушистых комочка беспомощных и жалких. Пришел хозяин, оттолкнул тяжелым сапогом скулившую Динку и бросил:

— Выкинуть!

Щенят дворник унес за город и бросил их, тыкавшихся слепыми мордочками и плачущих, прямо в груду мусора.

Вот и все...Кажется чего проще. Такие маленькие звериные трагедии разыгрываются в больших городах ежедневно, ежечасно, и редко кто задумывается над беспомощной звериной жизнью.

Случайно, один из пушистых комочков выжил, отыскала его другая собака, не дворовая, а бродячая, Может быть у нее сдохли свои щенки, а, может быть, она просто приютила выкинутого

собачьего детеныша и выкормила вместе со своими такими же бездомными и никому не нужными собачатами.

Маленький, лохматый, смешной собаченок прижился к мусорным кучам, грелся на солнце, тыкался носом в отбросы, в поисках съестного и, как собственник, тявкал на нищих, заходивших из города тоже порыться в отбросах.

Рос. И выравнялся в красивого, длинношерстого, пестрого пса. Осенью, когда ночи особенно длинны, промозглы и бесприютны — собачье сердце неудержимо потянулось к человеку. Так уж устроено...Человек привяжется, полюбит, а потом разом оборвет, не замечая, не желая видеть боли другого. Собачье сердце привязывается навсегда, до последнего вздоха, до смерти.

Однажды, забрел за город человек. Был он высок и силен. И был он пьян. И свалился в пьяной усталости среди мусора отдохнуть от хмельного бродяжничества ночи.

Собака наблюдала за ним неотступно пристально. Потом подползла и, заискивающе виляя хвостом, обнюхала у сонного руки и лицо..И в эту минуту проснулась в собачьей душе неотрывная привязанность — на всю жизнь. На рассвете человек очнулся от того, что кто-то теплым языком лизал его руки. Проснулся и, странно, даже не рассердился, несмотря на хмельное пробуждение. Приподнялся, оглядел пса и, вдруг, улыбнулся:

— Ишь ты...Как тебя, — Нерошка, что-ли?

Собака завиляла хвостом.

— Ты чей?

Собака заскулила.

— Ничей, значит...Ну, пойдем со мной.

Встал, оправил сбитое сном платье и пошел размашистой походкой к городу. Пес покорно и радостно побежал следом. Человека встретила женщина. Что-то говорила громко и сердито. Собака жалась к стене, стараясь быть незаметной.

— А это что! Откуда пса притащил? Самим жрать нечего. Мало того, что пьянствуешь всю ночь напролет, всю ночь нивесть где пропадаешь еще и собак в дом приводишь...

Человек улыбнулся примиряюще:

— Это Нерошка. Ты меня, вон, руганью встречаешь, а он мне, сонному, руки лизал...

— А как тебя встречать прикажешь? Получку опять пропил?.. Вон собаку гони. И слушать ничего не хочу. Вон!

Нерошка точно понял, крадучись, боком проскользнул в дверь и притулился у крыльца, не спуская глаз с заветных ступеней. С этого дня бездомный пес нашел хозяина. Только хозяина дома у него не было. С этого дня кончилась беззаботная, мусорная собачья жизнь. Весь день Нерона проходил в бесконечных проводах человека: утром на работу, вечером домой или в кабак...

Опасная городская сутолка, на каждом шагу грозила страшными собачьими ящиками, побоями, драками с откормленными и злыми дворовыми псами. В частые пьяные ночи, Нерон неотступно следовал за своим властелином, сторожил его пьяный подзаборный сон, защищал в пьяных драках, грудью кидаясь на обидчиков... Довольствовался малым, редкой подачкой, еще более редкой лаской. К собаке привыкли. Рабочие, кончая трудовой день, толпясь у ворот фабрики, со смехом говорили:

— Вон пес-то твой ждет тебя, Степаныч. Поторапливайся, чего собаку ждать заставляешь?

Сердитая женщина и та, в хорошие дни, выносила ему остатки обеда:

— На, жри! Тоже навязался, нахлебник...

Нерон был счастлив. Счастлив даже тогда, когда буйный пьяный человек бил его палкой, толкал ногами и кричал:

— Пошел ты, мусорщик!

Нерон терпеливо выносил побои и, хромающий, избитый, неотступной тенью следовал за качающимся человеком.

В большом городе, в суматохе дня, люди часто гибнут бессмысленно и просто. Слишком быстро движение жизни, слишком стремительны автомобили, некогда следить за шагами людей, особенно, если эти шаги пьяны и суматошны.

Вечером человек вышел из кабачка. Было много выпито. В голове шумело и наростало привычное пьяное бесшабашное настроение. Из темно-

ты выползла собачья тень и, виляя хвостом, затрусила следом. Собачьи глаза зорко следили за неровными шагами человека. Собачье сердце билось тревожно. Говорят, звери предчувствуют близкую гибель. На перекрестке шумной и бойкой улицы человек задержался на минуту и, широко и пьяно улыбаясь, пошел вперед, не обращая внимания на красные сигнальные огни.

Из-за угла выскочил грузовик, тревожно загудел запоздалым гудком. И тут, в одну минуту, собака бросилась вперед, опережая человека, как бы пытаясь заслонить его от смертельного удара.

Визг тормазов...Крик...Свистки...Толпа людей.. тревожный рев амбуланса...Обычная суматоха несчастья. Человека подняли и бережно положили на носилки. Раздавленного, умирающего пса кто-то оттолкнул ногой.

Нерон, последним усилием жизни поднял морду и, провожая глазами того, кому он отдал сердце и душу, жалобно завыл протяжным, умирающим воем.

1983

# Самоед Санька

Случилось это давно...а вот запомнилось и ярко вернулось в предпраздничные дни. Среди многочисленных развлечений в рождественские дни в нашем городе была проведена и большая выставка собак. Такие происшествия обычно привлекают толпы любителей и ценителей собак а также тех, кто просто любит животных. Приходят и ротозеи, которым все равно на что смотреть и где толкаться. Одним словом, огромное помещение выставки было переполнено до отказа.

Как всегда, люди вели себя шумнее и беспорядочнее чем сотни собак, расположенным не по клеткам, а в больших отделениях, подобных ложам, разукрашенных по вкусу хозяев иной раз

коврами, иной раз зеленью или пестрыми драпировками.

Сколько здесь было разных пород: Серьезные, нахмуренные бульдоги разных «фасонов», красавцы сеттеры, огромные добродушные санбернары, такие же лохматые, но блестящие, черные, как сапожная вакса водолазы, стройные, царственные борзые, носящие по традиции русские имена, смешные, как колбаски, умные таксы, какие-то песики, похожие на чертенят, малюсенькие игрушечные фокстерьеры, остриженные в дань моде, обезображенные пудельки, шелковые китайские собачки, подобные им японочки, очаровательные, с лисьими мордочками и хвостиками «хризантемой» померанцы, африканские левретки, зябко дрожащие даже в своих теплых попонках. Всех не пересчитать. Кажется, не было такой собачьей породы, которая бы не имела своего представителя на этой выставке.

Большие псы вели себя серьезно, как бы понимая всю важность дня и всей процедуры. Они красовались, как бы говоря:

— Смотрите на меня, какой я красавец, сколько у меня призов и медалей!

Ни лая, ни ворчанья. Только иногда раздавалось тявканье какой-нибудь представительницы мелкой породы, болоночки или «пекинки», которой надоело сидеть на одном месте, или не понравилась мордочка соседки. Другими словами, животные вели себя важно и с достоинством. Зато толпа людей шумела, перекрикивалась, толкалась, бросала на пол стаканчики от кофе и шипучих вод и пакетики от кукурузы, орешков и другой пустяковины.

На таких выставках невольно проводишь параллель между поведением животных и людей, и оно идет не в нашу, людскую пользу.

Около каждой «ложи» на скамеечках или в креслах располагались владельцы живых «экспонатов». Большие собачники раздавали брошюры с рекламой породы собак, которых они выращивают для продажи. Собачьи помещения блистали выставкой серебряных кубков и пестротой призовых лент, полученных на предыдущих выставках.

Можно было часами ходить, рассматривая, любуясь всем этим четвероногим миром, этими представителями собачьей аристократии, удивляясь их благодушием и дружелюбием, с которым на вас смотрят умные собачьи глаза, как охотно позволяют себя погладить, даже такие свирепые на вид бульдоги, доберманы и доги.

Трудно эту выставку сравнить с кошачьей. Кошки большие индивидуалисты и преисполнеены упрямства и гордости. Красавцы сибиряки, сиамцы и абиссинцы, пушистые персидские кошки и ангорцы неодобрительно относятся к людской затее—выставлять их напоказ. Их круглые таинственные глаза полны презрения и скуки, они словно хотят сказать:

—До чего же это глупо и как все это надоело!

Помню, на одной кошачьей выставке хозяйка дымчатого сибиряка тщетно пыталась заставить его повернуть к зрителям пушистую мордочку. Кот упрямо и презрительно поворачивался задом и его лохматый хвост, как маятник, сердито ходил из стороны в сторону.

* * *

Выставку собак посетила молодая русская пара, любящая животных вообще. С живым интересом муж и жена бродили по огромному помещению, подолгу останавливаясь около некоторых пород, любуясь особенно симпатичными им представителями собачье знати.

Молоденькая женщина, очевидно, особенно любила собак. Ее большие серо-синие, типично русские глаза светились лаской и любовью, когда она заговаривала с каким-нибудь санбернаром, гладила шелковистую голову темно-рыжего сеттера.

Между собой эта пара разговаривала вполголоса, по-русски обмениваясь впечатлениями. Когда она подошла к ряду, где были выставлены ослепительно белые, пушистые, как снег родной Аляски, самоеды, к ним подбежала худенькая дама и оживленно заговорила:

— А вы русские? Я услышала вашу речь, ничего не поняла, но почему-то решила, что вы—

русские!

Молоденькая женщина ласково улыбнулась:

— Да, мы русские!

— О, пожалуйста помогите мне. Только вы можете мне помочь. Недавно мой муж ездил на Аляску и купил там собаку. Купил ее от русских. Такой красавец!..Но со дня приезда он ничего не ест, отворачивается от самой вкусной еды, сидит такой скучный! Его осматривал доктор-ветеринар и сказал, что пес совершенно здоров, только он тоскует, Мы с мужем просто не знаем, что нам делать. Пожалуйста, поговорите с ним по-русски. Вот он!—и она уазала на большого белого пса.

— Ну, конечно! С удовольствием. А как его зовут?

— Санка,—сказала американка, очевидно не улавливая мягкого «н» в русском имени.

Пара подошла к большой, красивой «ложе» украшенной великолепным видом далекого севера. В одном углу лежала гордая мамаша, около которой весело играли белые, как снежки, щенята. В другом, положив морду на передние лапы лежал большой самоед. Его карие глаза смотрели куда-то вдаль. Так и чувствовалось, что он далек от этой непонятной толпы, суеты и шума выставки и ищет взором необозримые снежные просторы родной земли.

Волна жалости захватила сердце молодой женщины, сразу заметившей беспредельную тоску в умных глазах пса. Перед ним стояла большая миска с отборной едой, но самоед не обращал на нее внимания.

Подумав минутку, женщина подошла к нему и ласково заговорила:

— Что же это ты, Санька, загрустил? Разве так можно ? Что с тобой, мой хороший?

Собачьи глаза вспыхнули радостью. Самоед вскочил и с радостным визгом бросился к женщине. Он лизал ей руки, пытался лизнуть в лицо, он вздрагивал от прикосновения нежных рук, гладивших и ворошивших шерсть его пушистой головы. Это была такая неподдельная радость одинокого существа, встретившего кого-то родного и близкого

Хозяйка стояла рядом и широко улыбалась.

Он понял вас! Он понял...Посмотрите, как он радуется!

А Санька, все еще взвизгивая и скуля, прижимался к коленям своего неожиданного друга, присевшего на край стула около ложи. Он не переставал лизать ласкавшие его руки.

Собралась толпа, наблюдавшая за необычной картиной. Хозяйка Саньки торопливо поясняла, что вот этот Санька вырос на Аляске у русских, что он очень тосковал в Калифорнии, а вот эта милая русская дама заговорила с ним на поняттном языке и он счастлив...

Санька действительно блаженствовал. Повинуясь ласковым словам, он с жадностью набросился на еду и вылизал всю миску,, однако не спуская глаз с нового друга, как бы боясь, что она уйдет. Поев, он растянулся на мягкой подстилке во всю длину своего сильного тела, подставляя ласке свою умную голову. Бесконечная радость буквально звездами светилась в его глазах.

Пришлось провести с Санькой весь день до закрытия выставки. Только с новой знакомой пес согласился пройти по кругу, показываясь жюри и публике. Он получил первый приз, который его совсем не интересовал, хотя ему его подсовывали под самый черный нос.

Когда поздно вечером молодая дама с мужем собрались уходить, Санька жалобно заскулил и пытался побежать за ними. Пришлось пообещать что они и завтра придут с утра. Но что же будет потом?

Санькина хозяйка, довольная всеми результатами заверила:

— О, я повезу его на собачью ферму в Санта Роза. Там у нас русский служащий. Он был в отпуску, когда мой муж вернулся с Аляски, а теперь после праздников вернется и будет с Санькой говорить по русски. Он очень любит собак, наш милый мистер Иван!

Молодая пара с радостью купила бы Саньку, но их жизнь только что началась. Они оба служили. Отсутствовали дома целый день. Жили в малюсенькой квартирке и места для большого

пса в ней не было. Да разве бы и хозяева разрешили держать собаку, даже самую маленькую? В Америке все очень любят детей и животных, но в квартиры их не пускают!

На прощанье Санька высказал всю свою любовь всеми собачьими способами. Он визжал, скулил, урчал, лизал руки и прижимался к ногам.

Покидая выставку, молодые русские много раз оборачивались, смотря на большую пушистую белую собаку, глядящую им вслед с такой грустью, с такой тоской в умных карих глазах.

* * *

Прошло много лет. Кто знает, какова была дальнейшая судьба Саньки, но для русских людей, узнавших его, навсегда запомнилась эта выставка, красавец самоед, так горько тосковавший по родной земле, по знакомой, с детства привычной речи, к ласковым русским словам.

1990 г.

# У Пу Хво

**СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ УШЕДШЕГО ДРУГА**
ДОКТОРА Н.И.ЧУРИЛИНА.

Это была маленькая черненькая собаченка, скорее пародия, карикатура на собаку. Худая, как щепка, на тоненьких палочках-ножках, с непомерно большой ушастой головой. И прозвали мы ее У Пу Хво—совсем и не в честь какого-нибудь китайского генерала: У Пу Хво переводилось на обычный язык совсем просто— уши, пузо, хвост, сокращенно У Пу Хво.

В один яркий, солнечный день, наша компания, освободившись от недельных лагерных работ, прикатила на выпрошенном у «власть имущих» грузовичке к берегу океана, чтобы провести пикниковый воскресный день вдали от надоевшей лагерной рутины. Когда мы, выбрав место

для пикника,стали выгружать термосы с водой, пледы и банки с консервами, на тропинке, ведущей от филиппинской деревушки, показалась маленькая, черненькая собачонка. Она издали недоверчиво следила за нами, пытаясь залаять, но, вместо лая, тихонько хрипела.

Филиппинцы—странный народ: они не только что плохо относятся к своим животным—нет, они просто не обращают на них внимания. Накормить собаку никому из них и в голову не приходит. А, между прочим, чего проще: собаки на филиппинском побережье едят рыбу и кокосы; но даже разбить кокос для животного лень ее беспечному хозяину.

И в эти годы нашего пребывания на Тубабао из окрестных деревень непрерывно двигались на запах пищи собачьи скелеты, худые, заморенные, еле передвигающие ноги. Добирались до лагеря и приживались где-нибудь поближе к кухне. Через год, в редкой палатке не было своего собственного пса, уже отъевшегося, веселого, привязанного к своим новым хозяевам. Большая была драма, когда снимался наш лагерь, разъезжаясь во все концы света и оставляя за собой полчище собак, уже привыкших к русской речи и лаявших и рычавших на филиппинцев.

У Пу Хао была очень недоверчивая собачонка. Только очень большой голод заставил ее подойти ближе к костру. Отыскали разбитый кокос, сделали из него импровизированную миску и свалили туда все остатки нашего, более чем скромного обеда. Но и тогда, несмотря на все наши уговоры, собаченка не подходила к миске. И только, когда наш милый доктор Ч., поднявшись от костра и сделав несколько шагов по направлению к собачонке, спокойно сказал:

— Ну, что ты, псина, боишься? Иди-ка, поешь, — к всеобщему удивлению, У Пу Хво приблизилась к еде.

Было что-то такое умиротворяющее в каждом слове доктора; недаром он был несомненной душой нашей компании. Бывало, заноет кто-нибудь, заговорит на печальные темы о безнадежности нашего лагерного сидения, о полной неизвестности—наш милый Н.И. двумя словами «при-

водил в чувство впавшего в отчаяние». Сколько спокойствия , бодрости душевной было в его словах,что рядом с ним и самые большие неприятности казались пустяками.

Собака ела жадно, задыхаясь, захлебываясь едой, и толстела у нас на глазах. К вечеру, из тощей, маленькой собачонки получилось У Пу Хво: уши, пузо, хвост. Уши длинные, подобие ослиных, прозрачные на солнце, хвостик тоненький, как прутик, и невероятным шаром раздутый живот.

Так и повелось с тех пор. Каждое воскресенье, собираясь на океан, мы хлопотали о припасах для У Пу Хво. Однажды даже сварили заранее кастрюлю каши. Правда, из этого ничего не вышло, на одном из ухабов кастрюля перевернулась и каша густой массой облепила наши пледы, термосы и ботинки. Инициаторша сваренной каши была жестоко изругана остальной компанией, а У Пу Хво осталась на уменьшенном рационе на этот раз.

Собачка, слегка похудевшая за неделю, к вечеру снова становилась черным шариком на тоненьких ножках. Взять ее с собой в лагерь было невозможно: видимо, была у нее какая-то привязанность к хозяевам в филиппинской деревушке, жестоким, не обращающим внимания, но все-таки хозяевам. Но и к нам она была привязана; собачий ум точно отсчитывал дни недели, и мы хорошо знали, что вот как только грузовик повернет за заросль джунглей на просторный, манговыми деревьями заросший берег океана, нас встретит радостным приветливым лаем крошечное существо.

Однажды мы пропустили несколько недель; шли тропические дожди, потоками заливавшие остров. Было не до пикников: чинили палатки, выдумывали чем бы еще залатать дыры в наших бивачных домах, чтобы не промокнуть до нитки. Часто кто-нибудь из «у пу хвоуцев» говорил со вздохом: «Как-то там наша У Пу Хво, изголодалась, поди, без нас, как бы не сдохла». Но ехать за несколько верст к океанскому побережью в такие дожди было невозможно, да и не на чем, и никто бы не дал грузовик для поездки только

для того, чтобы накормить маленькую собачонку.

Вылив, сколько полагалось, тонн воды на наше побережье, черные тучи, побежденные ослепительным тропическим солнцем ушли, наконец, и лагерь начал приводить себя в порядок. Жалкий вид был у наших палаток, залатанные, кое-где проваленные, они не стояли, а скорее висели на палаточных кольях. Лагерники повытаскивали наружу свои чемоданы и сундуки и просушивали отсыревшее за дождливый период платье. Лагерь сушился.

Это было как раз в то знаменательное время, когда наш лагерь посетил американский сенатор Ноулэнд. Жалкий вид нашего лагеря не мог не броситься ему в глаза. Дыоы на наших палатках слишком громко кричали о ветхости. И даже грузовик, доверху груженый брезентом, разъезжавший по лгерю по распоряжению администрации, не разубедил сенатора и тем более, не вселил никаких надежд лагерникам. Все мы прекрасно знали, что грузовик—это персонаж декоративный и реализации не подлежит.

Радостные и веселые ехали мы на очередной пикник после долгого, вынужденного сидения в лагере. День был солнечный, яркий, ослепительная зелень джунглей казалась совсем изумрудной после долгих дождей. Небо синевой своей обещало жаркий тропический день. Везли утроенную порцию для нашего У Пу Хво. Очень надеялись, что несчастная собачонка выдержала многонедельную голодовку.

Вот и знакомый поворот к берегу, вот и сломанная пальма на повороте. Отсюда встречала нас обычно веселым лаем наша черная собаченка. Все было тихо. Только шумел океан рокотом уходящего отлива, да воздух звенел каким-то особым звуком наступающего яркого дня. Кричали, звали, ходили к самой деревушке. У Пу Хво как в воду канула. Сдохла, бедняга.

Помню, очень это омрачало наш пикник. Даже разговоры не клеились. Даже обычно бодрое «найдется еще, может быть» доктора прозвучало не очень-то убедительно. Разбрелись, кто куда; кто за ракушками к океану, кто купаться, кто за хворостом в джунгли.

Один из нашей компании, пробираясь через джунглевые заросли в поисках топлива, осторожно шел, раздвигая густые, переплетенные стебли прихотливых кустов, шел тихо, прислушиваясь к каждому шороху, опасаясь наткнуться на змею. Как вдруг невдалеке послышался ему странный, необычайный звук: остановился, прислушался; звук стал настойчивей, громче; шагнул в сторону странного шороха—звук прекратился, замер. Было впечатление, словно кто-то сквозь кусты следит за шагами человека, словно выжидает приближающегося врага.

Так продолжалось минут десять; наконец, по возобновившемуся постукиванию стало возможно определить направление. Пробиться сквозь заросли и выбраться в ложбину, откуда доносились странные звуки, было делом нескольких минут. На маленькой полянке, сплошь усеянной ракушками, неистово билось какое-то существо. Собака. У Пу Хво. Корчилась и металась по ложбине. Голова несчастного животного по шею была засунута в консервную банку.

Видимо, собачонка нашла выброшенную кем-то жестянку из-под консервов, голод заставил ее засунуть голову в банку, в чаянии вылизать дно; забыв всякую предосторожность, она протиснула мордочку в банку, вылизала остатки, но назад голова не проходила, мешали загнутые края. Сколько времени билась несчастная У Пу Хво, стараясь сбросить жестянку, закрывавшую ей пасть и глаза, как не задохнулась она в этой невольной железной маске—трудно было сказать. Лагерник бросился на помощь, Сначала собака бешенно забилась в его руках, потом стихла, может, от смертельного страха, может от инстиктивного сознания, что пришло спасение. Наш «истопник», или заведующий кострами, как мы склонны давать прозвища, назвали спасителя собачонки, вернулся к нашему биваку без топлива, но с нашим У Пу Хво. Собака покорно лежала у него на руках, еще перепуганная, но уже приходящая в себя, тихонько повизгивающая уже от счастья, а не от страха.

Видимо, злополучную банку У Пу Хво нашла в

то же утро, иначе она неминуемо бы издохла или от недостатка воздуха, или от истощения. Затянись дожди еще на неделю, погибла бы наша черненькая собачонка в джунглях.

В этот день мы угостили У Пу Хво на славу. Рацион, выданный в ту неделю, был обильнее, чем всегда, может быть, ввиду приезда заморского гостя, а может быть, случайно. И мы дружно отказались от двух банок ростбифа в пользу У Пу Хво.

А еще через месяц, другой,У Пу Хво опять не явилась нас встречать. И только, когда мы разожгли костер, и аромат супа из лососины смешался с запахом океана...Лососина была самой вкусной вещью в нашем меню и добывалась она путем обмена двух-трех вещей из рациона, менее съедобных, но почему-то имеющих успех в филиппинских лавках. Обмен происходил с явной выгодой для лавочников, конечно. Так вот, когда аромат этого супа уже щекотал ноздри и был так силен, что даже наш художник, писавший эскизы на соседней скале, без всякого зова стал складывать свой мольберт, а доктор Ч. ускорил перевязку чьего-то ободранного кораллами колена, в этот самый момент из джунглей с радостным лаем выскочила наша У Пу Хво, взволнованная, радостно повизгивающая, а за ней, точная ее копия, такой же черненький, такой же ушастый, на тоненьких палках-ножках, ковылял маленький щенок.

Он сначала боязливо косился на нашу шумную компанию, а потом, повинуясь зову матери, заковылял к костру и уткнул свою мордочку в колени доктора.

День близился к концу. Далекими раскатами только, только начинавшегося прилива гудел океан, солнце золотило бесконечную водную даль. По неписанному закону установленному нашим всегда бодрым, всегда веселым, доктором Ч., мы не смели говорить здесь, на берегу океана, о визах, возможном и невозможном отъезде. Весь этот груз надежд и разочарований мы оставляли в лагере на будни. Здесь было море и солнце. Здесь должны были царить бодрость и смех. Здесь пелись только бодрые песни, гово-

рим только веселые слова. Мы сидели у костра, и тихое молчание царило в нашей обычно такой шумной компании.

Молчание прервал доктор Ч. Положив руку на прижавшегося к нему щенка, он серьезно и торжественно продекламировал:

Если мне будет скучно,
я куплю себе собаку.
По ночам буду читать псалом.
Закажу себе новые туфли к фраку...
Ничего, как-нибудь проживем.

Никто не ответил сразу на эти стихи. Мы сидели,задумавшись, глядя в океанскую даль, и каждому чудились там, у края, где золотистые волны сливаются с бирюзой неба, вереницы кораблей, пришедших за нами из далеких и таких желанных стран.

И так же задумчиво,не сводя глаз с огоньков костра, ласково помаргивая, ласково помахивая хвостиком, лежала довольная и тоже на короткий миг счастливая наша маленькая черненькая У Пу Хво.

И только уже на закате, собираясь в обратный путь в лагерь, кто-то неожиданно сказал:

— Новые туфли к фраку заводить, пожалуй, не к чему, новые колодки куда полезнее в нашем обиходе...А в остальном ты прав,прав как всегда, Николай Иванович: «ничего, как-нибудь проживем».



# Обезьяна Фроська и...

**ИЗ ШАНХАЙСИХ БЫЛЕЙ**

Отпускной день один раз в неделю. Шесть долгих и томительных ночей больничного дежурства. Потом...телефонный звонок, взмах губного карандаша. Кокетливая шляпка чуть-чуть набок. И четкий стук каблучков по знакомой улице.

Встреча. Поцелуй в парке. Обед в ресторане. Потом кино. Так целый год. Четыре встречи в месяц. А поцелуев столько, что и при помощи высшей математики не сосчитать.

В парке не только сторожа, но и юркие серые воробьи привыкли к обычному воскресному появлению, ровно в двенадцать знакомой парочки.

Сторож приветливо кивал головой, ⁻оедвкушая лишний двугривенный чаевых. Вороbьи восхищенно щебетали: та, что в шляпке пониже всегда приносила пакетик с печеньем—жирные крошки обильный воробьиный обед. Шесть дней без встреч. Даже без телефонных звонков, неудобно часто звонить,телефон то в бордингах общий. Немудрено, что плотные белые конверты и ответные голубые в полоску почти ежедневно обременяли почту всяким любовным вздором.

Для воробьев: двуногие пониже и повыше. Для знакомых пониже Лидочка, повыше Сергей. Лидочка сиделка в больнице, обладательница голубых глаз и золотых локонов, Сергей служащий большой конторы—обладатель Лидочкиного сердца и обезьяны Фроськи. Не игрушечной, не плюшевой обезьяны, а настоящей сиамской, вывезенной год назад из жарких стран обезьяньей родины.

Сергей работал восемь часов в конторе. Вечерами писал письма. Обезьяна Фроська целый день сидела на цепочке. Вечером получала свободу и хлопотала в комнате Сергея: переставля-

ла вещи на письменном столе, пыталась бриться Сережиной бритвой, пыталась тоже писать письма, немилосердно пачкая чернилами морду и лапы.

Лидочка к Фроське относилась ласково снисходительно и в письмах частенько справлялась:

— А как поживает сиамская принцесса Фроська?

Сергей к Фроське привык. Изредка сердился на нее, чаще забавлялся ее уморительными проделками. Не любил Фроську китаец-бой. За разбитую посуду, за грязь в комнате, за то, что Фроська строила ему всякие свои обезьяньи пакости.

Так прошел год. Для Лиды и Сергея в еженедельных встречах и в переписке, для Фроськи в сидении на цепочке, в ожидании короткой вечерней свободы, для боя в уборке за Фроськой.

Однажды. Это было зимой. Когда в парке холодно и неуютно, а в кино идут все старые неинтересные картины. В этот вечер и Сергей и Лида поняли разом, что дальше так нельзя, что слишком томительны часы ожидания, встреч и гораздо лучше вместо ежедневных писем обмениваться ежедневными поцелуями. Одним словом Сергей получил прибавку, а обвенчаться можно в любое воскресенье. И было решено начать новую жизнь.

— Вдвоем?

— Нет, втроем.

— То есть?

— А Фроська?

— Ах, да, про Фроську то я забыла.

Семейная жизнь не шутка. Надо хорошенько обдумать и обсудить, перебрать в памяти прошлое, чтобы мелочи этого прошлого не мешали счастливым дням.

В письменном столе Сергея две шкатулки, одна с письмами Лидочки, другая тоже с письмами от ... Ну, память прошлых увлечений, у кого из нас не хранятся такие конвертики нежных слов и клятв?

Эту шкатулку Сергей решил ликвидировать. Целый вечер перечитывал разноцветные листки, улыбался и решительно рвал отслужившие пись-

ма в мелкие клочки. Сжигал корабли. Фроська деятельно помогала, собирала бумажные обрывки, тоже рвала лоскутья бумаги, подражая Сергею в «сжигании кораблей».

— Так-то, брат Фроська. Скоро Лидочка к нам переедет. Чувствуешь, обезьянье ты отродье?

Фроська радостно зафырчала и еще деятельнее принялась стаскивать разноцветные бумажки в угол...

*
* *

Воскресенье Сергей и Лидочка провели в деловой беготне за покупками, где-то наскоро обедали, где-то пили кофе и под вечер, усталые направились к Сергею поболтать, попить чаю с пирожными и поцелуями.

Нагруженный покупками Сергей передал Лидочке ключ от комнаты. Щелкнул выключатель. Весело заскулила Фроська.

Лидочка вбежала в комнату и...остановилась в испуге.

Вся комната была усыпана голубыми обрывками бумаги, скомканные, разорванные конверты, перевернутая знакомая шкатулка, и среди всего этого великолепия восседала Фроська, весело скуля и хлопая себя в восторге по бокам. Ошейник и цепочка валялись в куче бумаг.

— Мои...Мои письма... — стоном вырвалось у Лидочки.

— Фроська...гадина!..— Сергей швырнул покупки на диван и бросился ловить забегавшую в испуге обезьяну.

— Так вот, как ты дорожишь моими письмами! Они у тебя валяются, где попало...

— Лидочка, ведь ты же сама видишь, это Фроська из ящика вытащила шкатулку.

— Удивительно, откуда у Фроськи столько сообразительности...

— Я тебе сейчас все объясню. Три дня тому назад я разбирал старые письма и уничтожил всю прежнюю переписку. Фроська видела, и вот. Ты же знаешь—она все перенимает.

— Старые письма? Это от твоих прежних симпатий? Значит, значит, ты эти старые письма хранил вместе с моими. А теперь испугался, как

бы я тебе сцены ревности не устроила! Да?

— Лидочка!

— Что, Лидочка? Мы с тобой уже год вместе. А ты все эту старую дрянь хранил. Да! Гадкий ты человек. Вот! И Фроська твоя...гадкая...И я очень рада, что еще не поздно...

— Лидочка! Лида!

— Я вам больше не Лидочка. Целуйтесь со своей Фроськой. Напрасно поторопились уничтожить ваши любовные сувениры... Самые-то заметные, наверное сохранили!.. А мои...мои письма нарочно отдали своей поганой обезьяне.. Гадкий вы...отвратительный, низкий вы человек...

Дверь хлопнула перед носом так и не успевшего оправдаться Сергея.

Выбежал вслед. Но Лидочки, как говорится, и след простыл. Доехал до больницы. Побродил в нерешительности у дверей и, совсем расстроенный, отправился домой.

Вздул Фроську. Легче от этого, конечно, не стало.

Писал—ответа не было. Положим, ответ был —внушительный пакет: все его прежние письма. Искал встреч, но Лидочка была неуловима. Подарил Фроську знакомым, но привыкшая к нему обезьяна устроила в чужом доме такой дебош, что подарок был возвращен, к неописуемой радости самой обезьяны и разочарованию повеселевшего было боя. Вот и все.

*

* *

Ничто не вечно под луной.

Через пол года в комнате Сергея можно было наблюдать знакомую картину. Сергей у стола пишет письмо, адресат, кажется, Верочка. Фроська рядом, громко чавкая, жует банан и тычет морду в чернильницу.

А Лидочка...Лидочка, кажется, вышла замуж. Сами посудите, можно ли долго прослужить сиделкой а больнице, если вам только восемнадцать лет, и у вас голубые глаза и золотистые локоны?

# ТУБАБАО

*
* *

Я для стихов собрала рифмы кучей,
Поэтов книги наспех пролистала,
И, выпросив бумаги самой лучшей—
Ночами создавать «шедевры» стала.

Но вот тоска: к созвучию «влюбленный»
Нет рифмы в голове. Нельзя же «макароны»
С любовными словами рифмовать
Иль очередь стихами описать.

Да, трудно мне приходится. Пегаса
Нельзя запречь в наш бивуачный быт
И, если не давать поэту больше мяса,
Он в облаках не очень-то парит.

Поэзия моя немного скисла
От макарон и жареного риса.

Но как ни как, а выкурены были,
Хотите верьте, а хотите нет,
На месяц выданный нам рэйшан сигарет:
Во власти поэтических обманов,
Казалось мне, что я курю гавану.

Я знаю, если описать паек,
Не завоюешь почести и славу—
Пусть будет так. Примите сотню строк
На память тем, кто жил на Тубабао.

# Пещера белого старика

Наша беженская судьба, разбросавшая нас, русских, по всем уголкам света, заставила применяться к чужому быту, заставила стать не тем, чем мечтали мы быть в раннем детстве. Эта самая доля эмигрантская, привела Николая Юрьевича на Филиппины. И не в Манилу, где все-таки в то время жило много европейцев и среди них самых отдаленных южных семей. Нет. Долгие годы пришлось ему жить на одном из самых отдаленных южных островов Филиппин, в маленьком городишке, где кроме конторы, почтового отделения да двух-трех китайских лавченок, не было ничего. Не существовало даже кинематографа— этого спасителя тоскующих душ провинции. Типичный филиппинский городок с кривыми улочками, домами на сваях от возможных наводнений во время тайфунов, с полуразрушенной старинной католической церковью, времен первых миссионеров.

По характеру своему Николай Юрьевич был слегка нелюдим, одиночество не тяготило его. Он любил в свободные часы бесконечно бродить по острову, сидеть на берегу, любуясь золотыми тропическими закатами; книги, которые пересылали ему друзья из Манилы, да размышления заполняли его досуг и жизнь шла медленным темпом ленивой островной повседневности.

Даже со своим начальством,—немцем по происхождению, он редко встречался вне служебных часов.

Зато дружил с рыбаками, изучал их местный «тагалог» и испанский языки, часто ездил на рыбную ловлю на их маленьких лодках, чем-то напоминающих пироги с картинок книг далекого детства, но сам рыбу не ловил, а только следил за блеском волн в прозрачном свете луны и любовался смелостью рыбаков одиночек, бросающихся вглубь океана с примитивными очками на глазах и неизменным копьем в руке.

Изредка размеренная жизнь острова наруша-

лась налетами тайфуна. Тогда все население, как бы сбрасывало с себя ленивую дрему и ожесточенно, героически боролось с взбудораженной стихией , отстаивая свои жилища.

Раза два налетал тайфун и тогда страшным, крутящимся ураганом разрушал домики на сваях, ломал пальмы. Океан, потемневший и страшный в своем стремительном набеге на землю, сносил все на своем пути.

Люди, как беззащитные мошки, пытаясь устоять порывам ветра, спасали свой жалкий скарб и не менее жалкие жизни за стенами старой городской церкви.

Николай Юрьевич принимал живейшее участие в этой борьбе за существование: таскал ребятишек в стены храма, помогал женщинам.

Его любили, считали «своим» и ласково называли «сеньором Николо» не то на испанский, не то на итальянский лад.

Затихал тайфун. Океан, золотясь на солнце, лениво уводил полчища водных громад обратно, в свои неизмеримые просторы, оставляя за собой груду обломков домов, пальм, тропических зарослей. И снова люди, как муравьи, начинали строить свои незатейливые домики на том же самом месте, даже не пытаясь уйти вглубь острова: великий в своем гневе, страшный океан был их единственным кормильцем и рыбаки с южным фатализмом, по-южному не торопясь, снова селились на привычных местах.

Годы шли. Не раз Николаю Юрьевичу казалось что так должна пройти вся жизнь, неторопливо, спокойно, таким странным контрастом с далекими годами отступлений, революций, скитаний по странам Дальнего Востока в поисках куска хлеба.

Иногда он думал, что хорошо бы было уволиться, уехать куда-нибудь в цивилизованный мир, тем более, что накопленные средства позволяли начать новую жизнь.

Но, видимо велико было очарование бархатного неба, глади океана, тишины жизненной и... мечты оставались мечтами, а дни шли все тем же привычным, ленивым темпом.

*****

В одно из воскресений, как всегда, захватив с собой сумку с запасом воды и провизией, Николай Юрьевич вышел рано утром в свою обычную экскурсию. Сегодня ему хотелось уйти подальше, перебраться на соседний остров и исследовать пещеры, о которых он слышал от своих приятелей рыбаков. Говорили, что их вырыли вулканы, и океан в своих бесконечных набегах на землю умножил их число.

По одной из местных легенд, там, в незапамятные времена скрывались пираты.

— Только ты, синьор Николо, поосторожней, —говорил старик рыбак.— Не заходи очень глубоко. Потеряешь время, прилив придет, так насидишься там.

В конторе, флегматичный Карлсон тоже предупредил:

— Не забирайтесь далеко. Хотите, дам вам катер, подъедете, осмотрите и назад. Кто их знает, может быть там всякий сброд скрывается.

Но Николай Юрьевич от катера отказался, узкую полосу внутреннего пролива, отделявшего их остров от того, большого, где были пещеры, переплыл в лодке приятеля рыбака и , крикнув молодому Франческо:

— К вечеру подплыви,— бодро зашагал по узкой тропинке, ведущей к самому взморью.

Все было, как обычно. Бесконечные манговые заросли, растущие непроходимой, казалось, цепью прямо у берега, питая свои могучие корни соленой водой океана.

Прихотливые красные цветы, похожие на диковинные орхидеи. Тропинка, очевидно протоптанная рыбаками, вела все дальше и дальше, приближаясь к массиву скал,нависшему над водой.

Было жарко, становилось труднее идти, даже сквозь толстые подошвы ботинок чувствовались острые морщины земли. По всему побережью, остатками давних извержений, складками лежала колючая, серая, застывшая лава.

Николай Юрьевич сделал привал, напился чаю из фляжки, выкупался в небольшой лагуне. Таких озер—лагун много на океанском берегу. Веками вымытые впадины дна океана, наполняются до краев во время прилива. В часы отлива они образуют как бы озера на красивом, пестром, прихотливо убранном кораллами и водорослями, океанском дне...Освеженный купанием, дымя сигаретой, Николай Юрьевич бодро пошел по самому дну океана. Под ногами, там, где еще была вода, стаями расплывались крошечные голубые и красные рыбешки. Кое где, среди камней и кораллов лежали черные, огромные, словно змеи—морские существа, похожие на змей в воде, на суше вытянутые палкой, они казались пустым чехлом, каким-то забавным чулком без головы, без рта, только с бесчисленными присосками, позволяющими им перекатываться, цепляясь за кораллы, по дну океана. Кое-где валялись забытые океаном морские звезды. Все это было такое обычное для побережья островов, что Николай Юрьевич, даже не глядя куда ступает, шел быстрыми шагами, давя на своем пути зазевавшихся рыбешек, белых как медуза, упругих морских блох.

Вот берег вырос сплошным каменным массивом и где-то на расстоянии его роста, мелькнула чернота провала в скалах, словно вход в пещеру. Николай Юрьевич с трудом взобрался по скалистым выступам и заглянул в черный провал Пещера точно ожила разом, послышался противный крысиный писк, шелест крыльев и стаи летучих мышей заметались под сводом.

Николай Юрьевич хотел было пройти мимо, как его взгляд заметил новые отверстия в своде пещеры. словно ведущие куда-то вглубь скалы. Вошел внутрь. Летучие мыши метнулись мимо него к выходу, под ногами пол двигался, как живой шурша, шелестя о камни, разбегались крошечные крабы.

Нашел выступ в стене, подтянулся на руках и очутился, как бы в верхнем этаже пещеры. Здесь было светло, естественное, словно грубо выруб-

ленное окно в сторону океана, пропускало солнечные лучи. Николай Юрьевич подошел к окну и залюбовался видом расстилающимся перед ним. Далеко от берега гребнями вставали волны, а за ними золотилась мириадами лучей и блесток водная гладь.

Окно было довольно высоко над побережьем, влево еще выше змеилась, очевидно протоптанная людьми узенькая тропка, ведущая к большому плато, как бы повисшему над океаном. Видимо туда не доходили волны прибоя, среди тропических зарослей, чудом занесенных сюда пальма, одиноко тянула ввысь свою крону.

Пройти по тропинке, держась за уступы скал, было делом несколькихминут.

Посидел, полюбовался видом, обошел пальму, выпил чая. Пить хотелось все время. Был жаркий, раскаленный зноем, дневной час.

Хотел, минуя окно, попытаться спуститься вниз в обратный путь, как вдруг мелькнула мысль, что над этой пещерой есть еще одна, может быть они идут этажами, может правы филиппинцы и частично вырыты они человескими руками в давние времена. Решил проверить свою догадку и осторожно спустился до уже знакомого окна. Да, он был прав: в конце свода опять чернел провал новой пещеры, добираться до него пришлось, цепляясь за уступы и выдолбины в стенах.

Там, за дырой, тянулась целая амфилада пещер, уходящих вглубь горного массива, украшенных нависшими уступами, прихотливыми кладками застывшей лавы. Свет попадал и сюда, но уже не такой яркий, а словно бы притушенный, рассеянный свет дня, в стене к океану были видны узкие щели-расселины, но отсюда выйти было уже невозможно, окон не было.

Промелькнула мысль, может быть то окно внизу и было прорублено, выбито человечески-ми рукам. Пошел дальше, пещера за пещерой, отделенные как бы арками, еще выше, еще сумрачнее. Шел и пытался найти следы человеческих рук. .

Но кругом все говорило , что вся скала вулканического происхождения. Захотелось пить. Хва-

тился фляжки и тут вспомнил, что оставил ее на том зеленом горном плато, где любовался океаном. Надо идти обратно, благо дорога только одна, не заплутаешься. Взглянул на часы: шесть.

Неужели же он бродил по пещерам около пяти часов? И тут неприятная мысль холодной змейкой проползла в сознание. Как бы не попасть в прилив; и не выберешься отсюда. И тут же успокоил себя:— «Ничего, до зеленой лужайки доберусь, а там и заночевать не страшно. Ясно, что прилив туда не достигает. Вот будет ругаться Франческо. Как бы они там панику не подняли, не найдя меня на условленном месте.»

Обратный путь показался вдвое длиннее. Болели ноги и мучительно хотелось пить.

Вот и последняя пещера. Вот и дыра, ведущая в ту, где окно к океану. Страшный шум послышался внизу, точно миллионы крабов карабкались по стенам нижней пещеры. И, вдруг, понял. Нет, это не крабы, это шумит прибой. Осторожно, лежа подполз к отверстию и замер...

Торопясь, набегая друг на друга, пеной заливая стены, внизу шумели и ворчали, ворвавшиеся волны прилива.

На гребнях валов блестели отблески уходящего солнца, проникающего в окно, уже захваченное, залитое набегающим прибоем.

Сначала не мог справиться с собой от леденящего страха,— человека, попавшего в ловушку. Не выбраться. А что, если и сюда, в верхние пещеры, достигнет вода? Но уже через секунду, взяв себя в руки, начал исследовать стены, уступы скал. Нет, слишком высоко, сюда никогда не попадала вода, разве во время тайфунов, да и то не затапливала все пещеры. Да и ведь он сейчас на одном уровне с зеленой ложбиной, а туда, он твердо знал , не доставали волны океана. Значит, надо только отсидеться до утра.

Через пять часов вода начнет уходить, отлив продолжается шесть, следовательно рано утром он может безопасно выбраться отсюда. Трезвая мысль сразу победила панический страх. Решил воспользоваться таким исключительным случаем, наблюдать прибой внутри пещер.

И снова заглянул вниз. Да, это было величест-

венно красиво. Узкая полоса заката золотом окрасила еще не залитые стены пещеры, волны переливались, как многоцветные радуги в свете уходящих солнечных лучей, золотой пеной обдавая уступы скал, здесь в закрытой пещере, особенно сердито ревел океан.

Долго наблюдал он невиданное до сих пор зрелище. Невольно подумал, а как же летучие мыши, они очевидно, знают часы прилива и улетают заранее. Или там, в той первой, они были случайно.

Затекли ноги и руки и он отполз от дыры и стал искать удобное место для ночлега. И только теперь почувствовал, как он смертельно устал и как томит жажда. Рот пересох, губы казались воспаленными, даже сравнительная прохлада пещеры не давала облегчения.

И тут опять вспомнил, что фляжка с чаем осталась на зеленом плато, куда ему теперь нет доступа. Придется помучиться за свое растяпство. Есть не хотелось, хотя сумка с продуктами была с ним, вспомнил, что кажется сунул в сумку апельсин и стал искать его. Выкатился ли он там, на лужайке, или он просто забыл его дома но апельсина не было. Пошел вглубь пещеры по знакомому пути, смутно надеясь найти где -нибудь воду. Прекрасно соображая, что поиски его бесполезны, воды здесь быть не могло. Темнело, было уже трудно различать стены и уступы. Еще несколько минут и в пещерах стало совсем темно: это значит, что солнце скрылось за горизонтом и, как всегда в тропиках, наступила разом ночь, без переходных сумерек, без свето-теней.

Достал электрический фонарь, который носил при себе всегда и стал искать место поудобнее.

Сел у стены, выбрав место менее колючее от складок лавы и закурил сигарету.

Но табак еще более сушил и без того пересохший рот. Сон пришел бы разом, если бы только была вода, или хотя бы этот самый апельсин, который, он теперь ясно помнил, забыл дома, на столе. Сна не было. Кругом царила глубокая, почти невыносимая тишина, даже шум прибоя не достигал глубины пещер. И вдруг, где-то во

мраке, послышался шорох, словно шаркающие по камню шаги. Медленные, медленные. В первую минуту хотел зажечь фонарь, но чувство предосторожности одержало верх. Весь ушел в слух. Кто это мог быть? Заблудившийся, как он, рыбак? Преступник, скрывающийся от властей? Шаги были несомненно человеческие, осторожные, ощупывающие путь в темноте.

Горло пересохло от ожидания еще больше. Собственное дыхание казалось слишком громким, слишком слышным. Но, видимо, слух того, там, в темноте, был тоньше и острее.

Легкое ли движение, дыхание ли Николая Юрьевича выдало его, только во мраке кто-то спросил на филиппинском наречии:

— Кто здесь? Кто?

Голос был спокойный, слабый, старческий голос. «Наверное рыбак», со вздохом облегчения, подумал Николай Юрьевич и тоже спокойно ответил:

— Я один. Я попал в прибой и не могу выбраться из пещер.

— Как тебя зовут? Ты не наш. Хотя и говоришь по-нашему.

Человек не приближался к нему. Его голос звучал в отдалении.

— Да, я не филиппинец. Здесь меня зовут сеньор Николо. А ты рыбак?

В ответ было молчание. Потом короткий человеческий вздох. И странный ответ:

— Может я рыбак. Был рыбаком, И я почти не человек уже. Только не бойся. Я тебя знаю. Мне говорили. Ты спас девченку Антонио во время последнего тайфуна. Мне говорили о тебе. Что-ж к утру океан уйдет и ты выберешься. Ты пришел через окно?

— Нет, ниже. Через первую пещеру. Внизу. Слушай, я не знаю твоего имени. Но я забыл фляжку с питьем там, на плато, около пальмы, И так хочется пить.

— Воды? Да у меня есть вода. Я принесу. Только я лучше принесу молодой кокос, ничто так не утоляет жажду.

Шаркающие шаги удалились. И снова наступила глубокая тишина. Николай Юрьевич ждал.

— Странно. Что значит «почти не человек»..
Преступник? Ну, что же! Вряд ли он причинит мне вред. А я? Кто я такой, чтобы выдать его? А главное, он принесет воду, кокос и можно будет утолить жвжду.

Снова зашаркали шаги, где-то в глубине пещер.

— Вот тебе, синьор Николо, кокос. Я положу здесь, совсем близко от тебя. Разбей его. Нож есть?

Возможность сейчас вот, сию минуту напиться, боязнь в темноте не найти желанный кокос, разом потушили все сомнения и Николай Юрьевич осветил пещеру своим фонарем. Яркий свет упал на огромный кокос, лежащий в нескольких шагах от него. Фигуру старика в лохмотьях, стоявшего в глубине пещеры и его лицо...

Замер от ужаса. Дрогнула рука и фонарь выпал из рук. Снова наступил мрак...

Запомнилось страшное, нечеловеческое лицо. Без глаз, без носа, безо рта. Искалеченное, изрытое лицо прокаженного.

Тотчас в памяти всплыли слова одного из филиппинских чиновников:

— А в пещеры ходить лучше не надо. Там часто скрываются прокаженные. Боятся, что мы их выловим и отправим в лепрозорий.

Несколько минут царило полное молчание. Несколько долгих, долгих минут. Желанное питье было тут, рядом. Только протянуть руку. Питье от прокаженного. Его обезображенные пальцы держали этот кокос. Он жил в этих пещерах. Его больное тело касалось этих камней. И, может быть это место, где сидел он , Николай Юрьевич, полно струпьями и гноем.

И вот, откуда-то из глубины мрака, какие-то особенно медленные донеслись слова:

— Ты испугался, сеньор Николо. Ты испугался. Да? Не бойся. Я знаю, я страшен. Я видел свое лицо в воде. Я тебе говорил, что я почти не человек. Ты подумал, что ты, выпив мой кокос, попав в мои пещеры—будешь такой, как я. Не бойся, сеньор Николо, я не опасен. Белая болезнь давно съела меня всего—теперь она не перейдет на других. Белая болезнь, когда она нападает на

человека — она сильна, ей нужно много, чтобы насытиться. И тогда она опасна другим, стоящим рядом. Когда она доедает того, кто стал ее жертвой, совсем ее, она уже бессильна перейти к другому. На меня страшно смотреть, я знаю. Они ловят меня. Они ловили меня раньше. Хотят отправить меня туда, к другим, таким же, как я.

Я не хочу. Я привык к морю. К этим скалам. Я привык быть один. Отсюда я уйду только к Богу.

Страх прошел. Осталась только жалость к этому старику, отверженному от мира.

— Кто же кормит тебя?

— Я скажу. Ты, ведь, не пойдешь к властям и не скажешь им. Не пойдешь, сеньор Николо?

— Нет, не пойду. Зачем? Я понимаю, здесь в скалах тебе наверное лучше?

— Ты прав, сеньор, здесь воля. Я заболел двадцать лет тому назад. Они схватили меня и жену и отправили в колонию. Дети остались в деревне. Они были здоровы. Я жил там, как в клетке. Я ненавижу их клетки. Жена умерла в этой их колонии, не от белой болезни, нет, она умерла от тоски по дому. Сын вырос. Он родился до того, когда нашего дома коснулась белая болезнь. У меня есть внуки. Внук приходит сюда раз в неделю, приносит соль, веревки для сетей. Мне много не надо. Я ловлю рыбу. Я коплю дождевую воду для питья. Сюда никогда не заходят рыбаки — они знают. Жить мне осталось недолго. Она доедает меня. Я почти не вижу. Только слух еще повинуется мне. Не бойся, сеньор Николо, разбей кокос. Ничто так не утоляет жажду. Не бойся. Если бы я знал, что могу причинить тебе вред — разве бы я подошел близко...девченка Антонио моя внучка. Звали меня тоже Антонио. А теперь зовут «белым рыбаком», потому, что я болен белой болезнью. Разве не слышал ты о пещерах белого рыбака?

— Не помню, может и слышал, да принял это за сказки. Не думай, я никому не скажу о тебе. И я выпью твой кокос. Спасибо.

Николай Юрьевич притянул к себе кокос, быстро открыл его ножом и жадно припал к этому самому лучшему, самому освежающему в мире напитку.

Стало сразу легко и спокойно и где-то в мозгу промелькнула мысль— проказа, кажется, не опасна в последней стадии болезни.

И снова, откуда-то далеко из мрака прошелестели слова:

— Спи спокойно, сеньор Николо. Прощай Да хранит тебя Матерь Божья. Да спасет Она тебя на всех путях твоих, как ты спас маленькую внучку «белого рыбака» . Прощай!

*****

Ранним утром, проснувшись, Николай Юрьевич долго не мог понять, где он, ему казалось, что все это он видел во сне. Только разбитый кокос валявшийся у его ног, заставил его вспомнить все подробности пещерной ночи. Спрыгнул вниз, подошел к трещине, образующей окно. Океан медленно ворча, отступил от скал. Пробирался тропинкой на знакомую поляну и только что отыскал забытую вчера фляжку, как услышал шум мотора, присланной за ним лодки.

# У самого синего моря

Так как уже к Пасхе наши надежды покинуть остров через четыре месяца стали понемногу таять, лагерники потихоньку начали обосновываться на житье, если не постоянное, то во всяком случае, прдолжительное.

Кто строил полы в палатке и возводил под брезентом деревянную крышу; кому повезло в отношении досок, строил отдельный дом-не дом но что-то очень похожее на постоянное жилище. Любители красоты разводили вокруг палатки сады, что, кстати сказать, было не очень трудно, так как тропическая почва такова—сунешь в землю цветок, сорванный где-то в джунглях, а через день-другой, смотришь, он уже пустил корни и расползается новыми стеблями вширь.

Сады делали с кокетливыми заборчиками или с пирамидами и клумбами из кораллов. Получалось очень красиво. Но коралловое украшение вообще было дело трудное, во-первых надо было хорошо нырять, чтобы вытащить из пучин морских особо-красивые кораллы, во-вторых, эти кораллы в продолжении недель лежали около палатки на солнце и распостраняли такую ужасную вонь, что обладателей этих сокровищ ругали хором все соседи и только уже потом, когда кораллы выветривались и переставали распостранять ароматы южных морей, становились белыми, как алебастр, только тогда ими украшались неприхотливые сады около палаток.

К Пасхе готовились очень оживленно. Деньги, привезенные с собой, какой-то крошечный запас был почти у каждого, еще не были поглощены многочисленными филиппинскими лавчонками, выросшими, как грибы, вокруг лагеря, а праздник всем хотелось встретить по-человечески и потому мы тратили, а филиппинские торговцы радовались. И в канун праздника почти в каждой палатке был сооружен настоящий пасхальный стол с настойками на отвратительном пахучем джине, куличами, которые те же хозяйки испекли в городской хлебопекарне и с разными баночными закусками.

Единственно, что омрачало некоторых обитательниц лагеря, так это то, что многим из них не удалось купить яиц. Весь яичный запас нашего маленького базара был раскуплен буквально в понедельник на Страстной и ни в одной лавке не только на большой дороге, но и в далеком Гюане (городе) не было в продаже яиц. Мы горевали, а филиппинцы недоумевали, что случилось с лагерем, почему вдруг русские проявили такую бешеную энергию в покупке яиц и немедленно же базарный люд заволновался, торопясь пополнить этот такой недопустимый пробел на их торговом фронте. Счастливцы, закупившие заблаговременно, занимались краской яиц луковым пером, тряпочками, кто обладал талантами - и акварелью, разрисовывали писанки, а неудачники ходили по соседям и выпрашивали:

— Ну, уступите мне хоть парочку, у вас вон

два десятка, подумайте сами, какой же это пасхальный стол без крашеного яичка.

— Надо было заранее подумать,—был обычный ответ.

Но надо отдать должное, счастливые обладатели писанок делились с неудачниками и яичный вопрос с большой нехваткой, конечно, но все же был лагерниками разрешен. Каково же было наше удивление, когда на третий день Пасхи весь маленький филиппинский базар был буквально завален яйцами.

Горы яиц красовались почти в каждой лавченке. Филиппинцы сначала сияли, радуясь, что, наконец-то получили такой ходкий товар, но к концу дня лица у них стали вытягиваться—за весь день не было куплено ни одного яйца, а в тропическом климате этот товар, как известно, держать впрок невозможно.

Так вольно или невольно, но мы своим праздником принесли довольно крупный убыток маленьким лавчонкам. В следующие годы нашего островного сидения, филиппинцы уже заранее знали к какому празднику что требуется и яичная проблема больше не возникала.

Итак, в первый день Пасхи лагерь принарядившийся, веселый, на время позабыл все будничные невзгоды. Церкви были переполнены нарядными островитянами, в палатках красовались столы, украшенные куличами, цветами, у некоторых особенно искусных хозяек оказались даже пасхи, ну не совсем такие, как обычно, но все же напоминающие настоящую пасху. Лагерные улицы, которые мы с таким усердием выкладывали пару месяцев щебнем, чтобы не затонуть во время тропических дождей, эти наши улицы были полны визитерами. А сказать по правде, нигде у визитеров не было такой возможности сделать за день буквально сотню визитов, как в нашем Тубабаовском городке,—до каждого района рукой подать, а знакомых—почти весь лагерь.

И вот, в этот торжественный, нарядный и солнечный день и разыгралась одна «трагедия», в которой были замешаны: палаточная семья, пирог из сальмона и соседский петух.

Вот о петухах. Ну как не сделать отступления и не описать тубабаовских кур и петухов, когда они кардинально отличаются от всех пернатых той же породы всего мира. Во-первых, куры и петухи на Тубабао летают, прямо как птицы. В первый раз, когда я увидела целое куриное семейство, перелетавшее через овраг из одного района в другой, я глазам своим не поверила.

Известно, что курица к полетам существо неспособное и именно за это про нее пустили поговорку: «курица не птица». Хотела бы я слышать, что сказал бы автор этой поговорки, если бы он увидел, как с наступлением темноты, курица вместе с цыплятами весело и легко вспархивают на палатку или на электрические провода, чтобы расположиться на ночлег. Это во-первых...Во-вторых,—тубабаовские петухи орут не на рассвете, приветствуя солнце, а так...когда им настроение придет, и бывало часто в темную тропическую ночь просыпаешься оттого, что на соседней палатке надрываясь орет петух. Почему орёт, очевидно, и самому ему неизвестно... просто так пришел в хорошее настроение и решил спеть в два часа ночи.

Но довольно отступлений. Ничего не поделаешь, когда начинаешь вспоминать остров,в голову сейчас же лезут всякие забавные и незабавные мелочи, что откровенно говоря, очень путает нить связного повествования. Так вот. Совпало так, что именно в этом году герой моего рассказа был именинник в первый день Светлого Христова Воскресения и жена его кроме кулича испекла огромный пирог и пригласила друзей отпраздноваь Пасху и именины своего мужа. Пирог был с рисом и с рыбой. Сальмон для пирога копился долго, надо было менять рационную макрель на сальмон у филиппинцев, а за одну банку сальмона лавочники требовали четыре макрели...Сами понимаете, какую трудную финансовую комбинацию пришлось провести этой даме, решившей побаловать мужа рыбным пирогом.

Как бы то ни было, но утром рядом с куличом был поставлен прекрасно выпеченный пирог с такой румяной корочкой, благоухающий и парад-

ный и такой аппетитный, что все обитатели палатки с большой заинтересованностью на него глядели, предвкушая вкусный именинный обед, настоящий обед после долгих дней рационного существования. Гости были приглашены после обедни и вся семья тоже отправилась в церковь, прикрыв палаточные брезентовые двери и даже завязав их для верности. Мало что—собака забежит. Так спокойнее.

Отстояли обедню. В тот пасхальный день казалось, что вот не сегодня—завтра посыпятся нам визы в Америку, в Австралию, в Аргентину. Все было солнечным и сияющим, именинник с семьей и несколько гостей направились домой, болтая не о рационах, не о каше и об испорченной картошке. а о вещах возвышенных и радостных...о возможном (он казался тогда близким) отъезде, о хорошей погоде, о пироге. «Ну и пирогом я вас угощу,уж моя Мария Ивановна знала чем угодить, такой испекла, что просто, ну словно бы и в Шанхае, да вот уж сами попробуете...»

— Милости прошу, господа!— и хозяин стал поспешно развязывать полы палатки, а жена его, отставив в сторону большой чайник с кипятком (в «кипятилку» пришлось зайти по дороге из церкви), оживленно объясняла:

— Два месяца копила, одна банка еще с дороги осталась, лук зеленый достала в лавчонке, ну рис тоже.

Палатка распахнулась и...дружный вопль почти стоном сорвался с уст всех, чающих именинного обеда...

На столе там, где красовался кулич и огромный пирог, по самой середине важно разгуливал большой рыжий петух, клокоча с двумя курицами и распарывая шпорой пироговую начинку. Куры тоже принимали живейшее участие в работе своего повелителя и остатки рыбы и риса покрывали весь нарядный стол. Кулич как-то жалко накренился тоже изрядно подклеванный сбоку, разбитая тарелка своими жалкими остатками как бы дополняла эту плачевную картину полного разрушения.

Я не буду описывать какой дружный крик подняли лишенные пирога хозяева и гости, как пе-

тух и две его соучастницы в панике носились по палатке, пока им не удалось выскользнуть из-под рук ловящих их людей и вспорхнуть на ближайшую палаточную крышу. Не стану я описывать и всю ту бурю негодования и брани, которая обрушилась на голову владельцев петуха.

Много было пролито слез, еще больше сказано неприятных слов...и я, право, не знаю были ли компенсированы именинник и его жена,но можно с ручательством сказать, что гостям, приглашенным на именины, пирог «улыбнулся». И надолго. Потому что разве легко в лагерном обиходе скопить шесть банок сальмона и закупить все то, что необходимо для настоящего, поджаристого, сочного именинного пирога.

Одно только я знаю точно, что рыжии петух, тот самый, который будил меня среди ночи своими отчаянными воплями, вдруг странно и таинственно исчез. Кто его зарезал и съел—соседи ли, в компенсацию за погубленный праздничный обед, сами ли хозяева, решившие, что лучше самим ликвидировать петуха, вызвавшего такой оглушительный скандал. Не знаю. Знаю только, что долго, долго мимо моей палатки бродили в одиночку две курицы, испуганные и недоумевающие, потом и они исчезли. Но это было потом, когда постепенно стали иссякать денежные запасы и, видимо, возможность поесть куриного супа вместо очертевшей рационной похлебки, победила любовь к разведению домашнего хозяйства.

Так бесславно закончилась жизнь этих шумных существ, которые назывались курами, походили на кур, но нарушая все описания любого учебника зоологии, летали как птицы и питались рыбным пирогом.



# тубабао

В ноябре месяце исполняется годовщина той даты, когда мы, беженцы из Китая, два года просидевшие в эвакуационном лагере на Филиппинах, впервые прибыли в Америку.

Очень мало за эти годы было написано об этой эвакуации и о сидении нашем на острове Тубабао. Помню, покойный писатель Яков Лович составлял какие-то заметки и хотел написать повесть из жизни тех дней. Но тяжелая болезнь не дала ему возможности выполнить свой план, жаль, у Ловича был хороший слог, острая наблюдательность и, вероятно, книга была бы исторически ценная. Но не судил Бог. За эти два года многие и многие из наших тубабаовцев ушли в лучший мир, мы состарились, наши ряды заметно редеют, все-таки двадцать пять лет, это четверть века. Молодежь наша не только выросла, воспитывает уже второе поколение, многие из них занимают ответственные поты, многие закончили высшеучебные заведения, университеты, работают по научной части, одним словом, те, которые тогда приехали из Тубабао малышами, теперь твердо встали на ноги в своей новой стране.

И вот сейчас, когда отсчитываешь прошедшие годы в эту юбилейную дату, встает в памяти ряд эпизодов далекого прошлого, когда мы захваченные волею событий, принуждены были двинуться с насиженных мест в неизвестность, на маленький, затерянный в океане островок, один из самых маленьких в группе Филиппинских островов—на остров Тубабао.

Пишу по памяти и отнюдь не претендую на возможность исторических ценностей этих заметок. Просто вспоминаю, что было пережито, как мы одни со скорбным чувством покидали налаженную многими годами жизнь в Китае, другие с чувством интереса к будущей островной жизни, не жалея бросали службы, распако-

вывали и перепаковывали свои чемоданы, выкидывая все, что казалось лишним, ненужным, обременительным.

И все-таки было общее чувство растерянности, потому что всем нам казалось, что китайские события тех лет должны как-то перемолоться, вылиться в определенные рамки жизни, возможной и приемлимой для нас. Но... национальный Китай проигрывал и все ближе и ближе к городу подходили коммунистические войска.

Сравнительно незадолго до этих дней, в нашем эмигрантском обществе состоялись выборы председателя Эмигрантского Комитета. Выборы проводились в огромном помещении Канидрома и собрали тысячи нас русских.

Я не буду описывать все наши волнения во время этих выборов, нам необходим был твердый, энергичный человек на пост председателя и он был выбран подавляющим большинством голосов. Председателем Эмигрантского Комитета стал хорошо нам всем известный человек, волевой, стойкий в своих взглядах, прекрасный лидер —полковник Григорий Кириллович Бологов.

*

* *

Чтобы поставить палатку—надо большое терпение. Это оказалось граздо труднее, чем расставлять маленькие скаутские палатки в детстве и юности. Кажется, вот-вот и справился с задачей и вдруг плохо натянутый конец вырывается и брезент накрывает тебя с головой. Большая тоже удача получить палатку целую, без дыр; вначале мы об этом не думали и только первые тропические дожди показали нам, как неосмотрительно мы выбирали наше жилище. Тропические дожди—это поток воды, льющейся почти из ясного неба. Набежит какое-то безобидное с виду облачко и через секунду идет проливной дождь. Сколько раз мы штопали, клали заплаты на наши палатки, сколько раз бегали в поисках куска брезента, и сосчитать невозможно.

Лагерь, в первые дни, был похож на цыганский табор, везде стоят нераспакованные сундуки,

всюду там, шум обсуждения, где достать воду, как вскипятить чайник, как получше натянуть палатку. Многих спасает захваченный с собой примус. Примус этот спаситель наш на всех путях нашего беженства. Кому-кому, а изобретателю примуса следовало бы поставить хороший памятник, от благодарного, беженского населения земного шара.

По воду надо ходить на ручей, вниз с холмов в заросли тропических джунглей. К этому быстро приспособились, и женское население лагеря сразу же организовало стирки у этого же ручья.

Наши пароходы, конечно, не имели ванн, допотопного образца, и приехавшие тубабаовцы смывали пароходную грязь в самых джунглях.

Но мы,ведь, были русские беженцы, приспособленные ко всему в жизни, среди нас были первоклассные инженеры, электрики, строители, механики, и поэтому работа в лагере закипела сразу же.

Через пару месяцев у нас был проведен водопровод по всем районам, а потом вспыхнули и электрические лампочки не только в бараках, но и в палатках. Мы стали обосновываться прочно со всеми возможными «тропическими» удобствами.

Мы быстро приспособились к царившей днями жаре, конечно, надо принять во внимание, что большинство из нас—жители субтропического Шанхая—привыкли к жарким летним дням в нашем городе. В Шанхае июль и август обычно нестерпимые жаркие месяца. Здесь же жара была сухая, а вечера и ночи, благодаря близости океана были свежими. Но, правда, и работали мы здесь не по-шанхайски. Наши электротехники лазили по пальмам, проводя электричество.

«Вид корсара—зоркий взор,
То на пальму влез монтер...
Вид такой, что вчуже жаль мне
То монтер свалился с пальмы».

Частушечное преувеличение— с пальмы они

не падали, а великолепно осветили весь лагерь, включая сцену на нашей огромной площади, где потом шли наши комедии, концерты и драмы.

Костюмы мы быстро сменили на «тубабаовское бескостюмье». Но правило для дам, неписанное правило, было такое—в своем районе ходи в шортсах сколько угодно, выходя на «главные улицы», надевай юбку.

Те, кто вывез немного денег, накупили ярких материалов в филиппинских лавчонках, немедленно открывшихся на большой дороге около лагеря, и все дамское население запестрело яркими цветами юбок и кофточек.

Бывало идешь по улице, и если встретишь дам, которые идут в городском платье, судорожно прижимая сумку—так и знай—это вновь прибывшие, это еще не коренные тубабаовцы.

Многие из нас научились носить деревянные колодки, вместо туфель, молодежь так и танцевала в колодках на своих вечеринках, звонко отстукивая такт деревяшками.

Жизнь начинала входить в определенное русло Первые недели мы ходили к морю в сопровождении вооруженных филиппинских солдат—секюрити— но Г.К.Бологов пригласил на обед старших из секюрити и в дружеской беседе охарактеризовал нас, вновь прибывших... и вот мы уже выходим за пределы лагеря без всякой охраны, спускаемся большой дорогой к морю, купаемся, плаваем, бродим по джунглям, исследуя наш маленький остров. Я не могу и не буду рисовать нашу островную жизнь в розовых тонах, очевидно было трудно старикам и больным, были нехватки еды, ибо «ировский» рацион долго заключался в банках австралийской тушонки, многолетней давности, и хлеб первое время выпекали довольно странным способом, утренняя выпечка к обеду нестерпимо пахла вином—перебродила. Потом выпечка хлеба перешла в руки наших русских опытных пекарей и у нас был прекрасный хлеб.— Так вот: не все было в розовых тонах. Но, что пройдет, то станет мило—так и наше тубабаовское существование отмечает в памяти больше светлых сторон жизни—этого

последнего настоящего русского городка в зарубежье. Ведь нас было шесть с половиной тысячи человек. Наши рабочие группы, наши инженеры, наша молодежь, работали без устали, стараясь улучшить лагерную жизнь. Кухни были организованы по-районно, где дежурные дамы и истопники старались из скудных продуктов создать что -либо удобоваримое для пятисот человек. Вскоре стали выдавать на кухни мясо. Сварить обед на такую ораву было очень трудным делом, часто наши макароны сваривались в сплошной ком. В супе же, уже совсем не по вине поварих, мясо надо было искать разве-что с увеличительным стеклом.

«Обсужденья, шум и гам,
То на кухне двадцать дам...
Если шум утих немножко,
Значит: дамы за картошкой...»

Работали кипятилки, выдавая кипяток два раза в день. Нечего и говорить, что везде работали наши лагерники.

На маленьком нашем острове и на Самаре, громадном острове Филиппин, во время второй мировой войны были базы американских войск. Квонсеты, бараки, база с материалами—все это осталось после второй мировой войны, и многими материалами мы пользовались для устройства лагеря.. Все это было брошено и филиппинцы совершенно не пользовались всем этим покинутым строительным и техническим богатством. Можно было видеть квонсет, в котором за эти годы выросла пальма и пробила истлевшую крышу, на базе были брошены ящики с различными медикаментами, часто можно было увидеть кран, поднявший какой-то ящик на полпути и так и брошенный на произвол судьбы. Полуразрушенные джипы, доски, фанерные столы и стулья в картонных ящиках...чего только не было на этой базе, видимо брошенной в один момент в день окончания войны. На эту базу ездили наши рабочие группы и привозили строительный материал для лагерных сооружений. Из этих досок была построена наша сцена, эти доски шли

на помосты над обрывами и оврагами, где стояли наши палатки. Особенно искусные лагерники умудрились выстроить вокруг палаток деревянные веранды. полы в самих палатках. Усаженные цветами, эти палатки выглядели вроде тропических вилл.

Непрерывные тропические дожди размывали наши улицы, и вот были организованы поездки на грузовиках в так называемую каменоломню, где-то, не помню где, на острове Самар, мы ездили и привозили оттуда щебень и мостили наши улицы, так что во время дождей стало возможно ходить по лагерю, не утопая в грязи.

Страшно боялись змей и сколопендр, сколопендры попадались, а змеи видимо все уползли в глубокие джунгли от шума и суеты тысячного населения.

За все время, кажется, был пойман один зазевавшийся удав и несколько бамбуковых змей, которые, возможно, и не были ядовиты.

Помню, как я возвращалась с работы из Эмигрантской Ассоциации и услышала страшный шум, гам и крики у моей палатки, целая толпа лагерников с палками окружила палатку и кто-то крикнул мне:

— Пойдите, уберите с вашего ящика будильник, туда мы загнали змею.

Я спокойно ответила:

— Сами и уберите часы, а я туда не пойду.

В конце концов змею загнали куда-то в угол, поймали и унесли к г-ну Ш. Он у нас считался знатоком по тропическим делам и собирал коллекции всяких насекомых и пресмыкающихся.

Во всех палатках на потолках, около балок, ютились крошечные ящерицы, они ползали по балке потолка и иногда забавно пищали и шелестели, что-то вроде «таку...таку» Однажды у себя на сундуке, переделанном на туалет, в коробке я нашла крошечные, полупрозрачные яички—одна из ящериц, видимо, выбрала мой ящик для своих детенышей. Я их не трогала и в один день из яичек вылупились малюсенькие ящерята, совершенно прозрачные и сразу же разбежались в разные стороны, начиная самостоятельное существование.

В районы, прилегающие к джунглям, приходили большие ящеры, были они разных видов, одни в броне, вроде щитов, другие гладкие зеленые с полосами. Знаю, что где-то в седьмом районе такой ящер прижился к палатке и выходил на свист.

Трава, цветы, бамбуки—все это росло с неимоверной быстротой. Если два-три дня не подрежешь траву около палатки, она вырастала выше походной кровати. Как-то мы несколько часов наблюдали, как растет бамбук, буквально на глазах... я никогда бы не поверила этому, если бы мы специально не следили за ростом растения.

Еще, что поразило меня сразу же после приезда, это тубабаовские куры, они летали, как настоящие птицы и смешно и необычно было видеть, как курица с цыплятами к вечеру взлетает на провода и устраивается там спать, как на насесте.

Остров наш был зеленый, заросший пальмами и другими тропическими растениями и для художников настоящий клад. И наши художники—Пикулевич, Карамзин, Щетинин, Дасманов, Скальковский писали эскизы и картины, очарованные красотой тропических видов и непередаваемых закатов. На закаты ходили любоваться и мы, стараясь вырвать время от работы и торопясь, потому что коротко время на тропиках в закатный час. Вспыхнет небо золотом и в золоте стоят пальмы и море золотое, и в золото одета даль, а через несколько минут уходит солнце и сразу без сумерек спускается тропическая ночь. И каждый раз закат был иной, несравнимый со вчерашним—то весь золотой, то розовато-голубой, то всевозможных тонов и полутонов от оранжевого до темно синего.

А потом сразу наступала ночь и звезды высыпали на темном небе, звезды по-южному крупные, словно дрожавшие в выси бриллианты.

И забывались лагерные будни, полные суеты, хлопот, скудного рациона и неизбежных неприятностей— казалось, что можно часами, вечно любоваться этим небом с четким узором Южно-

го креста, с таинственным блеском Сириуса и где-то далеко на горизонте дрожащим созвездием Большой Медведицы. Часами сидели мы в то время, когда лагерь затихал от дневного шума и любовались красотой бездонного небосклона.

*
* *

**Пословица говорит: «что пройдет, то станет мило».**

Невольно вспоминаются темные стороны нашего тубабаовского житья-бытья. Тяжело было многим из нас. Очень трудно было жить женщинам-одиночкам: со всякой мелочью приходилось обращаться к знакомым или соседям по палаткам. Трудно было укрепить веревки палатки, вбить достаточно крепко колышки, переменить кусок брезента, прогоревшего от жарких лучей тропического солнца, да мало ли еще что приходилось делать в этом нашем бивачном состоянии.

Еще трудней было немощным и больным; в больницах были походные кровати и только после посещения сенатора Ноуланда, больница получила настоящие больничные кровати, которые, вообще говоря, должны были быть доставлены в самом начале нашей лагерной жизни. Многое должно было быть и не было. А самое главное тяготила всех неизвестность, полная неизвестность, что будет дальше.

И, конечно, как всегда на всех жизненных путях поддерживала нас наша вера, наша церковь. У нас было несколько церквей палаточных и наш собор (приблизительно на растоянии версты от лагеря, в джунглях)—церковь, которая была поставлена во дни расположения американских войск во время второй мировой войны и ставшая нашим православным собором в нашей тубабаовской жизни. Наместником архиерея был архимандрит Модест, ныне несущий служение на Святой Земле. Была тьянзинская церковь в первом районе и церковь в седьмом районе, в том же районе, где находился наш Эмигрантский Ко-

Как сосредоточенно, глубоко и с какой верой молились лагерники в своих церквах. Я никогда не слышала ни перешептыванья, ни разговоров во время церковных боголужений и, конечно, церкви были полны молящихся.

Так ярко запомнилась пасхальная Заутреня на Тубабао—дорога к Собору была вся освещена горящими плошками (доставили и приготовили эти плошки наши скауты и кое-кто из прихожан). Эти огоньки, освещавшие дорогу, мерцающие свечи молящихся, храм, затерянный в джунглях, и глубокое небо, светящееся мириадами звезд. И когда крестный ход, обойдя храм показался из джунглей и под тропическим небом зазвучала победная песнь—Воскресения, дрогнуло сердце и душа наполнилась непередаваемым чувством радости и надежды.

Незабываемая пасхальная ночь.

Вначале лагерной жизни были созданы палаточные церкви, а потом, когда наша русская администрация узнала, что в джунглях, недалеко от лагеря стоит деревянная американская церковь —был создан наш собор.

Как только был открыт Собор, в соборном районе поселились и сестры монахини нашего шанхайского монастыря и с ними несколько воспитанниц Ольгинского приюта. Настоятельница монастыря мать Ариадна выехала уже в США, где вместе со своей верной помощницей, Матерью Евгенией открыла Обитель на Фелл стрит. На Тубабао монахини наши, мать Платонида, мать Стефания с сестрами вывезли образ Божия Матери Донския и глубоко веровали, что молитвы их у этой святыни помогут им перенести тяготы лагерного житья. В Соборном же районе была и резиденция (палаточная, конечно) о. Модеста, там же жил и секретарь наш соборный, Кантов.

Наши художники иконописцы Н.Карамзин и Н. Пикулевич, ныне покойные, дали обет написать иконы для Собора в Сан Франциско в знак благодарности и благоговения перед Всевышним за Его милость к нам. Эти две иконы Спасителя и Божьей Матери были написаны и освящены в

старом Соборе на Фултон. Когда была закончена постройка нового Собора на Гери, иконы были перенесены в новый Собор и сейчас находятся в правом приделе храма.

Немного свечей ставят сейчас наши богомольцы у этих, ставших историческими, тубабаовских икон: многие из лагерников ушли в лучший мир, а те, кто остались, с годами забыли все тяготы нашего палаточного житья-бытья.

Сейчас, когда в Соборе возводится новый иконостас, эти иконы очевидно будут перенесены в какую-нибудь другую церковь. Но куда именно перенесут иконы, писанные по обету и годами чтимые бывшими тубабаовцами, пока неизвестно. Но думаю, что наш правящий Архиерей Владыка Антоний, как обычно, мудро разрешит этот вопрос.

Вскоре после того, как мы покинули лагерь и приехали в Сан-Франциско, трудами Т.А.Рубцовой была сооружена икона Воскресения Христова, икона эта работы иконописца Н. Пикулевича находится в Свято Богородицкой Женской Обители на Фелл, там у иконы записаны имена всех умерших на острове Тубабао и по ним постоянно служатся панихиды, и имена их поминаются за Литургией.

Татьяна Алексеевна Рубцова, которая провела эту идею поминовения всех усопших в годы лагеря у иконы Воскресения, несколько лет тому назад скончалась и покоится на Сербском кладбище. Да, там за эти 25 лет вырос знакомый город, сколько там лежит тех, кто вместе с нами провел годы нашего «Тубабаовского сидения».

Незабываемы дни пребывания с нами в лагере нашего молитвенника Владыки Иоанна, великого нашего печальника о нашей судьбе, его паствы. Владыка, уже после того, как покинули наши эвакуационные пароходы Шанхай, пробыл еще некоторое время в Шанхае и выехал в США, чтобы здесь, на месте, хлопотать у Президента и Сенаторов о нас, новых вторичных беженцах. Владыка проездом остановился в лагере, чтобы подбодрить нас, влить в наши сердца веру в близкий исход, чтобы помолиться в наших лагерных цер-

квах. И такова была сила его молитвы, что не только мы, православные, спешили получить его архипастырское благословение, но и жители нашего острова филиппинцы-католики верили в силу его молитв. Сколько раз слышала я от простых рыбаков и владельцев мелких лавченок слова: «Пока ваш святой человек с вами, пока он молится за вас, верим мы ничего не случится и мы не боимся ни бурь, ни тайфунов».

От них же, от филиппинцев, да еще от нашей полиции знала я и о том, что в дни своего пребывания на острове, ночами обходил Владыка Иоанн весь лагерь, осеняя крестом наши палатки и шепча слова молитв.

Мы провожали Владыку Иоанна в США с глубокой верой, что его молитвы, его хлопоты за нас помогут нам, его пастве...и двинутся за ним корабли, чтобы вывезти нас в новые страны. Так оно и сбылось.

Мы всегда отмечали все наши праздники на острове, всегда церкви были полны молящихся. Хорошо помню праздники Рождества Христова. Каким-то образом лагерное начальство достало и привезло елки и нам не пришлось украшать в рождественский убор косматые пальмы.

Каждый район, а было их 14, получил елку, настоящую елку и лагерники принялись готовиться к празднику. Работали почти все: клеили украшения из разноцветной конторской бумаги и из сигареточных серебряных оберток и, право же, я не видела так искусно сделанных бонбоньерок и цепей, как это было у нас на елках. Получилось что-то вроде соревнования между районами—каждый старался, чтобы елка его района была красивее других.

Выдали нам к Рождеству по пачке сигарет и по по 5 конфет на душу. И вот, в день Рождества Христова, после богослужения—заездили по лагерю в джипах Деды Морозы с мешками,заготовленных и тоже самодельных подарков для детей. Всего было три Деда Мороза и я была одним из них.

Никогда не забуду красный костюм с белой ватной отделкой, который мне пришлось надевать в этот день в самые знойные часы тропичес-

кой жары. Приклеенные борода и усы, шапка с белой опушкой—грели, как хорошая печь. На мою долю выпало, кажется, три или четыре района. Пыталась я говорить басом и ребята изумлялись откуда Дед Мороз знает про все их проделки: как они лазили на крышу театральных бараков, как они измазали маленькую девчурку ментолатом (баночку стащили у матери), как они бегали в соседний овраг, куда ребятам бегать не разрешалось. Ребята моего района только хлопали глазами и недоумевали, откуда Дед Мороз знает все их проделки. Ребята у нас в те годы, если и не совсем, то наполовину верили в Дедов Морозов. Время, когда исчезло почти совсем обаяние сказок и веры в чудесное—еще не наступило. Наши ребята на Тубабао любили сказки, распевали детские песни и забавы у них были детские. А жизнь в палатках в джунглях для них только не казалась трудной—была волшебной и занимательной, совсем, как из журнала «Мир приключений».

К концу моего рабочего-дедо-морозовского дня—я взмокла, как мышь и когда переодевалась в овраге, подальше от лагеря, чтобы не дай Бог, не открыть мое инкогнито, право же еле еле отдышалась от жары. Хорошо, что к тому времени у нас уже были купальни с настоящим водопроводом и не приходилось бегать к ручейку за оврагом, чтобы мыться примитивным способом. Я пишу эту статью в солнечном Сан Диэго, здесь так красиво море, такие нежные, палевые закаты. Но разве же можно это сравнить с синим морем тропиков, с закатами, когда пол неба заливает золотая волна заходящих лучей и трепещут в легком ветерке золотые пальмы и море в золотом отсвете. Как все-таки было хорошо, что нас тогда кроме трудностей жизни, кроме гнетущей неизвестности, , окружала такая красота ярких тропических красок природы.

□□□□□



День выпал очень утомительный. Кроме работы на детском рационе и в санитарном отделе района, мы были заняты еще и личным делом, отвинчивали сиденье у поломанного и заброшенного в заросли, джипа. Работа была трудная, хотя я только помогала . Но зато после полутора часов возни, сидение было отвинчено и принесено к моей палатке. Теперь у меня нечто вроде удобного кресла, где так хорошо посидеть после трудового тубабаовского дня.

Мне не довелось работать ни машинисткой, ни секретаршей в официальных лагерных учреждениях, сфера моей работы варьировалась от сцены и театральных постановок, к выдаче детского рациона, от работы в Эмигрантской Ассоциации, к обязанностям по записи кухонных дежурств или работы в Санитарном отделе района. Нет в лагерной аристократии, так сказать по американски к «белым воротничкам» я не принадлежала, поэтому и воспоминания мои лагерные больше всего касаются обычного нашего будничного быта.

К вечеру решила, воспользовавшись свободным часом, прогуляться в дальний район к приятельнице. Тропинки в лагере были все знакомы, все изучено детально, в тот район можно было пройти, минуя большую дорогу, наш, так называемый «проспект», через театральную площадь узкой тропинкой, проложенной в джунглях. Эта дорога была красивей и короче. Идти в тенисных туфлях было легко. За все время лагерного житья я так и не научилась ходить на колодках, ноги у меня в них подворачивались и колодки летели в одну сторону, а я в другую. Я страшно завидовала дамам, которые не только ходили, звонко постукивая колодками, но и прекрасно бегали и танцевали в них.

Дневной жар, сегодня особенно палящий и знойный, уже спадал, в лагере упорно говорили о приближении тайфуна. Тайфуна мы побаивались, хотя многие и старались не показать вида, что их

беспокоит приближение этого страшного ветра южных морей. Конечно, здесь в лагере не было высоких зданий, здесь не будут летать вывески и сорванные листы железа, как это было в Шанхае в тайфунные дни, но все-таки страшно, а вдруг ураган сорвет наши палатки и бросит на наш лагерь водяные валы океана. Тайфуна мы побаивались. И не без основания. Ведь, в конце концов, когда лагерь был уже расселен, когда мы уже были в Сан Франциско, на наше Тубабао налетел такой грозный, страшный тайфун и сорвал оставшиеся бараки и поломал высокие пальмы острова.

За несколько шагов до знакомой палатки, громко крикнула:

— Вы дома?

Звонков, сами понимаете, не было, а постучать в брезент было невозможно. Моя приятельница выскочила мне навстречу и таинственно зашептала:

— Тише, тише, а то он испугается.

— Кто?

— Да ящер наш, пришел голодный, надо его подкормить.

Я осторожно заглянула в палатку. По середине стояла тарелка с остатками еды, а сбоку пристроился большой, с собаку величиной ящер. Крокодил, не крокодил, скорее допотопное существо, ящерица с бронеобразной чешуей.

Я замерла на месте. Действительно, не напугать это «домашнее» тубабаовское животное, может быть оно не любит посторонних.

Ящер напитался и шурша исчез за соседним бананом.

— Как вы его приучили?

— Да и не приучали, пришел как-то сам, стоит и смотрит, как мы ужинаем. Дали ему сухарь, ну он и повадился ходить каждый день. И разве он не симпатичный?

« Что ж,— подумала я,—мои маленькие ящерки в палатке тоже премилые». Посидели, поговорили о текущих лагерных делах и событиях, приятельница моя пожаловалась, что у нее уже второй раз пропадает пишущая ручка «болл пен», со столика.

— Странно, воровства у нас в лагере нет, а вот вторая пропала.

Пишущая ручка в лагере была драгоценностью это здесь, в Америке, мы разбрасываем наши «болл пен», где попало в ресторанах, магазинах, в трамваях. Большое дело какая-то ручка. А в лагере это был предмет ценный. Я заметила, что за последнее время, несколько человек жаловались на пропажу мелких вещей. У соседки по палатке пропало даже кольцо, которое она сняла с пальца, собираясь стирать. Да у меня самой исчезла маленькая чайная ложечка.

И вдруг наш разговор был прерван криками, шумом, топотом бегущих ног. Мы выскочили из палатки. Мимо нас мчались несколько лагерников с палками, отчаянно крича:

— Лови лови ее!

Соседняя очередь., уже собравшаяся у кипятилки за вечерним чаем, немедленно присоединилась к бегущим и дамы, размахивая чайниками и ведрышками, что-то громко кричали. Вся эта толпа устремилась на театральную площадку, мы, конечно, примкнули к общему потоку бегущих.

— Кого вы ловите?—на ходу спросила я кого -то.

— Ворона, ворона,— крикнул мне он и замахал палкой. Действительно над нами, и нельзя сказать,чтобы очень напуганная, летела большая черная птица. Летит, не каркает. И в клюве у нее что-то блестящее. За вороной гонялись довольно долго, пока она не выдала своего гнезда. Было оно в самом несуразном месте, на самом верху пальмы, среди растрепанных, колючих пальмовых листьев.

Немедленно наши электротехники полезли по стволу. Ворона кружилась над их головами и теперь громко и жалобно каркала.

В гнезде нашли целый склад потерянных вещей. Были там и пишущие ручки моей приятельницы и моя чайная ложка и кольцо соседки было еще и десятка два блестящих винтиков и других предметов. Гнездо на всякий случай раззорили..

Обиженная ворона улетела куда-то в джунгли. Очевидно, решила, что воровство в лагере ре-

месло никуда не годное.

Близился вечер. Уже приехали рабочие группы с базы. Надо сказать, никуда так охотно не ездили рабочие, как на базу. Дело прибыльное, всегда, грузя материал для лагеря, можно найти что-нибудь полезное для себя— какую-нибудь доску, кусок случайно не прогоревшего на солнце брезента, при удаче молоток или гвозди, не очень заржавелые. В лагерном хозяйстве все было нужно, или казалось совершенно необходимым. Ветер крепчал. Жалобно стонали колья палаток, трепался плохо привязанный брезент. Палатки наши были старые, частенько протекали, вот и старались достать кусок брезента, чтобы прикрыть протекающую крышу. Помню, когда нас посетил сенатор Ноуланд, по лагерю ездил грузовик с брезентом и палатками, видимо, сенатору старались показать, что палатки меняют и очень заботятся, чтобы лагерники не промокали во время проливных тропических ливней. Но так до конца лагерных дней мы только и делали, что чинили палаточные дыры и передвигали походные кровати, чтобы не лилась вода на голову во время дождей.

Было сумрачно, звезды давно скрылись в нависших тучах. Рядом на кухне чей-то убедительный, оживленный голос давал советы, что делать во время тайфуна:

— Лучше всего привязаться к сундуку, если он есть. Палатку сорвет, а уж сундук не сдвинет...

Стало смешно и страх прошел совсем.

А ветер становился все сильнее и сильнее, пошел крупный дождь, верный признак надвигающегося тайфуна. В районах засуетились, кто-то, пробегая мимо, крикнул:

— Идите к районному, там будут запасные веревки выдавать, крепить палатки.

Веревки действительно выдали, но было этой веревки отпущено столько, что разве, что можно но было привязаться к сундуку, по совету знающей лагерницы.

Ночь прошла тревожно от грозных порывов налетающего ветра. Но тайфун помиловал наш остров в этот раз, свернув куда-то на просторы океана.

И это именно он в тот год общей растерянности перед самой эвакуацией из Шанхая, объединил нас в одно целое, дал нам надежду на выезд из Шанхая, добился того, что на наши просьбы обратили внимание сильные мира сего и Филиппины дали нам право убежища.

Я помню, когда тысячи нас были собраны, Г.К. Бологовым и, как все мы единогласно вслед за ним повторили, что готовы идти пешком на юг, бросив все, но не можем и не хотим оставаться в коммунистическом Китае. Потом пошли долгие дни перед самой эвакуацией. Как жаль, что Г.К. Бологов за все эти годы здесь в Сан-Франциско не написал свои собственные заметки, он то лучше всех знал все те хлопоты в международном масштабе, все те письма и телеграммы, которые посылались во все страны мира с просьбой об убежище.

И, вот, началась наша эвакуация. Первые группы, я помню, вылетели в Японию, к сожалению лишь на краткий срок, чтобы оттуда направиться на Филиппины. Сколько раз нас перемещали с парохода на аэроплан, я говорю, конечно, о перемещении в списках. Помню, с каким восторгом была встречена весть о том, что Филиппины дают нам право убежища. Помню, с какой горечью расставались мы с нашими домашними животными, кошками и собаками, которых брать в эвакуацию было нельзя. Только единицы смогли как-то провезти своих любимцев на острова, нам же всем предстояла задача или усыпить любимцев наших или же найти семьи китайцев, согласных принять наших животных в свой дом. Это совсем не пустяк, совсем не сентиментальность. Житейски расставаться с любимыми животными очень больно и тяжело. Помню, как моя разномастная, пушистая Фомка, привязанная ко мне, была отправлена в очень хорошую китайскую семью, и как я еще две недели ежедневно приходила к ним справляться о ней. Кошка моя просидела все эти дни, забившись в угол и отказываясь от пищи. Так и уехала я, не зная об ее дальнейшей судьбе.

В эти дни у самого Г.К. Бологова был прекрас-

ный шанс выехать в Гонконг с семьей, где его фирма предлагала ему службу—и он отказался, оставшись с нами и вместе с нами разделивший нашу лагерную жизнь. Многие ли помнят об этом? Думаю, что в роли Г.К.Бологова в нашем исходе из Китая будет когда-нибудь написана подробная книга, я же записываю эти свои воспоминания в юбилейный год, хочу только сказать, что за все двадцать пять лет я всегда твердо помнила и знала сколько сделал для всех нас полковник Бологов, и мое чувство благодарности нисколько не уменьшилось за все эти годы полного благополучия и успеха в нашей новой стране.

И вот настал день отъезда. Уже ушел первый пароход Хван Лен на Филиппины, я и мои друзья попали на второй пароход «Кристобаль» Вещи...мы безжалостно выкидывали все то, что в мирной жизни кзалось ценным и необходимым. Никогда не забуду, как наша веселая и полная надежд компания, а было нас четверо: я, моя большая приятельница и два друга наши разбирали мой забитый тряпками сундук, китаянка—амка прислуга только ахала от количества тряпок, полученных ею в подарок, а мой будущий муж со смехом развесил все мои шляпы на деревьях около дома, на улице и китайчата с криком и гвалтом сбивали шляпы палками и уносили, как трофеи. Багаж был сокращен до минимума. И так велико было стремление уехать, бежать от нарастающих событий, что мне не было ничего жалко ни книг, ни вещей. Только самые дорогие сердцу фотографии и то без альбомов; только самое необходимое упаковывалось в небольшие сундучки.

Помню, как китайские власти дали нам разрешение вывезти с собой по 100 американскими и ни копейки больше. Меня это совсем не трогало, у меня в кармане не было и пятидесяти долларов. Многие из более состоятельной публики покупали тяжеленные золотые кольца , чтобы вывезти хоть какую-нибудь ценность, кое-кто ухитрился перевести деньги в Америку.

И вот мы на пароходе «Кристобаль». Громкое название, быть может вполне соответствующее

в прошлом этому пароходу. Если вы помните картины с Дугласом Фербанксом, когда герой дерется на шпагах с пиратами на широкой лестнице корабля, ведущей в рубку...вот таков был наш «Кристобаль» старости необыкновенной, с узорными перилами, с проржавелыми скрепами для спасательных кругов, с кинематографическим профилем старых лет. Пароход с греком капитаном, компрадором китайцем и под панамским флагом—такая вместительная старая галоша. И были мы набиты на этом пароходе, как сельди в бочке.

После погрузки был издан приказ ни в коем случае не сходить с корабля, не выходить на пристань и. т.п. Везде стояла стража, но после пяти часов вечера пристань опустела, ни души, и я помню, как Борис сбегал в соседний прилегающий к пристани район и на последние китайские деньги, ровно на сто тысяч, принес пол курицы и булку хлеба. Это была наша последняя трата денег на китайской земле.

Кают нам, одиночкам, конечно не досталось, счастливцы отвоевавшие каюты гордо поглядывали на нас, палубных и трюмных жителей, но когда мы вышли в море, когда удалились далее на юг, когда настала такая духота и жара, что в каютах не только спать, но и сидеть было невозможно,—вся наша аристократия полезла на палубы, пытаясь найти хоть кусочек места на свежем воздухе. Тогда мы—палубники оказались героями положения.

Тащилась наша галоша до Манилы не помню точно, но более двух недель. Шли мы морским океанским путем минуя цепь островов и вот, помню, как пароход закачало, как налетел сильный ветер, как заскрипела наша галоша и казалось, что вот и она разлезется и потонет. Наверху, в верхних каютах, среди многосемейных, где по большей частью ехали синьцзянцы, т.е. беженцы из Синьцзянской провинции, которые моря и в глаза никогда не видели—началась паника, я ведала этой частью нашего населения и помчалась туда и как раз во время, люди пытались отодрать спасательные круги и рвали их с

проржавевших скрепов. Еле-еле удалось успококоить их и уверить, что это всего лишь небольшое волнение и несмотря на весь скрип—наш гордый «Кристобаль» не распадется на части.

Всю ночь мы стояли небольшой группой на палубе, было немного страшно наблюдать за огромными волнами, в которых, как утка плыл наш «Кристобаль» Была у нас бутылка рома и эту бутылку распили мы в эту ночь, как бы отмечая начало нашего островного путешествия.

Много было смешного, комичного, много и плохого. Кормил нас компрадор невероятной дрянью, зачастую тухлятиной. И вот, когда мы подплывали к Маниле пришлось ему, незадачливому компрадору, который очевидно рассчитывал с выгодой продать свою экономию на продуктах—повышвыривать в море свои запасы. Протухли в скверных холодильниках куры и мясо, и мы собственными глазами видели, как «экономия», сделанная на нашем питании, швырялась в море.

В Маниле мы обогнали первый пароход «Хван Лен» и вышли по направлению к нашему острову, до которого было еще семь дней пути. Помню с каким торжеством мы обгоняли «Хван Лен» и махали им платками и кричали, что будем их встречать на острове. И опять оправдалась поговорка—«поспешишь, людей насмешишь», сломалась у нас машина и поплелись мы обратно в Манилу чиниться и теперь уже беженцы с «Хван Лена» махали нам платками и обещали нас встречать в лагере.

И вот мы на пути на Самар. Самар огромный остров, к которому прилепился наш островок. Недаром же вечерами на палубе мы пели и читали стихи, которые, кстати сказать, я сама и написала:

Переделали мы Самар на Самару,
По обычаю, как будто невзначай.
Если кто захватит самовары—
Будем пить под тропиками чай...

Когда наша починившаяся галоша, наконец-то,

достигла острова, и мы подплывали к пристани-понтону, совсем недалеко от носа корабля, выплыла огромная морская змея, покачалась на хвосте и снова исчезла в волнах.

«Ну, заплыли!...» невольно промелькнуло в голове. «Как же мы будем жить среди таких чудовищ, пожалуй и не покупаешься в море».

Остров был плоский, в кронах пальм и такой нестерпимо зеленый. Такого цвета зелени я никогда даже не предполагала. Высадилась рабочая группа. Мы еще оставались на пароходе. Вечером на лодке, приплыл к нам Г.К.Бологов, он, отправив три парохода из Шанхая, вылетел на аэроплане на Тубабао и вот теперь встретил нас.

Помню, как он говорил, пока что на острове разбивают палатки, что выходить за границы лагеря запрещено, что на море водят под охраной филиппинских солдат. Но это временно. Все уляжется. Обживемся и будет не так плохо...Слова его сбылись вполне..

Г.К.Бологов очень скоро перезнакомился с официальными филиппинскими властями, сумел их уверить в нашей полной благонадежности и не прошло и двух недель, мы, можно сказать, только-только соорудили наши палатки—тоже без практики труд был каторжный—как были сняты все загородки и заставы, и мы стали обживаться—налаживать жизнь русских островитян, возить камень, мостить улицы, которые во время тропических дождей становились почти непроходимыми, заводить свое несложное хозяйство, строить бараки, сцену, на которой потом непрерывно шли спектакли и концерты, проводить электричество и водопровод, устраивать церкви, был у нас и собор в настоящем деревянном строении, где когда-то американские войска стояли, а это была церковь американских войск. Одним словом, строить лагерный городок у самого синего моря. Так началась наша островная жизнь.

Я постараюсь в нескольких статьях заметках, вспомнить то, что пришлось пережить нам тубабаовцам, пусть не полно, за двадцать пять лет многое и ускользнуло из памяти, надо было раньше начать описывать эту эпопею русского скитания. И все-таки это будет памяткой нашего

тубабаовского сидения.

Шли дни, дождливые и солнечные, дни полные надежд на скорый отъезд и дни мрачные, когда гасла всякая вера в то, что придет долгожданный закон.. Приехала австралийская миссия и отбирала людей по возрасту, только что в зубы не смотрела: до сорока лет, постарше, если есть подростки дети; если двое молодых можно впустить с ними только одного старика...одним словом, самые «гуманные условия» въезда в страну кенгуру. Большинство махнуло рукой на Австралию:

— Бог с ними, пусть сами там живут в этой стране, где все шиворот-на-выворот.

Кое-кто попал в списки сразу, играла роль и некая протекция у австралийцев, люди поизворотливее кинулись искать подростков и усыновили их специально, чтобы попасть на австралийский лист. Сколько было драм...когда молодые уезжали, а мать или отец, или бабушка оставались в лагере на неопределенный срок, пока не пришлют визу уже начавшие работать, уехавшие дети.

А мы, огромное большинство, продолжали улучшать наш лагерный быт, твердо веря, что вывезут и нас и именно в Америку, ведь за нас молится и просит наш Владыка Иоанн.(Владыка в то время был уже в США и вел хлопоты у сенаторов и конгрессменов, вместе с русской общественностью Сан Франциско. Работали, шли длинные, жаркие тропические дни, по воскресеньям пытались поехать на океан, подальше от лагеря, вечерами часто наблюдали свечение моря и манговых деревьев. Это было феерическое зрелище; в определенное время года на манговые деревья, корни которых питаются в соленой воде, слетаются миллиарды светляков и дрожат, перепархивая с ветки на ветку, деревья горят огоньками, как гигантские волшебные елки на Рождество. Можно часами любоваться этим изумительным явлением тропиков.

Вот опять скажут, что в моих статьях слишком много «пальм и закатов...» и зря скажут. Потому что, если бы годы островной жизни не прошли у нас в обстановке тропической красоч-

ной природы, если бы не окружала нас зелень джунглей, яркая окраска рыб и крабов, красота закатов, если бы все это не отвлекало нашего внимания от упорного и иной раз безнадежного размышления о скором расселении — мы тяжелей и труднее пережили бы лагерную эпопею.

Я знала людей, которые по какому-то, им одним известному принципу, не выходили два года из своих палаток, кое как на необходимые дежурства и за рационом, эти люди ни разу не вышли на морской берег, а ведь море было в двух шагах от нас. Этих людей было жалко, до такого отчаяния доходили они в вечных думах о неопределенности нашего положения.

Нет, слава Богу, что нас окружало море и пальмы, и тропическая природа и не сидели мы в каких-нибудь темных и пыльных европейских бараках.

Встает в памяти и забавный эпизод с одним из молодых наших лагерников, который работал рассыльным в конторе по расселению. Мальчик он был добрый, отзывчивый и быстрый на решения. Заметил он, что одна семья старичков страшно грустит и мечтает получить визу в любую страну, только бы уехать из лагеря, и подают они в тысячи мест и шлют без конца письма. Наш герой достал бланк в конторе и написал вызов в одну из южных американских республик, не помню точно, кажется в Парагвай. Принес эту бумагу в палатку, радость была неописуемая. Конечно, стали показывать соседям, говорить о скором отъезде. Ну, те, кто читал по-английски, разъяснили им, что вызов этот не настоящий и написан неправильно и вообще, тут какое-то недоразумение.

Нашего героя «привлекли к ответственности», он упрямо на все вопросы говорил —

— Они так хотели получить вызов, что я просто решил их порадовать...

Ну, с места рассыльного он слетел и долго потом в лагере его называли «Парагвайским консулом».

Вспоминаю и те дни, когда нас сняли с закона о перемещенных лицах, сняли потому что из

Манилы сообщили, что лагерь на Филиппинах расселен. Кто сообщил такую нелепость в США, —лагерь расселен—это тогда, когда нас в лагере было несколько тысяч человек. Помню волнения, обсуждения этого вопроса. Надо было нашему лидеру выехать в Манилу и оттуда сообщить о нелепости слухов и донесений о лагере, но выехать было трудно, Ировское (ИРА-международная беженская организация) начальство не давало разрешения. И вот заработала наша собственная почта (почтовики-то были лагерники) и через несколько дней президент Филиппин вызвал срочно полковника Бологова для личного свидания в Манилу.

Перед таким вызовом спасовало лагерное начальство. И Г.К.Бологов выехал в Манилу, а еще через несколько дней президент Филиппин послал телеграмму с требованием расселить немедленно несколько тысяч людей находящихся в лагере на Филиппинских островах.—Так, вот и было. И вошли мы в закон специальной поправкой, как беженцы из Китая.

Недавно попалась мне, вернее прислали мне пачку вырезок из разных газет, о нашей тубабаовской эпопее. Какое разнообразие сведений, зачастую противоречащих одно другому. Особенно в первые месяцы нашей жизни на островах. В Шанхае, тогда еще свободном, одна газета писала, что мы умираем от голода и у нас страшная смертность от укусов змей и скорпионов...

Откровенно говоря, наши продуктовые рационы оставляли желать лучшего, но с голоду мы не умирали. И за все два года жизни в лагере, кажется был один случай укуса змеи и то без трагического исхода. Укусы скорпионов случались не раз, люди болели довольно долго. У нас были спиртовые настойки, одна от укуса скорпиона, другая от сколопендры.

Вот ожоги медуз бывали часто и скажу это довольно неприятная вещь. Филиппинцы, если обожгла медуза, пьют уксус и трут уксусом и песком обожженное место.

Много, много можно написать о нашей островной эпопее, была это необычная и довольно красочная страница в истории нашего русского

рассеяния. Когда-нибудь, я еще вернусь к теме о лагере, когда-нибудь постараюсь коснуться не только лагерного быта, но и различных влияний на лагерное начальство, на то как затягивали выдачу индивидуальных виз, как теряли наши документы, как уверяли нас, что лагерь вышлют целиком в Италию или Германию, подчеркивая, что напрасно мы мечтаем о выезде в Америку. Всяко было.

Было и так, одно из официальных лиц из АЙРА (ИРО) смещенное со своего поста и выехавшее в Австралию, писало нам...лагерникам... письмо, прося наших рекомендаций!. Много было анекдотов такого рода. Но...подходит дата 30 ноября, день моего приезда в Америку и невольно в памяти встают последние дни на острове. Радость, ни с чем не сравнимая, когда я узнала, что мое имя в списках лиц, попавших на первый пароход. Горечь расставания с друзьями. Хлопотливые последние дни в лагере, когда кое-как складывался незатейливый багаж, проходили интервью, получали визы.

И вот мы грузимся на огромный «Генерал Хершей», нас несколько сот человек. Берег острова пестрит от толпы провожающих. Мы, то есть рабочая группа, прибыли на пароход первыми, где были распределены между нами самые различные наши обязанности в нашем новом, плавучем доме. В одиннадцать утра прибыла и вся партия отъезжающих с острова. Был отслужен молебен отцом Филаретом Астраханским, который вместе с Г.К.Бологовым, лагерным начальством и представителем гостеприимных Филиппин, г-ном Тинио, приехали проводить нас, первых островитян, покидающих лагерь. К вечеру, часа в четыре, загудели машины, сняли трапы и наш зеленый остров начал медленно исчезать из глаз. Поворот, еще поворот, и мы на пути в Америку.

А с ночи началась у нас на борту парохода почти повальная, самая странная болезнь на свете, морская. Все мы довольно плотно закусили за ужином, собственно говоря, попросту объелись с непривычки, после тубабаовских супов из сухих

овощей и макарон, попросту объелись колбасами, сырами, чудесным кофе со сливками, всеми деликатесами, о которых почти забыли за два года. Морской болезнью болело более двух третей пассажиров парохода. Мы, рабочая группа, просто сбились с ног, пытаясь поддержать чистоту парохода, вытаскивая жертв морской болезни на палубы, на свежий воздух, уговаривая, утешая, помогая заболевшим. Так прошло три дня, постепенно тубабаовцы начали приходить в себя. осваиваться, привыкать к качке и помогать рабочей группе по всяким корабельным делам.

Везде на стенах были вывешены самые строжайшие предписания: «С командой не разговаривать, на верхнюю палубу не ходить и проч. и проч.»

Мы и не разговаривали...Команда начала разговаривать сама.

Почему-то у командного состава появилась масса дел с нашей временной пароходной канцелярией, где работали наши машинистки. Через день, два, объявления со стен были сняты и офицеры корабля вместе с капитаном стали нашими постоянными гостями на импровизированных концертах.

Помню пресмешной эпизод: внизу, где мы спали, в нашем дамском «компартменте» происходила утренняя уборка. Заведующая в это утро хорошенькая, живая и энергичная г-жа Н. только что закончила уборку, как на пороге показалась так называемая инспекторская ревизия— один из офицеров корабля и представитель ИРО. Офицер вошел с сигаретой в зубах. А на стенах вывешено строжайшее предупреждение, что в трюме курить нельзя.

Н. немедленно встала в дверях трюма и сказала:

— Я вас не впущу. Извольте бросить сигарету.

Офицер растерялся и пробормотал что-то вроде того, что он здесь начальство. Но нашу энергичную даму смутить было трудно.

— Мне совершенно безразлично начальство вы или нет. Но раз в трюме нельзя курить, это распространяется на всех. И на начальство в особенности.

Пришлось офицеру погасить сигарету и извиниться.

Шли хорошо. Погода была чудесная. Переставляли часы чуть ли не дважды в день. Два раза праздновали знаменитый День Благодарения (с непременной индюшкой). Больных в нашей группе не было, только кое кто еще мучался приступами морской болезни. Никогда не забуду наши палубные «посиделки» с пением, под звуки гитары, а иной раз и настоящие оркестровые концерты тоже на палубе—мы ехали вместе с оркестром Тебнева.

И вот наш плавучий бивуак, наш огромный «Генерал Хершей» входит в знаменитые «Золотые Ворота» Сан Франциско. Помню расвет, очертания моста, где-то вдали огоньки пристаней, мы бросаем в воду приготовленные заранее монетки—на счастье будущей жизни. Поворот и перед нами, как сказочное видение, из дымки тумана, весь ажурный, белый, белый вырастает город нашей мечты и надежд—наш прекрасный Сан Франциско.

Это было. Двадцать пять лет тому назад.





# ОТСТУПЛЕНИЕ

# То, что нельзя забыть

Степь...Сожженная солнцем трава,
Чуть скрипят у повозок колеса,
Дум неясных полна голова
И недетские мучат вопросы.

Почему мы покинули дом,
От кого и куда мы бежали,
Отчего столько горя кругом...
Злые люди нас с Волги прогнали.

Почему на мой детский вопрос
Мама ласково шепчет: «не знаю»
И глаза ее полные слёз,
Потемнели от скрытой печали.

Почему мой отец молодой
Белым стал и согнулся немного...
И когда мы вернемся домой
И окончится ль эта дорога?

И не тянет меня поиграть—
В уголок я забилась пугливо:
И мне хочется громко кричать
С затаенной не детскою силой.

Степь молчит...Только слышно едва,
Как привычно трещат пулеметы.
Дум неясных полна голова
И на личике тень от заботы.

# Заутреня в Даурских сопках

Фантазировать? Не умею. Перебираю в памяти прошлые Пасхи — радостные, веселые, пасмурные, тоскливые одиночеством. На родине, в детские дни. На чужбине. И почему-то напоминают мне эти поиски пасхальной темы, тибетские четки: несколько черных бусин, потом красные, потом опять черные.

Так вот на красных бусинах и задерживается память, радуясь, вглядываясь в прошлое, и снова перебирает дни-четки.

Всплыло. Из детства.

Тогда жизнь шла скачками — от обозов к эшелонам, от эшелонов к временным бивуакам в военных городках.

Правду сказать, это теперь в прошлом кажутся эти дни грустными днями печали и разлуки. Тогда восьмилетнее сердце мое еще не могло знать печали будущих лет. Тогда жизнь внезапно стала приключениями из книг Жюля Верна и Майн Рида. Радовали и собственная лошадь, и настоящее седло, и горький дым бивуачных костров.

Помню военный городок, затерянный в сопках, казарменные здания, полупустые большие комнаты временного жилья.

Еще яснее встают в памяти сопки, зеленеющие первой весенней травой, и большая канава талого снега, невдалеке от дома.

Страстная пятница. Разговоры взрослых, озабоченные, встревоженные:

— Он запретил служить заутреню.

Неважно, кто он. В те сумбурные дни эти неизвестные «они» много запрещали, и запрещения от них часто были ни на чем не основаны. Запрещали от того, что власть давала право на запрещения, от упоения собственной силой, иной раз просто так.

Но это объяснение дошло до сознания только в зрелом возрасте, тогда же «он запретил» зву-

чало непонятно и страшно.

С раннего детства привыкла в эту ночь, полусонная, стоять со свечой в руках и ждать, когда яркая змейка побежит к куполу знакомого храма и вся церковь вспыхнет тысячами огней.

А тут—«он не разрешил». Почему?

— Иди играть. Потом узнаешь. И нечего маленьким слушать, когда говорят взрослые

Обидно. Плетусь нога за ногу на улицу. Во дворе на глаза попадается младший братишка. Тоже чем-то озабочен.

— А ты в церковь пойдешь на Пасху?

Солидно отвечаю:

— Не знаю. «Он» , кажется, не разрешил батюшке служить.

— А почему?

Торжествующе улыбаюсь и говорю:

— Ты еще маленький, чтобы знать. Когда вырастешь, я тебе расскажу.

Брат хнычет. А мне вдруг до слез хочется обидеть его еще больше, чтобы не хныкал, а ревел.

— Вот что, Миша, видишь вон ту канаву. Если перепрыгнешь с разбега, я тебе все расскажу.

Брат косится на канаву.

— Да она большая.

— Я так и знала. Ты трусишь! Девчонка, нюня..

Этого достаточно. Красный кушачок полушубка мелькает в воздухе, и через секунду отчаянный вопль несется из канавы. Неудачный прыгун рыдает навзрыд и никак не может выбраться из талого снега.

Сижу без сладкого. Подумаешь наказание! У меня под подушкой спрятана плитка шоколада и мне наплевать на какой-то кислый компот.

Вот, возьмут ли в церковь завтра вечером, это важно. Будет ли заутреня? Это важно.

Заутреня была. Неразрешенная. Тайная заутреня. Помню. Темная, черная ночь. Белый луч прожектора большим светлым зайчиком бегающий по городу.Шли крадучись, прячась, боясь этой прыгающей яркой полосы огня. Окольными дорогами...сопками, оврагами в церковь в одной из казарм (настоящая церковь была завалена снарядами).

Было много, много народу. Говорили шепотом пугливо оглядываясь на луч прожектора, прыгающий по дорогам.

И когда священник провозгласил ликующее «Христос Воскресе,—не вспыхнули бесчисленные огоньки паникадил, да их и не было, но какое-то чувство радости,ликования охватило притихшую толпу, и у нас, детей, забилось сердце от счастья и слезы подступили к глазам. Это я помню.

Шли домой также крадучись, кое-кто нес в руках свечи, оберегая рукой пугливые огоньки. Шли, рискуя, и от светлой радости не замечая этого риска. И так же прыгал прожектор, рыскал, нащупывал. И особенно четко вырисовывалась в темноте ночи недостроенная, заваленная снарядами церковь.

Раньше заутреня казалась мне, ребенку, чем -то праздничным, ярким от света, от блеска огней, от парадности риз, от трелей хора. После той ночи навсегда, на всю жизнь поняла, что бывает свет без светильников, и ярче солнца. Той ночью мое детство что-то спрятало в душе такое что полюбила я полутемные церковки, дрожанье немногочисленных свечей, тихое мерцание лампад.

Ни о чем мой рассказ...и о многом. О том, большом и таинственном, что дает нам пасхальная ночь все равно- в освещенном и украшенном парадном соборе, в заброшенной ли часовеньке, или просто под открытым небом, лишь бы звучали в душе таинственные ликующие слова— «Христос Воскрес!»

1983

# «Возвращается ветер на круги своя»

Большая нарядная квартира. В детской, светлой и солнечной, обои в картинках из сказок. Тут и Кот в сапогах, тут и баба-яга Костяная нога, и Красная шапочка, и Серый волк. На диванчике, свернувшись клубком, сладко спит пушистый кот Мурзилка. Рядом, в маленьком креслице сидит девочка и внимательно разглядывает книжку. Картинки такие красивые, обложка блестящая, и странички все в незнакомых ей черточках. Читать она не умеет—ей всего три с половиной года, но куклы и даже деревянная лошадка—заброшены. Больше всего маленькая Ирочка любит книжки. Она знает, эта сказка вроде тех, которые вечерами рассказывает ей няня Поля. Как бы хотелось знать, что за сказка вот в этой книжке. Ирочка топает из детской в папин кабинет. Там тоже есть книжки в шкафу, но такие большие, что и не поднять. И без картинок.

— Папа, прочти!

— Ирочка, мне надо ехать, попроси маму.

Но мама тоже занята, она сидит за маленьким столиком и что-то пишет.

— Мама, прочти!

— Потом, родная, я сейчас занята.

Ирочка направляется в нянину комнату. Та сидит и что-то шьет. Быстро мелькает иголка в ловких няниных руках.

— Няня, прочти!

Но и няня занята. Ирочка решительно бежит в кухню и дергает за передник кухарку Анисью.

— Прочти!

— Ах ты, грех какой Недосуг мне, обед надо готовить, иди с куколками поиграй.

— Не хочу! Прочти!

Анисья добрая. Она отходит от плиты и читает нараспев историю про Степку Растрепку.

— Ну и хватит с тебя, недосуг мне, жаркое пе режарится!

И так изо дня в день. Ходит из комнаты в ком нату маленькая девочка с неотвязным «прочти!» И вот как-то няня Поля усадила ее на диванчик и взяв книгу, стала показывать:

— Вот видишь, такая буква покойчиком—это «П», а вот эта, с перекладинкой посредине,— «А», а вместе— «ПА».

Детский ум быстро схватывает то, что инте ресно. Через месяц науки Ирочка по складам могла прочесть— «папа ушел в сад», «кот спит» а через полгода маленькая Ирочка, после завтра ка, бежала к шкафу с журналами и запоем чита ла любимые журналы «Светлячок» и «Задушев ное слово».

Взрослые удивлялись.

— В четыре года так читать,—удивленно кача ла головой крестная.— Кто тебя научил?

— Няня Поля.

И с трудом можно было оторвать девочку о чтения. Особенно любила стихи, читала их нара спев. А еще через год маленькая Ирочка и сам стала писать маленькие стихи, и все они был посвящены пушистому коту Мурзилке.

А потом исчезли и детская, и любимый сад Прошли годы—по дорогам в теплушках, по сте пям,—годы отступлений. И...

Это кажется только, как мир приключений,
И не в тягость еще обиход кочевой,
И давно позабыты и дом, и качели,
И запущенный сад над любимой рекой...

Жизнь шла так быстро, мелькали года за го дами. И в чужой стране, в работе и заботах, по дошла старость. Ирочка—уже давно не Ирочка, Ирина Николаевна—сгорбленная старушка. вот—потеря зрения. И теперь, в своем малень ком домике, тянутся скучные дни.. Навещаю друзья, знакомые, и, как прежде, в детские го ды, старенькая Ирочка говорит:

— Прочти!

— Да я на минутку зашла, тороплюсь!

— Прочти! Ну хоть немного! Вот газета. Та

про Россию статья. мне говорили.

— Я лучше расскажу тебе.

— Нет, прочти!

И так весь день одна просьба к близким, к знакомым: Прочти!

И всем некогда, все заняты своей жизнью. И давно нет на свете погибшей где-то няни Поли, которая помогла когда-то маленькой девочке, ходившей за ней с неизменным «Прочти!»

И как-то разсказала она зашедшей приятельнице, после того как та мельком прочитала ей несколько газетных строк:

— А ты знаешь, через десятки лет возвращается ветер на круги своя.

Та не поняла:

— О чем ты?

— Нет, я так...

# В ледяные дни

Нам, современной пишущей братии, под Рождественские праздники, приходится очень тяжело. Редактор месяца за два ласково предупреждает:

— А как относительно рождественского рассказа?..

Собратья по перу любопытно спрашивают:

— Ну что, даете что-нибудь в Рождественский номер. А какая тема?

«Почитатели таланта», ибо, если у вас даже нет таланта, почитатели все равно имеются, до того разнообразны литературные вкусы у людей, — так вот почитатели ласково льстят:

— Каким новым шедевром вы нас порадуете под праздники.

А тем...тем очень много и тем нет совсем. Потому что старые, давно известные, так сказать стандартные рождественские темы сейчас никого не удивляют и не трогают.

Ну кого сечас может растрогать одинокий мальчик, замерзающий на улице, если в продолжение десятков лет, этих мальчиков беспризорных замерзло, умерло от голода, погибло сотни тысяч на огромном пространстве нашей далекой страны, и что уже мир, мы сами читали об этом зачастую просто, как газетную хронику. Отдел привидений, страшных историй, рождественских призраков? Их тоже пора давно сдать в архив, ибо самым страшным «рождественским рассказом» будет не фантазия в стиле Эдгара По, а самая обычная вырезка из газеты, поветствующая о жизни концентрационных лагерей, обычной будничной рутинной жизни.

Нам, пережившим две войны, две-три революции и бесконечное количество всяких добавочных удовольствий, стало ничего не страшно, и нас трудно ратрогать выдуманными историями. Поэтому и рождественский рассказ для писателя, какой бы он не был, дело почти невозможное. Приходится прибегать к воспоминаниям, но и они зачастую не выручают, ничего собственно нового. Почти у каждого из нас была в жизни ёлка походная, ёлка эмигрантская. Рождество совсем без ёлки и т.д., и т.п.

Потом по традиции, для рождественских рассказов требуется обязательно счастливый конец с моралью. Правда должна торжествовать во чтобы то ни стало. И вот тут, невольно хочется сказать: Господи, да когда-же это, когда, наконец, не по рассказам, а наяву восторжествует Твоя правда для нашей страны. Когда?

И все-таки рассказ написать надо.

Вот вам и рассказ.

*

* *

Ненастным, непогодным выдался вечер Сочельника. Небо утонуло в свинцовых тучах. Тайга охала, скрипела, стонала. Ветер грозным порывом взвивал снежную пыль и страшным ледяным вихрем проносился над застывшими елями.

Сквозь стволы белых, качающихся от ветра сосен и елей, зимним светляком мерцал огонь одинокой, заброшенной вдалеке от дорог, лесной

сторожки.

В сторожке было светло и уютно, домовито. Старик сторож встречал великий праздник в кругу своей семьи. Небольшая елочка горела веселыми огоньками свечек, озаряя чистенькую, праздничную комнату.

Заброшенные далеко, только смутно слышали обитатели сторожки о великой смуте, охвативший необьятную страну.

В ближайшем селе сторож не был около месяца, а когда ездил за продуктами к празднику, много рассказывали ему таежники страшных, диковинных вещей, но было все расказанное смутно, непонятно и чуждо, а как вернулся к себе в величавое спокойствие тайги, так и растаяли в памяти страшные вести. Жизнь шла своим обычным, давно установленным порядком.

*

* *

Ветер бушевал и разбойничал по лесу, взрывая белые сугробы, пытаясь сломать, вырвать с корнем исполины таежные.

Тяжело дыша, с трудом передвигая натруженные ноги, тащилась в этой буранной пляске, заморенная лошаденка.

Останавливалась, чутко прислушиваясь привычным конским слухом к завыванию ветра и снова тяжело вытаскивала из сугробов бездорожья обмерзшие, лохматые ноги.

Седок, закутанный с головой в доху, не понукал, не дергал вожжами, только изредка что-то похожее на человеческий голос вырывалось откуда-то из глубины возка.

Кто-то стонал там среди узлов и корзин тяжелым, придушенным стоном.

Лошадь последним усилием выбралась за обледенелые сосны и, вытащив повозку на взрыхленную поляну, надорванно остановилась. Седок, словно очнувшиь от оцепенения, слез с козел и, путаясь в полах дохи, подошел к лошади.

— Что, Гнедко, что бедненький мой?...

Сквозь простудную хрипоту голоса звучали ласковые женские нотки.

Лошадь скосила глаз, пожевала губами, тяжело дыша, словно успокаивая, сама уставшая, изнеможденная.

Из повозки раздался слабый стон. Женщина бросилась к возку, и высвободив лицо из под косматого меха дохи, склонилась к груде узлов.

— Сережа, что? Пить хочешь. Тебе лучше? Правда, лучше?

В ответ неслось несвязное бормотанье.

Женщина опустилась рядом на снежную подножку и прижалась лицом к ногам лежащего, укутанного пледами и шинелью человека.

Летели минуты. Всхлипывал ветер. Снег ровной белой пеленой заносил поляну, возок, покорного Гнедко, затерянных в таежной глуши.

Женщина стряхнула с себя наметенный снег и снова наклонилась к лежащему.

— Ты спишь, Сережа? Вот видишь. Кризис миновал. Я знала, я чувствовала, что так и будет. Господи, да ведь сегодня Рождественская ночь. Сережа, ты слышишь?

В ответ не раздалось ни звука, ни стона.

Спит...стянула варежку, чтобы прикоснуться к родному, такому горячему за последние страшные дни лбу, рука привычным движением скользнула по кудрявым волосам.

И отчаянный, нечеловеческий вопль пронесся по затихающей тайге.

*

* *

— Кричат что ли,— отрываясь от блюдца с чаем, прислушался старик сторож.— Поди слыхала, что рассказывал-то я. Страшное что-то деется.

— А ты не всякому слуху верь. Поди врут все. Народ продувной,—такого наплетут. Слава Тебе Господи, встретили праздничек по хорошему- крестя рот, перетянутый зевотой, возразила сторожиха.

*
* *

Ели, попрежнему спокойные и белые, серебрились в причудливом блеске звездной ночи. Тайга смолкла. Крепчал мороз. Рождественская ночь торжественная, наполненная звездным сиянием, окутывала затихшую тайгу.

Цепенели руки без варежки, тяжестью наливалось тело и казалось, что холод от мертвеца входит в душу, в сердце.

Прижалась к уже холодным. уже костенеющим ногам и не было ни воли, ни сил. Проносились обрывки мыслей, воспоминаний, каких-то образов.

Поход. Одинокость отбившихся. Грозное бредовое горение тифа. Мертвый холод любимых губ.

Мелкой дрожью вздрагивала замерзающая лошадь, обессиленная в последнем снеговом походе, пряла ушами, почуяв смерть.

Откуда-то из детства должно быть проползла мысль, воспоминание: свет, ёлочные свечи, Рождественский вечер.

Знакомые звуки вальса вспорхнули откуда-то с пушистых ёлочных ветвей и полетели нарядными мотыльками радости. Одинокая ёлка на поляне вдруг зажглась огоньками, затрепетала блёстками, осветилась лампадою старинного киота.

И сама она легкая закружилась в танце,засмотрелась в живой бархат любимых Сережиных глаз.

---

И пошли они, как в святочных рассказах прямо к Богу на ёлку. Сколько их...их имена Ты, Господи, веси.

---

Сквозь стволы деревьев тускнел огонек сторожки.

Старик сторож, степенно крестясь, тушил догоравшие ёлочные свечи.



# На спинах верблюдов

Мне сегодня выпало самое большое счастье: папа разрешил мне ехать не в повозке с мамой и братом, а взгромоздиться верхом на верблюда, Ваську. Было очень удобно сидеть между двумя горбами верблюда, гордо поглядывая по сторонам с сознанием своего превосходства над всеми. Еще бы: выше всех!

Васька идет немного враскачку, меня чуть укачивает, резко пахнет от его твердой, войлочной рыжей шерсти. Мы с Васькой большие друзья, я иногда приношу ему, как лакомство, горсть соли и он осторожно слизывает с ладони большим шершавым языком ; губы у него теплые, влажные и мягкие: очень часто, когда я подхожу к нему и глажу его, он наклоняет свою узкую, слегка приплюснутую голову и словно целует меня в ухо. Мы с ним большие друзья.

На меня он никогда не плюет. А между прочим, я два раза видела, как Васька выведенный из себя понуканием, плюнул прямо в лицо Петру Петровичу. И Петр Петрович сам виноват: разве он не знал, что если верблюд лег по дороге, значит, так нужно? Он полежит несколько минут и опять встанет. Значит, он так устал, что ему надо несколько минут отдыха,, а Петр Петрович стал на Ваську кричать и пихнул его ногой. Ну, и тут Васька повернул к Петру Петровичу голову и спокойно, спокойно плюнул ему в лицо.

Петр Петрович взвизгнул, как-то совсем не по взрослому, и побежал вытираться. И никто ему не посочувствовал. Даже папа сказал:

— Поделом ! Нельзя бить верблюда. Стыдно выходить из себя взрослому человеку.

Удивительно! Взрослому человеку стыдно выходить из себя. Почему взрослому? Да мы дети, никогда из себя не выходим. Ну, стала бы я бить Ваську? Да никогда! Вот другой офицер, Александр Иванович, он и с лошадьми и с верблю-

дами — первый приятель. Ляжет верблюд в дороге, он спокойно подойдет, погладит его, пошепчет что-то на ухо и, через минуту, верблюд поднимется и снова повезет нашу повозку. А зато как Александра Ивановича все любят — и лошади и верблюды и мой Пиратка! Только свистнет он, Пиратка бежит к нему со всех лап и хвостом машет от удовольствия.

Я сижу на Ваське, тихонько поглаживаю его по горбу и гордо смотрю вниз. Брат в повозке уже проснулся и начинает реветь, ему тоже нужно ехать верхом на верблюде, но вдвоем нас не посадят, потому что мы обязательно подеремся. А один он слишком мал.

Сегодня в обозе все веселые. Ночь мы стояли в хорошем месте, была почему-то невыжженная степь — папа говорит — река где-то недалеко): перед стоянкой попались встречные киргизы,и мы купили у них лепешки.

Лепешки они пекут огромные, и везет их киргиз за пазухой; очень вкусные лепешки. Вечером варили кашу из остатков риса и пили чай. Лошади и верблюды паслись рядом, на небольшой лужайке.

Все выспались и утро было прохладное. Осень уже. Если бы это было дома. я бы уже ходила в школу. Но ведь теперь все перепуталось. И совершенно бесполезно спрашивать маму и папу, куда мы едем; они и сами не знают. Когда я начинаю рассуждать сама с собой, я думаю, что все это должно кончиться когда-нибудь, большевиков победят и мы все, все вернемся домой.

Скоро будет большой город Иргиз; вот там мы отдохнем, как следует. Я слышала, как мама советовалась с папой о том, что можно будет купить в Иргизе перед тем, как двинуться дальше. Я знаю, что всего надо сделать три тысячи верст нв лошадях, ну и на верблюдах, конечно тоже. Стыдно сознаться, но я все время прислушаиваюсь, о чем говорят взрослые; я знаю, что подслушивать стыдно, но должна же я быть «в курсе дела». Это не моя фраза, это вчера сказал один офицер папе, и мне очень понравились эти слова, нарочно весь день повторяла, чтобы не забыть.

Жоржик тоже что-то начинает соображать. Вчера, когда мы ходили с ним вместе в степь, он мне сказал:

— Я бы хотел назад, домой, к няне.

Вот тут-то я поразила его так, что он рот раскрыл от удивления.

— Подожди! — сказала я важно.— Еще ничего не известно, но я буду тебя держать в курсе дела.

С папой и мамой я больше о доме не говорю: что толку спрашивать, когда все равно тебя считают такой маленькой, что даже не отвечают, а пытаются уговорить? Точно я плачу. Точно, я ною. Да я совсем не плачу больше!

Даже тогда, когда в последнем поселке перед степями меня укусила чужая собака и я почти месяц хромала — разве я плакала?..

Впереди нашего обоза далеко-далеко, почти на горизонте, показалась какая-то точка. Кто-то скачет нам навстречу. Ближе, ближе... Вот уже видно всадника: он на маленькой, лохматой лошаденке, сам тоже небольшого роста. Увидел наш обоз и замахал каким-то белым конвертом над головой. Обоз остановился.

Срочная депеша ко всем частям! — человек спешился и подошел к отцу. Какая досада, мне очень трудно слезть с Васьки. Так ничего и не знаю и...не буду в курсе дела.

— Александр Иванович! — закричала я проходящему мимо офицеру.

— Что тебе?

— Помогите мне слезть с Васьки.

— Ну, вот! То просила посадить тебя, а тут вдруг хочешь слезать. Устала? Подожди, сейчас вернусь.

И Александр Иванович быстрыми шагами прошел мимо, направляясь к папе.

Тогда я стала тихонечко дергать за поводок, уговаривая Ваську лечь на землю. Васька повернул ко мне голову и точно понял: стал опускаться. Но было уже поздно. Солдат — теперь я ясно видела, это был солдат — вскочил на своего коня и поскакал от нашего обоза. Вот так ничего и не узнаю! Сейчас, наверное, поедем дальше.

Но, к моему удивлению, мы никуда не поехали

Вышла мама из повозки. Около отца стали собираться офицеры, дамы о чем-то спрашивали маму. Ребята (их у нас в обозе мало, и все маленькие, вроде Жоржика) побежали в степь, Жоржик тоже побежал с ними; видно затеяли какую-то игру. Но мне было не до игры: я твердо решила выяснить что случилось, отчего мы остановились хотя еще до сумерек долго, а мы никогда рано не останавливаемся на привал.

Я взяла из повозки книжку и села неподалеку от мамы и папы, сделав вид, что читаю, а сама старалась понять, о чем так оживленно, вполголоса совещаются взрослые.

Иргиз занят красными, многие обозы свернули с прямой дороги и пошли в обход. Я лично думаю, что для нас это равносильно смерти. Почти триста верст без воды, солончаковыми степями, даже верблюды не выдержат...

Папа говорил спокойно, но я видела, как побледнело мамино лицо, как кто-то из дам невольно всхлипнул.

— Мой совет идти вперед, выкинуть все возможное, чтобы облегчить повозки, запастись водой; надо рассчитать так, чтобы подойти к Иргизу ночью—попытаемся пройти мимо красных аванпостов.

Тут мама заметила мне

— Что ты тут делаешь? Иди, пожалуйста, поиграй с детьми, побегай, успеешь еще насидеться в повозке.

— Мамочка, такая книжка интересная!—попыталась я слукавить, но мама была неумолима.

— Иди, иди, посмотри, где Жорж, а то еще забежит далеко от обоза; иди, посмотри за братом.

Я медленно, нехотя поплелась в степь. Жорж копал какую-то яму в печке, присев на корточки.

— Кто это приезжал? Ты знаешь? Солдат какой -то.

— Ничего то ты не понимаешь. Совсем не солдат, а ординарец с депешей,—важно проговорила я и, захлебываясь от желания кому-то все все рассказать, выпалила сразу:

— Ты знаешь, Жоржик, красные захватили Иргиз, и мы прямо туда поедем, потому что кру-

гом нет воды, и ехать кругом нельзя.

Жорж неожиданно громко и отчаянно заревел

— А-а-а, не хочу! Я боюсь, я боюсь. А-а-а!

— Молчи, ты не мальчик, а настоящая баба! Тьфу! девченка паршивая,—обозлилась я и пошла назад к обозу. Жорж, все еще плача, побежал за мной.

После ужина—какой-то каши, сваренной в котелке, нас уложили спать в повозку, но я только притворилась спящей и, когда брат заснул, потихоньку вылезла и, прячась в тени, подошла ближе к костру. Я видела, как сестры и мама зашивали в платье деньги и какие-то бумаги, видела, как взрослые выбрасывают вещи из повозок, кое-кто бросал вещи в костер и он пылал, огромный и зловещий, в эту темную, темную степную ночь. Тихонько ступая босиком, я пробралась назад в повозку, нашла свой маленький чемоданчик с любимыми книжками и подошла с пачкой книг с другой стороны костра, все еще прячась от взрослых.

Все жгут, надо и мне сжечь свои вещи, мама сказала...Я бросила в костер растрепанный любимый «Светлячек», самый любимый журнал детства, потом туда же полетели «Приключения Мурзилки» и «Макс и Мориц». Когда бросила в огонь последнюю книгу, самую любимую, самую дорогую «Сказки Андерсена» почувствовала, как по носу ползет крупная соленая слеза.

— Ты почему не спишь? Что ты делаешь?

— Мама, мама, я тоже сожгла, книги свои сожгла! Мама, я все понимаю, я знаю, надо все бросить, чтобы лошадям было легко, чтобы мы пробрались мимо этих а-ван-постов...—и, уткнув голову в мамины колени, я тихонечко, жалобно заплакала.

— Ну, не надо, детка, не надо! Я знаю, ты все понимаешь, ты умненькая, не надо! Господь милостив, все будет хорошо.

Только к утру двинулся наш обоз медленно; надо было рассчитать так, чтобы только к ночи добраться до города, до страшного города, где были красные

# Это было давно

Зима 1920 года. Наш эшелон, набитый до отказа семьями белых воинов, медленно ползет по Великому Сибирскому пути. Безграничны российские просторы. Границы далеко. Да никто и не думает о том, что нам придется покинуть свою родину, у каждого надежда, что вот еще одно усилие, еще немного и наступит долгожданная победа и мы вернемся назад к разрушенным домам, к уюту привычной, столетиями сложившейся, жизни.

— Мама, а как ты думаешь, они, большевики не убьют кота Ваську?—задаю я вопрос.— А Волчка не убьют, ведь если они войдут в дом, он будет лаять? А скоро мы вернемся, мама?

Мама варит кашу на маленькой печурке посреди теплушки и ее ответ ласково ободряющий:

— Я думаю теперь уже скоро. Ты, ведь, слышала наша армия продвинулась вперед, вон и канонады не слышно больше.

— Я знаю, мама, я слышала, только ведь там то у нас, в Сызрани, еще они.

Они—это страшное слово. Они, это те, кто убили дядю Сережу, а тетю Марусю и Верочку расстреляли в тюрьме. Слезы подступают к горлу. Я так любила Верочку, она была старше меня, но всегда принимала участие во всех наших детских играх, когда семья дяди приезжала к нам погостить.

Новая мысль появляется в моей детской голове, еще не умеющей сознавать весь ужас действительности.

— Мама, а как же Рождество? У нас будет елка?

Елка. И правда, ведь, Рождество так близко, а какже с дедом Морозом? И опять новый вопрос:

— А дед Мороз, он у них или тоже эвакуировался?

Какое трудное слово «эвакуироваться»—это

значит сбросить в чемодан, в узлы то, что подвернется под руку, бросить дом, идти пешком, ехать на лошадях, на верблюдах, в теплушках.

Вот тоже теплушки. Я ведь хорошо помнила, что в этих вагонах возили лошадей и коров, если мы ездили к дяде или в Москву к сестрам, вагоны были другие—такие красивые, нарядные и было очень приятно смотреть в окна и следить, как бегут от тебя дома, деревья, поля. Окна были большие и как-то я спустила новую книжку про Степку-растрепку между рам. Вот было горе. Книжку никак нельзя было достать, она просто исчезла в щели. Но это было давно, мне тогда было всего пять лет, а теперь я уже большая—мне совсем скоро восемь, я больше не плачу, я хорошо знаю, что плакать нельзя.

Наша печка буржуйка, как ее почему-то называют, совсем старенькая, сбоку вся в дырочках, сквозь которые пробирается огонь...Ночами около нее обязательно кто-нибудь дежурит, иначе погаснет и будет такой мороз. Мы, ведь, в Сибири.

— Мама, а как же елка, у нас будет елка?

Маленький братишка проявляет огромный интерес к поднятому мной вопросу. Он заявляет коротко:

— Елка, хочу елку.

И мама, всесильная мама, которая ничего не боится, которая, как я хорошо помню, когда большевики обстреливали город, пробралась с нами в дачное предместье и так уверенно говорила:

— Только не бояться, только не плакать, это очень далеко стреляют, а мы поживем на даче и вернемся домой.

Эта всесильная, всезнающая мама отрывается от котелка с кашей и весело отвечает:

— Ну, конечно, у нас будет елка. Постойте как вот накормлю вас кашей, пороюсь в узлах, может быть мы найдем какую-нибудь бумагу и сделаем сами игрушки.

Я моментально успокаиваюсь и залезаю наверх, на нары к братишке. В маленькое окошк теплушки бежит мимо нас зеленая, запорошен

ная снегом, тайга.

— Вон, сколько елок,—говорит брат, — а нам только одну надо.

— Это не елки, а сосны.

— Все равно, пусть сосны, все равно, как елки.

Вечером, уже засыпая, слышу разговор мамы с одним из обитателей нашей теплушки, раненым и поправляющимся офицером.

— Печка совсем прогорела. Надо доставать-вую.

— Да где ее достанешь, Ольга Петровна. Сами знаете, печи сейчас дороже золота.

— Надо достать, иначе замерзнем. Да, еще, дорогой Николай Иванович, может быть срубите маленькое деревцо, надо же елку, ребята извелись, все спрашивают.

— Ну, это легче. Вот на следующей остановке попробую.

Николай Иванович очень храбрый, он был на большой войне с немцами и был ранен, а когда большевики хотели взять наш город, он тоже воевал за нас и тоже был ранен. У него колено почти не сгибается и все болит. А он собирается опять идти на фронт. Он очень храбрый. Почему я не мужчина, почему я не мальчик, я бы тоже пошла драться. Что же, что мне восемь лет, я бы могла подносить патроны солдатам, мой двоюродный брат Игорь, кадет, тоже где-то в армии, а ему всего двенадцать.

Утром, когда наш поезд останавливается на каком-нибудь разъезде, паровоз бросает нас и уходит один. Это часто бывает. Значит так нужно Потом он наверное вернется к нашии вагонам и повезет нас дальше.

Так вот утром, Николай Иванович куда-то проковылял и часа через два вернулся очень веселый.

— Нашел. Печку нашел и совсем новую. Она там, в одной из пустых теплушек, очевидно для кого-то поставили. Только мне нужен помощник и не взрослый. Ольга Петровна , можно взять с собой Лёлю? Одному ни за что не украсть.

— Украсть!—и в голосе мамы звучит ужас:

— Да как же это возможно украсть?

Николай Иванович разводит руками:

— Дорогая Ольга Петровна. Ничего не поделаешь. Такое время. Не стащу я этой печки, стащит кто-нибудь другой. А нам грозят морозы.

— Но что может сделать Лёля?—совсем уже растерянно говорит мама.

— Я ее научу, она девочка умненькая, сразу поймет, что надо делать.

Я надеваю свой полушубок и папаху. Слава Богу, теперь меня не заставляют рядиться в эти противные шубки и капор. Я совсем, как мальчик. Косы спрятаны под папаху. Вылезаем из теплушки. Ух, как сегодня холодно. Морозный день, солнце ослепительно заливает тайгу, маленький разъезд, наши вагоны. Яркие искры солнца блестят на иглах сосен, на ровном снегу полян.

Николай Иванович долго и вразумительно объясняет мне, что я должна делать, если там в вагоне, кто-нибудь будет.

Идем по снегу, я в припрыжку по молодости, Николай Иванович тоже в припрыжку—колено то не сгибается.

— Вон, видишь—вагон, пойди посмотри и живо назад. Да осторожно, что бы не заметили.

Я бегу, снег весело хрустит под ногами. В открытую дверь вагона виден какой-то высокий человек, он что-то прилаживает, возится с молотком в руках. Бегу обратно. Николай Иванович выслушивает мой рапорт и говорит тоном приказа:

— Ну, Лёля, действуй, да не забудь так, как я тебя учил.

Подхожу прямо к вагону и начинаю громко плакать. Человек высовывается из двери и спрашивает:

— Ты что ревешь? Отбился что ли?

— Да,—всхлипываю я.— Пошел с матерью да и отстал, никак вагон найти не могу?

— Да с какой стороны, пришел то?

Тычу неопределенно в воздух:

— Вон оттуда.

— Так беги скорей, поди мать тебя тоже ищет.

— В какую сторону бежать то, не знаю. Там еще станция была,— реву я.

— Да станция-то в другой стороне. Ну, хорошо покажу я тебе.—Высокий мужчина вылезает из

вагона и подходит ко мне.

Половина дела сделана, но я хорошо знаю — мне надо еще немного пореветь и отойти подальше, пока Николай Иванович достает печку.

— Да ты чей?

— Деревенские мы, отца убили, а вот мы с мамой,— всхлипываю я.

— А кто убил то?

И тут я делаю ужасную, непоправимую ошибку.

— Да они ж красные...

Лицо человека вдруг искажается:

— Ах ты, буржуазное отродье! Отец-то поди богатей был?

Я не совсем понимаю, что он говорит, но где -то отдаленно мелькает мысль, что враг, что это один из тех, кто убивали и грабили наш дом, город. Я с ревом, теперь уже настоящим теперь, пускаюсь бежать, путаясь в полах полушубка, вязну в снегv.

Но он и не собирается догонять меня, только смотрит вслед и что-то бормочет.

Через несколько минут, нырнув под вагоны, я останавливаюсь и начинаю соображать, что вот теперь я действительно потерялась. Где моя теплушка, где Николай Иванович, кругом рельсы, вагоны все как один похожие, вдали домики, впереди тайга.

И вдруг страх проходил мгновенно. Елка. Елка. Такая пушистая, зеленая, такая красивая. Вон там, по ту сторону железнодорожной насыпи. Я перепрыгиваю шпалы, сбегаю с насыпи в сторону тайги.

На лужайке запорошенной снегом, почти подходя к железнодорожному пути, весело горя на солнце искрами снежных игл, растут маленькие деревья, словно выводок той темной тайги, которая там дальше величавой стеной окаймляет лужайку. Я подбегаю к одной, она такая хорошенькая, пушистая. Ах, какая ёлка! А что если срезать её?—У меня в кармане перочинный ножик, который я ношv всегда на всяий случай. Мало ли что?

И вот я наклоняюсь к стволу дерева и начинаю

пилить его.

Ножик тупой, работать трудно, ноги увязли в сугробах. Но я в восторге. Вот, Юрка будет рад. И главное сама, сама нашла. Я забываю о том, что я потерялась, что там в теплушке наверное волнуется мама, что я совсем не знаю, где мой вагон. Все мысли здесь, с этой елочкой, которую надо обязательно срубить. Ведь Рождество совсем близко. Руки стынут на морозе, я исцарапала себе пальцы в кровь. Мой ножик никак не может перепилить упругий ствол дерева.

В валенки набился снег. От работы мне очень жарко, но ноги стынут, мокрые от снега и так коченеют пальцы.

И вдруг страшный голос над моей головой:

— Ты чего это, малец, лес воруешь? А ну-ка брысь отсюда.

Прямо надо мной стоял огромный, лохматый мужик. Вы думаете, я испугалась? Нет, так велико было желание добыть эту пленившую меня елку, что я даже не разогнувшись, продолжая пилить, только подняла голову и сказала:

— Пожалуйста, пожалуйста не сердитесь. Ведь Рождество скоро. Я только одну. А у вас их вон сколько. Пожалуйста.

Страшный мужик вдруг стал совсем не страшным, лицо заулыбалось и голос как-то сразу изменился.

— Ишь ты... А ведь и впрямь Рождество на дворе. Господи, Твоя Воля, праздник великий и тот забыли. Ну, что-ж коль одну, бери. Дай-ка я пособлю тебе. Много ты своим ножиком напилишь.

Он достал из-под полушубка топорик и срубил мою желанную елочку, одним махом.

— На, держи! Да ты откуда?

— Оттуда, из теплушки.

— А отец где?

— Папа на фронте. А мы с мамой и еще много других и Николай Иванович...

— Ну-ну. Бежите значит. Отступаете? Ну-ну. На, владей елкой-то своей. Донесешь?

— Донесу, она маленькая.

— А теплушка то твоя где?

И тут я сразу вспоминаю, что ведь я заблуди-

лась, что я совсем, совсем не знаю, где мой вагон.

— Так не знаешь. А когда на станцию то пришли?

— Сегодня утром.

— А, стало быть вон там. Видишь за поворотом вагоны, там от них еще линия идет. Там, стало быть и твой вагон. Да уж ладно, пойдем, провожу.

Он взвалил на плечо мою елочку и зашагал рядом со мной.

И когда мы вышли за линию первых вагонов, я сразу увидела маму и Николая Ивановича, спешащих навстречу.

— Леля, Господи, что ты со мной делаешь, сумасшедшая девченка. Да разве можно?

— Мама, я ничего, я елку нашла, сама хотела, да ножик тупой, а вот он...— я не знала, как назвать моего случайного спасителя,— он помог мне, елку срубил и провожать пошел.

Николай Иванович и мама стали благодарить моего спутника. Но он протянул мне елку и как -бы нехотя сказал:

— Чего уж тут. И лес то не мой. Да и...Рождество вон на дворе. Ишь, праздник то какой великий прости Господи. Девица-то храбрая у вас, я ее было за парнишку принял. Ну, счастливо...

И он, резко повернувшись, зашагал по шпалам удаляясь от станции, потом спрыгнул с насыпи и вскоре исчез в гуще тайги.

— Кто он такой?—невольно спросила мама. Ответ Николая Ивановича почему-то запомнился мне:

— Кто его знает. Может и красный партизан. На станции говорили, что они тут пошаливают. Кто их теперь разберет в нашей сумятице.

А потом...потом мы сидели с братишкой на нарах. Посреди теплушки горела новая буржуйка и на скамье стояла моя елочка, пушистая, зеленая, пахнущая хвоей и морозом. А мы наклеили цепи из голубоватого старого блокнота, который где-то достала мама.И она же всесильная, всезнающая мама сделала нам из жестянки настоящую рождественскую звезду. За окнами мелькала тайга. Где-то далеко слышалась перестрел-

ка.. И мерил версты Великого Сибирского пути поезд, унося нас на чужбину.

# Шелк

### ИЗ ПОДСЛУШАННЫХ БЫЛЕЙ

Красный кушачок стянут туго, туго, ноги в валенках весело хрустят по снежным сугробам. Рядом, путаясь в полах длинного полушубка, неуклюже, еле поспевая за мной, бежит братишка.

Собственно, нас выпустили погулять по перрону маленькой станции, где уже два дня стоит наш эшалон. Нам было строго-на-строго приказано никуда с перрона не сходить и побегать ровно пол часа, а потом возвращаться домой, в теплушку, где мама, пользуясь долгой остановкой, печет вкусные, превкусные лепешки.

Но вокруг перрона лежат такие

Но вокруг перрона лежат такие рыхлые, такие огромные, манящие сугробы снега. Как тут выдержать? И вот мы оба пробираемся в сугробах; снег уже набился в мои валенки и ноги, я совершенно ясно знаю, мокрые. Знаю также, что потом попадет от мамы. Но разве можно было чинно гулять по перрону, когда вокруг такой чудесный белый снег!

— Давай слепим бабу! — предлагаю я братишке и мы начинаем катать снежные шары, сгребать снег, и через несколько минут вырастает снеговик не снеговик, а что-то отдаленно напоминающее тех снежных баб, что лепили мы у себя дома в саду.

— Смотри, смотри! — кричу я братишке и, когда он отворачивается от меня, чтобы посмотреть куда я тычу рукавицей, я бросаю ему прямо за шиворот огромный, тут же слепленный снежный комок. Брат немедленно отвечает тем же. Через несколько минут мы барахтаемся с ним в сугробе, бросаем друг в друга уже пригоршнями снег и смеемся громко и весело.

Что ж тут такого? Попробуйте вы просидеть в

теплушке безвылазно целых две недели—все то время, когда наш эшалон тащился по бесконечному пути нашего отступления. Были и остановки. Но мама и слышать не хотела, чтобы выпустить нас побегать:

— Еще останетесь! Никогда не знаешь, сколько времени простоит поезд. Нет, уж лучше сидите!

И мы сидели на нарах вагона, играли в бесконечные «крестики и нолики» на клочке бумаги. Грызли кедровые орехи и смотрели в маленькое окошко на бегущую мимо нас тайгу. Еще много радости доставляла нам кошка Бурка, наша самая настоящая русская кошка: она тоже отступает с нами от самого дома.

У серенькой Бурки терпения было больше, чем у нас обоих: она не плакала, не капризничала, даже не мяукала, а часами свернувшись уютным клубочком, спала рядом с нами на нарах или так же, как и мы, заглядывала в окошко и провожала умными желтыми глазами бегущие мимо сосны и ели.

И вдруг сегодня, совершенно неожиданно, мама решила выпустить нас погулять. Эшалон наш уже второй день стоит без паровоза на запасном пути.

А день такой солнечный, такой яркий зимний день! Небо синее, синее, солнечные искры блещут на белых сугробах снега. Мороз щиплет нос и щеки, и так радостно на сердце, так радостно, что просто хочется кричать, бессмысленно кричать и прыгать в снегу и бросаться снежками.

Когда мы, растрепанные, взмокшие, запорошенные снегом, вылезли наконец из нашего снежного путешествия, я, как старшая, критически осмотрела братишку и сказала:

— На кого похож! Стряхни снег с папахи; у тебя даже нос в снегу.

На что он мне ответил:

— На себя лучше посмотри; косы из-под папахи вылезли и все от снега мокрые. Вот-то попадет тебе от мамы!

Тут я сразу вспоминаю, что нам было разрешено побегать всего пол часа. А теперь...Какие тут пол часа! Наверное, мама уже давно разослала

всех на поиски. Вот-то влетит!

— Идем скорее!—и я тащу брата за руку, на дорогу. На перроне ни души. Очевидно, все кто вышел подышать свежим воздухом, давным давно озябли и вернулись обратно в вагоны.

Маленькое здание железнодорожной станции откуда-то из-за пригорка, где кажется совсем пустым, только виднеются домики поселка, слышны голоса.

— Идем скорее домой!— «домой» —это значит в теплушку. За три месяца отступления, мы давно забыли тот настоящий дом, который остался там далеко на Волге, дом, где была детская, где осталась няня, ни за что не захотевшая бросить наш дом.

— Вы поезжайте, а я вас тут ждать буду.

Не вечно это все...Тот дом словно ушел в сказочную дымку воспоминаний.

Наш дом—это большая теплушка, с нарами вместо кроватей, с маленькой железной печуркой «буржуйкой», на которой мама готовит обед и кипятит чай, в которой бывает иногда нестерпимо жарко, когда буржуйка накаляется до-красна, а ночью, когда дежурный по теплушке заснет невзначай и пропустит срок—такой мороз, что никакие одеяла не спасают от холода. Вот это наш дом.

Да, вон он там на запасном пути. Наш вагон приметный: к подножке приделана лесенка, которую можно спустить, когда вылезаешь из вагона. Только у нас такая лесенка, очень удобная. Мы идем по перрону, чинно держась за руки. И я стараюсь на-ходу засунуть выбившиеся косы под свою папаху. Ноги постепенно замерзают от талого снега, попавшего в валенки, и пальцам очень холодно.

— Идем скорее!—брат начинает хныкать— у меня нога мокрая, правая, совсем мокрая, пальцы так замерзли, что не чувствую их.

— Не выдумывай и не реви! Придешь домой там тепло, и мама лепешки испекла—вкусные лепешки!

Все мысли заняты этими самыми лепешками и только сейчас я чувствую, какая я голодная.

Перрон, с утра выметенный, отчищенный от снега (кто-то еще из здешних жителей об этом заботится), совершенно пуст.

И вдруг я вижу, ясно вижу, прямо перед нами что-то лежит на перроне, какой-то сверток. Братишка, видимо, тоже замечает этот бумажный, набитый чем-то пакет, потому что дергает меня за руку и кричит:

— Смотри, смотри! Это клад. Я нашел клад!

— Глупый ты, клады в земле роют, а это не клад, а находка и я первая увидела.

— Нет, я! Вечно ты споришь; конечно, я!

Мы подбегаем к свертку и одновременно хватаем его руками. Оглядываемся: может, кто-то обронил. Но кругом ни души. Сверток мягкий и довольно большой. Крепко держим его с двух сторон, ни один не хочет выпустить из рук находку, и бежим, что есть духу, к своей теплушке.

— Мама, мама! Мы нашли...я нашел...нет, я... я первая...

— Господи, да в каком вы виде! Где вы вывалялись так? Кажется, ясно сказала, дальше перрона никуда не ходить!

— Мы, мама, недалеко, там...

— Ну, что там?

— Там такой снег...

— Вижу, что снег; снимайте валенки, дай я тебе башлык развяжу. Господи, ноги, как ледяшки! Лезьте на нары и укройтесь одеялом, я вам сейчас горячего чаю дам. Не дай Бог, простудитесь.

И никакого внимания на нашу находку. Вытирает нам ноги, поит горячим чаем. Лепешки действительно на редкость вкусные. А о нашей находке ни слова.

— Мама!

— Ну, что? Прожуй сначала, а потом говори.

— А сверток-то что же? Ведь мы нашли

— Я первый! — кричит брат.

— Но мне некогда с ним спорить. Мама берет сверток и начинает разворачивать серую, оберточную бумагу, что-то синеет, что-то очень блестящее. И вдруг у мамы в руках большой рулон материала, такого тонкого, такого синего, как небо, такого блестящего!

— Шелк! Шелк!— кричу я и глажу пальцами мягкий, податливый материал.

— Действительно, шелк. Да сколько его тут! Мама разворачивает рулон, и мягкими складками шелк падает на пол. Кажется, вся наша теплушка в шелку. синем-синем, блестящем. Сестры с интересом рассматривают материал, складывают его, спорят сколько аршин во всем куске.

Так мы никогда и не узнали, кто обронил этот сверток с японским шелковым материалом, мягким-мягким и очень легким; кажется было в этом свертке аршин двадцать, а может быть и больше. А внутри синего рулона был еще шелк, зеленого, как трава цвета и тоже очень легкий—шифон, что ли.

Сверток перешел, конечно, во владение сестер. Потом, когда мы докочевали до Маньчжурии, я помню, они шили себе платья из синего шелка, а мне на именины было сшито нарядное зеленое платьице, все в оборочку. Платье это я изодрала в тот же день, потому что считала позором для себя носить такие «девченческие» тряпки. Я тогда ходила в полушубке и в папахе и всякие кружева и сборки—считала личным оскорблением.

Но это было потом. А тогда...так и остались в памяти волны синего шелка в маминых руках, словно льющиеся из свертка, найденного нами.

Наши любопытные головы, свесившиеся с нар. И упрямый шопот брата:

— Это я, я первый увидел!

— Нет, я,— повторяю я под нос, а сама глажу шелковый материал, от синевы и блеска которого даже наша теплушка кажется нарядной и красивой...

Чуть слышный толчек: это к нам прицепился паровоз. Потом снова мерное качание вагона. Мы на нарах, носами к окну, серенькая Бурка, мурлычащая клубочком, рядом. Синий шелк у сестер в руках; они и налюбоваться-то им никак не могут. И упрямый шопот братишки:

— Я первый!

— Нет, я!

— Я тебе говорю,я!

А вагон качается, укачивает, глаза слипаются, а колеса отстукивают версту за верстой, унося нас, ничего еще тогда не сознававших, в ту неведомую страну, которая зовется изгнанием.

# Вагон номер 6878

**Памяти моей любимой сестры Татьяны А. Рубцовой**

Год прошел, пролетели дни и недели и как-то странно было думать, что вот уже ровно год, как тебя нет на свете.

Можно тысячи раз проезжать по знакомой улице— в том твоем окне я никогда не увижу тебя, как видела изо дня в день. Прикованная болезнью к дому, ты часами просиживала у своего окна, спасаясь от монотонности болезни, стараясь найти выход из своего ежедневного одиночества в шуме улицы, в движении людей и автомобилей.

Нет, я не хочу и не буду вспоминать эти последние годы твоей болезни, твоих безвыходных дум, твоих таких частых слез. Я уйду памятью в далекое прошлое. Вот, закрою глаза...и сразу вспомню тебя такой,как ты помнилась мне с моего детства, высокой, полной, красивой чисто русской, румяной, здоровой красотой.

Помню тебя, когда уезжала ты с санитарным поездом на передовые позиции в те годы, когда «приблизилась граница, чужими рельсами загрохотал вагон».Ты стояла на пороге детской и ласково говорила, как ты поедешь на фронт, как ты будешь помогать раненым, что мы скоро встретимся, что война и революция кончатся, скоро, вот только...

Ты была такая красивая, тебе так шла белая косынка с небольшим крестиком, косынка крестовой сестры. Ты была полна энергии, самоотверженности и стремления к подвигу.

Мы расстались. Ты крепко поцеловала меня, свою маленькую сестренку, и выбежала из детской.

Дальше я, как во сне, помню мамины слова:

- Запомни, Таточка, наш вагон номер 6878— как легко запомнить! Мы погрузимся завтра, но ваш санитарный поезд будет уже далеко.

— Запомню, 6878, 6878...действительно легго!—где то уже в передней прозвенел голос сестры.

А потом было так. Сборы. Слезы. Прощание с любимой няней, не пожелавшей ехать с нами. Ведь, все равно, ненадолго, все равно скоро все это кончится и начнется прежняя, нормальная жизнь...

Разве мы тогда знали, что наша жизнь, ни прежняя ни новая, в родной стране больше не начнется? Ни через год, ни через два, ни даже через сорок лет...

Санитарный поезд сестры ровно через сутки попал под перестрелку между красными и белыми, потом работал на одном крушении, где было очень много жертв. На следующий день старший врач сообщил сестрам, что ночью сошел еще один поезд с рельс, что, как обычно, крушение было подстроено, что были вытащены шпалы из-под рельс, и поезд грохнулся с насыпи, довольно высокой в этом месте.

Когда подъехали к месту крушения, уже темнело. Сестры сразу же бросились к обломкам вагонов, спеша на стоны и крики несчастных беженцев, попавших в это крушение.

Работали всю ночь, вытаскивали из-под груды обломков женщин и детей, делали наспех перевязки и отправляли дальше на санитарный пункт в маленьком ближайшем поселке.

Татьяна без устали, без передышки перевязывала, успокаивала, утешала. Не чувствовала усталости, словно эта страшная картина смерти и страданий прибавила сил. На рассвете, закончив возиться с разбитой ногой маленького мальчугана, который захлебываясь плакал и звал маму, Таня передала мальчика санитару, а сама в первый раз за всю ночь, присела на обломки разбитого в щепы вагона.

И невольно глаза ее остановились на вагонной надписи—знаете, такой обычной: номер вагона буквы железной дороги: московская, казанская сызрано-вяземская...На обломке вагона четко

стоял номер 6878.

Что-то словно ударило ее в сердце. Стало холодно до озноба. Она вскочила и стала лихорадочно разгребать обломки, валявшиеся кругом, точно стараясь кого-то найти под этой грудой досок.

— Что это вы, сестрица, никак ищете кого? Всех подобрали, я уж и то с Сергеем все обошел. Никого не забыли.

Таня обернулась на слова подошедшего санитара.

— Всех, говорите, на пункт увезли?

— Всех, кто в живых остался. Ну, а мертвых, известное дело, схороним.

— А где они?

— Кто, убитые-то? А вон там сложены, за сараем, вон тем.

Таня бросилась к небольшому сараю, заброшенной железнодорожной постройке. Мертвых было много. Все женщины и дети. Она вглядывалась в застывшие лица, искалеченные в крушении тела. Нет, ее родных не было среди этих несчастных. Но вагон номер 6878, номер, который так легко запомнить...

— Может быть, они все на перевязочном. Ведь я работала в другой стороне.

Она побежала, спотыкаясь, торопясь, задыхаясь от горя и тревоги.

Вбежала и тихонько пошла между столов и кроватей, на которых лежали люди, кто уже перевязанный, кто еще в ожидании операции и перевязки.

— Сестра, а ну-ка помогите!—И Татьяна, как автомат, подошла к окликнувшему ее врачу и стала механически помогать ему, подавая инструменты, поддерживая ногу раненого.

— Господи, наверное все, все убиты! Может быть из того вагона мертвых в другую сторону отнесли. Ведь вагон—в щепы. Вагон номер 6878.

— Что с вами, сестра? На вас лица нет. Идите -ка отдохните.

Слава Богу, последняя ампутация.

— Да, доктор, я пойду.

Машинально пошла по железнодорожным путям в своему поезду. Шла, как автомат. В голове

застыл, как крик тревоги, номер вагона 6878
Резко повернулась и пошла опять к месту крушения, долго ходила, рассматривая каждый обломок, каждый смятый, сброшенный с путей вагон.

«Господи», стучала мысль, «да где же они? Их нет среди убитых, нет среди раненых. Да где же они?».

— Сестра Таня,—кто-то окликнул ее издалека.

—Тебя ищут.

«Нашли кого-нибудь? Может быть, мама жива, может быть, сестра...»

Таня побежала к поезду, где около их вагона стояла старшая сестра и какой-то высокий человек в папахе.

— Вот, Танюша, капитан тебя разыскивает. От твоих.

— Они все погибли...—сорвалось с губ.

— Да что вы, Татьяна Алексеевна? Что вы? Час тому назад я говорил с вашей матушкой и видел всю вашу семью.

— Слава Богу, живы!—вырвалось у Татьяны, и уже спокойно она спросила:

— А как же их вагон, разбитый в щепы?

Капитан улыбнулся:

— А вот разрешите рассказать. Ваша матушка поэтому и просила меня разыскать ваш поезд и передать весточку. Видите ли, вы матушку сами хорошо знаете, она—человек энергичный, и вот вчера к вечеру сидит она в своем вагоне и видит, на соседней колее поезд знакомого врача идет, ну, вы знаете, Николая Егоровича поезд. И матушки вашей немедленное решение появилось. Эшелоны-то тихо идут, пешком угнаться можно. А тут еще на соседней колее поломка какая-то впереди, Николая-то Егоровича поезд и остановись. Ну, матушка ваша к нему:

— Возьмите нашу семью к себе, если место есть.

Тот резонно:

—Да какой же смысл, ваша линия идет, а наша стоит и когда тронется, не известно.

Матушка все же настояла на своем, перенесли санитары ребят и сама она перешла. А через пару часов это страшное крушение и случилось. Вот,

поистину, можно сказать, Божий Промысел!

Татьяна тихо улыбнулась, перекрестилась, а в душе шевельнулось привычное: «Мамино предчувствие никогда ее не обманывает».

И, когда поезд тронулся вперед, она стояла у окна вагона, смотрела, как мелькали поля и перелески родного края, и не думалось ей, что это навсегда. Тогда, в молодости будущее казалось прекрасной, солнечной дорогой к счастью, к победе, к радости. Вся жизнь была впереди.

*

* *

Вот так вспоминаю я тебя. Такой, полной сил, надежд и жажды подвига.

Такой, как я видела тебя в детстве, когда еще не надвинулись долгие годы изгнания и жизнь еще не сбросила с наших счетов по очереди: Родину, счастье и удачу.

Ты стояла у окна вагона, встречный ветер трепал пряди волос из-под белой косынки и убегали от нас с каждым стуком колес, пригорки, поля и речки любимой земли.

16-го марта 1965 г.

# Глава из повести «На спинах верблюдов»

Высохшая, желтая трава, куда не бросишь взгляд, везде унылая, однообразная картина выжженной жестоким солнцем степной шири, только кое-где на желтом фоне голубеют огромные впадины солончаковых озер. У нас очень экономят воду; вот уже несколько дней даже нам, дают пить только когда начинаешь настойчиво просить: «мама, у меня весь рот пересох, ну хоть капельку!». И мама бережно открывает большую

бутыль и наливает маленький стаканчик. Ее тонкие пальцы крепко держат стакан, бережно, точно какую-то драгоценность. Братишке перепадает больше, он ведь совсем маленький и еще ничего не понимает.

Помню, первый отказ мамы налить мне лишний стакан, вызвал у меня взрыв негодования и обиду до слез. Потом я как-то заметила, что сама мама не пьет совсем, только изредка смачивает губы. И где-то там, в детском наблюдательном сердце, что-то екнуло. Больше я не просила пить, подходила к заветной бутыли только тогда, когда мама сама наливала мне очередную порцию воды.

Как это странно: едем среди озер, тянутся они такие бесконечные и такие голубые, а воды нет.

Я помню, в первый же день, когда началась эта страшная безводная полоса, я решила попробовать сама. Не давало покою удивление, отчего это ни лошади, ни верблюды не стремятся поближе к озеру, не забираются далеко в воду, не пьют ее жадно, не купаются, как обычно во время привалов у реки после долгого пути. В первый же вечер, когда встал наш обоз на ночевку, побежала со своим верным другом, молодым и суматошным псом Пираткой, прямо к озеру. Сняла башмаки и вошла осторожно, оглядываясь, не заметит ли кто из взрослых мое исчезновение из лагеря. Захотелось пить. Я зачерпнула горсточку воды и хлебнула...До сих пор помню, как я плевалась, как жгло мне рот, какая отвратительная горько-соленая была эта вода! Мой верный Пиратка сидел на берегу и повизгивал. Он-то каким-то неведомым чутьем знал, что эту воду лакать нельзя, в ней нельзя прыгать и купаться, от нее надо подальше.

Никому, ни одной душе я не сказала о своем горьком опыте. Только большая бутыль с водой, которую так бережно хранила мама, стала для меня понятна.

Один мучительный, жаркий день по безводным степям. К вечеру, лошади едва волочили ноги, только наши верблюды шли все так же размеренно, как будто не спеша, не показывая устало-

сти, так же, как всегда прежевывая свою неизменную жвачку, не ускоряя мерного шага, за которым лошади непременно надо бежать рысью, иначе не догнать.

Вечером на бивуаке ничего не варили; нам дали по куску лепешки и по стакану воды. Взрослые долго сидели у костра и о чем-то спорили. Нас уложили рано спать. Братишка заснул сразу же, а я ворочалась в душной повозке и, наконец, не выдержала, вылезла и тихонечко, крадучись, пошла к костру. Послышался знакомый мамин голос:

— А ты думаешь, это не много верст?

— Не знаю.

Папа задумался на минуту и потом заговорил ободряюще:

— Не думаю, вероятно, дня два, три. Жаль не знали,нужно было бы запастись водой гораздо больше. Да ведь не во что брать-то было. Итак заполнили все бутылки, все ведра.Утром придется напоить коней из того бака.

— Что ты говоришь? Это же последний!

— Надо. Лошади не выдержат. И мы все погибнем!..

Замолкли.

Я тихо, тихо пошла в поле туда, где стреноженный пасся мой черный Туманка. Он тихо, приветственно заржал мне навстречу. Гладила его милую умную голову, чесала за ушами и успокаивала, как могла:

— Ничего, Туманка, потерпи, завтра утром тебя напоят! И папа сказал, что это недолго, дня два-три.

Три дня. Да, это длилось три дня. Но каких ужасных, каких горьких... Я помню, когда к концу второго дня и у людей и у животных была только одна мысль—«пить»—одно слово, одно желание. Я не плакала. Я твердо знала—со слезами покончено. Можно было реветь там, где остался дом, моя няня, моя детская, все мое... Здесь плакать было нельзя—я стала сразу взрослая.

Обоз тянулся медленно, медленно. Степь вся такая же, без конца и края. Только все чаще и

чаще попадались на нашем пути брошенные лошади. Худые скелеты лошадей, они шли, еле переступая сбитыми ногами, или стояли молча, либо печальными глазами провожая наш обоз. К концу второго дня их число увеличилось настолько, что мне казалось, что целые табуны несчастных, умирающих животных стоят на нашем пути, идут качаясь, по краю дороги. И эти лошадиные полные тоски и смертного ожидания глаза...Никогда, никогда не забуду этих глаз, глаз умиравших от голода и жажды животных! Вот одна закачалась и упала, силится встать на дрожащие, не повинующиеся ноги.

— Мама, мама, разве нельзя ей помочь!—срывается с губ почти криком.

— Их так много, детка...

— Только вот этой, мама, посмотри, какие у нее глаза...Мама, да ведь она плачет...

Никогда до той минуты я не видела, чтобы лошади плакали.

Один из офицеров нашего обоза вышел из повозки и быстро подошел к лошади. Он погладил ее, прижал голову к себе, и вдруг...я видела издали—наш обоз уже проехал: лошадь упала и осталась лежать неподвижно. Это он ее убил... Я уже хорошо знала, что значит убить, что, если выстрелить в упор из ружья или из револьвера, то можно убить. Ехала и думала, совсем не по-детски: «Это очень хорошо, что он ее убил; умирать без воды очень мучительно!»

Как хочется пить. Попросить маму, в большой бутылке еще есть вода, немного, совсем немного но...может быть еще потерпеть. Вдруг мы доедем до речки до большой речки и можно будет побежать к берегу, нагнуться и пить, пить, без конца пить...

Я решительно отвернулась от мамы, чтобы ничем, ничем не показать, что я больше не могу, что мне хочется разреветься попрежнему, как раньше, как вон ревет маленький братишка.

Смотрю в даль желтых, бесконечных степей. Степь, степь,—желтая, высохшая. Нигде ни деревца, ни кустарника—всюду желтая, сухая трава.

И вдруг...где-то там на горизонте, вон там, где сливается с землей край неба, я ясно увидела зелень деревьев, больших, высоких, ярко блеснула в лучах солнца вода в реке...вода. Я закричала так громко, так радостно, что мама, задремавшая с маленьким братом, прижавшимся к ней, вздрогнула и проснулась.

Вода! Там вода...настоящая, речная...

Но видела не я одна. Видели люди, видели наши лошади, наши верблюды. Лошади словно набравшись сил, пошли быстрой рысцой,верблюды ускорили свой размеренный шаг, почти всегда одинаковый шаг. Вода...Господи, какое счастье!..

— Мама, мама там вода, смотри, смотри!

Вот еще немного, еще несколько минут, и мы будем там, в этой радостной, зеленой роще, около реки...Но словно растаяли, скрылись в воздухе и роща и река...

Желтая, высохшая степь вдали...

— Мама, что это?

— Не дрожи, детка, это мираж!

Мираж! Так вон какой он мираж, о котором я читала в книгах, о котором рассказывали в школе... Значит, воды нет. Рот сразу пересох еще больше, лошади шли понуро, устало, безнадежно. И только верблюды попрежнему шагали своим размеренным шагом, равнодушные и привычные ко всему в этих бесконечных степях.

К концу третьего дня, когда воды не осталось ни капли, нельзя даже было смочить платок и приложить его к распаленным губам—к концу третьего дня усталые, полуумирающие лошади довезли нас до заброшенного в степи, неизвестно кем и когда вырытому колодцу. Он был глубокий, глубокий. На длинной веревке туда спускали ведро, и оно наполнялось в полчаса, вода просачивалась откуда-то медленно, по каплям. Никогда, никогда в жизни я не пила ничего вкуснее, чем эта грязная, мутная, глинистая вода.

Стояли всю ночь, пили сами, поили лошадей и верблюдов, сделали как могли, запас воды. Мы, дети, заснули. А взрослые поочередно набирали колодезную воду.

Ночью я проснулась от страшного крика. Кто-то кричал нечеловеческим криком боли и отчаяния. Выскочила из повозки и побежала к костру. Немного поодаль от нашей повозки лежала на боку, билась в судорогах и отчаянно кричала наша одногорбая верблюдица «Англичанка», как ее прозвали за ее сухопарость и рост. Пришлось пожертвовать уже набранным запасом воды и облить ее всю, потом она выпила целое ведро и успокоилась.

— Англичанка очень нервная!—сказал кто-то. Мне стало смешно: верблюдица и, вдруг, нервная.

— Иди спать, нечего полуночничать. «Англичанка» уже поправилась.

Мой любимец, огромный двугорбый верблюд Васька, стоял и смотрел на всю эту сцену меланхолично пережевывая жвачку. И столько было ума и презрения в его маленьких глазах, что я не выдержала, подошла, обняла его за ногу и потерлась лицом о грубую верблюжью шерсть

Мы сидели притихшие в повозке, братишка то спал, то тревожно просыпался и жался к маме. Я, выплакавшись ночью, уже не жалась к ней, только изредка тревожно ловила взгляды отца и матери. Даже лошади, как то сгорбившись, шли этим путем, даже верблюд Васька, всегда равнодушный ко всему, как-то особенно медленно передвигал свои большие лохматые ноги.

День тянулся бесконечно, а когда сумерки легли на землю, и где-то далеко за горизонтом в последний раз вспыхнули потухающие солнечные лучи—откуда-то из-за песчаных сопок послышался дробный, резкий топот коня. Все насторожились. Я видела, как папа отстегнул кобуру револьвера, как наш денщик вскинул винтовку. Из-за сопки показался скачущий во весь опор казак, он доскакал до передовых нашего обоза и, сгибаясь с седла, прокричал громко, громко — «Слухи ложны! Путь свободен. Иргиз в руках генерала Белова!»

Приостановился около нашей повозки, показал папе буиагу и снова вихрем умчался на своей

взлохмаченной киргизке. Я помню, как радостно плакала мама, как смеялись сестры, как посыпались шутки и смех, как стали распрягать лошадей, останавливаясь на ночевку.

Как сразу оживился наш маленький обоз! Кубарем скатился с повозки братишка и побежал вместе с взрослыми разжигать костер. И только вразрез с общим оживлением и весельем в памяти навсегда остались слова отца, сказанные полушепотом, полные такой невыразимой горечи

— Путь свободен...А сколько обозов свернуло с прямой дороги, в обход, на верную смерть в безводных степях!

1988 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

## О НАШИХ ДРУЗЬЯХ



## ТУБАБАО



## ОТСТУПЛЕНИЕ



**Примечание**: Стихи без названий в оглавление не включены.